

Апрель

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

СИЛЬВА КАПУТИКЯН

КОНСТАНТИН КЕДРОВ

МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ

ЮРИЙ НАГИБИН

ВАЛЕНТИН ОСКОЦКИЙ

ЮРИЙ РЫТХЭУ

АЛЕКСАНДР ШАРОВ

ЛЮДМИЛА ШТЕРН

выпуск пятый

1992

Апрель

ВЫПУСК
ПЯТЫЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

1992

Главный редактор
А.И. ПРИСТАВКИН

Редколлегия:
Ю.В. АНТРОПОВ,
Г.В. ДРОБОТ
(ответственный секретарь),
И.И. ДУЭЛЬ
(заместитель главного редактора),
Л.А. ЖУХОВИЦКИЙ,
А.П. ЗЛОБИН,
Н.В. ПАНЧЕНКО,
А.А. ЧЕРКИЗОВ

Художник
А.Ю. ЛИТВИНЕНКО



МОСКВА
1992

ББК 84.3(2)7
А77

«Апрель» издается издательской группой Московской независимой ассоциации писателей «Апрель» совместно с советско-британским издательством «Интер — Версо».

Все произведения печатаются в авторской редакции. Редакция альманаха несет полную ответственность за содержание выпуска.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

А77 Апрель: Литературно-художественный и общественно-политический альманах: Выпуск пятый. — М.: «Интер — Версо», 1992. — 304 с.
ISBN 5-85217-015-1

Пятый выпуск альманаха «Апрель» составлен из произведений авторов, входящих в Московскую независимую ассоциацию писателей «Апрель». В первом разделе — проза и поэзия: рассказы Ю. Нагибина, Ю. Рытхэу, Л. Штерн, повесть П. Катаева, вариация к роману Ю. Антропова, стихи С. Капутикян, М. Матусовского, О. Постниковой. Второй раздел — публицистика: статьи В. Оскоцкого, А. Шарова, Л. Рудневой, К. Кедрова. Критический — третий — раздел представлен статьями Н. Ивановой, М. Кудимовой, Е. Евниной. Традиционно завершает альманах рубрика «Молодой „Апрель“», представленная рассказом М. Берколайко.

Для широкого круга читателей.

А 4702010201—009 Без объявл.
Интер — Версо

ББК 84.3(2)

ISBN 5-85217-015-1

© Московская независимая ассоциация писателей «Апрель»
© Советско-британское издательство «Интер—Версо»

Содержание

Credo. Заявление Совета Московской независимой ассоциации писателей «Апрель» от 20 августа 1991 г.	4
Анатолий Приставкин. Ужели нет над нами жалости!	5

1

<i>Сильва Капутикян.</i> Диалог между мною и мною. Поэма. Перевод Елены Николаевской	9
<i>Юрий Нагибин.</i> А льва жалко... Рассказ	24
<i>Михаил Матусовский.</i> Горечь. Стихи	50
<i>Павел Катаев.</i> Простое дело. Повесть	57
<i>Михаил Дудин.</i> Грешные рифмы. Стихи	103
<i>Юрий Антропов.</i> Наедине с вождем в антракте. Вариация к роману	104
<i>Нина Бялосинская.</i> Стрелецкая бухта. Стихи	133
<i>Юрий Рытхэу.</i> Учитель музыки. Рассказ	136
<i>Ольга Постникова.</i> Стихи из безвременья	148
<i>Людмила Щерн.</i> Зинка из Фонарных бань и другие рассказы	152
<i>Нина Габриэлян.</i> Блохи. Стихи	164
<i>Борис Виктор.</i> Забвение. Стихи	166

2

<i>Валентин Оскоцкий.</i> «Главный идеолог» режима. Штрихи к политическому портрету М. А. Сулова	169
<i>Александр Шаров.</i> Тридцать седьмой	190
<i>Любовь Руднева.</i> Шостакович и Мейерхольд	218

Религия в наши дни

Предисловие Александра Нежного	230
<i>Константин Кедров.</i> Христос и Фрейд	231

3

<i>Наталья Иванова.</i> Гомо советикус	243
<i>Марина Кудимова.</i> «Я в Союз писателей хочу!»	261
<i>Елена Евнина.</i> Фрагменты группового портрета ИМЛИ 30—70-х годов	274

Молодой «Апрель»

<i>Марк Берколайко.</i> Гон. Рассказ	293
--------------------------------------	-----

Credo

З А Я В Л Е Н И Е

СОВЕТА МОСКОВСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ «АПРЕЛЬ»
ОТ 20 АВГУСТА 1991 Г.

Совет Московской независимой ассоциации писателей «Апрель» решительно протестует против совершенного 19 августа с. г. государственного переворота, путем которого кучка политических авантюристов пытается установить антинародный режим диктатуры правых, реакционных сил. Настоящим заявлением Совет «Апреля» выражает тревогу за судьбу Президента СССР, поддерживает законно избранную власть России в лице Президента РСФСР, Верховного Совета и Совета Министров Республики. Мы полностью разделяем и принимаем к исполнению их обращение «К гражданам России» и Указы Президента РСФСР.

В связи с этим Совет «Апреля» считает:

противозаконным прекращение деятельности демократических средств массовой информации, газет и журналов, практически запрещенных под демагогическим предлогом «перерегистрации»,

противозаконными полномочия особого комитета по цензурному надзору за печатью, который создан решением так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению.

В случае, если самозванный ГКЧП предпримет карательные акции против писателей и журналистов, ассоциация «Апрель» примет на себя исполнение правозащитных функций.

Призываем всех своих коллег, входящих и не входящих в ассоциацию «Апрель», к активной поддержке законной власти России и страны, к протесту против попыток реставрации антинародной террористической диктатуры.

СОВЕТ МОСКОВСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ
АССОЦИАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ «АПРЕЛЬ»

16 часов

Ужели нет над нами жалости!

В одном из сентябрьских номеров «Комсомольской правды», которую я до сего года выписывал, опубликована статья писателя В. Максимова под названием: «Из жалости я должен быть суровым».

К кому же наш коллега, ныне проживающий в Париже, так жалостлив и так суров?

А жалостлив, оказывается, он к хунте, ну, к той самой, что 19 августа попыталась совершить государственный переворот, не из преступных, по мнению писателя, побуждений, а лишь потому, что они... «просто по-своему истолковывали интересы этой самой родины»... Какое совпадение! Подобное ведь можно сказать и о Ленине, Сталине, Дзержинском и даже о Берии. И первые, и вторые, и последние начали с запрещения печати, с арестов и расстрелов священников, а закончили тем, что всю страну превратили в концлагерь. А вот Пуго с Крючковым в продолжение начатого в октябре семнадцатого года дела кроме известных всем наручников заготовили еще триста тысяч ордеров на арест, которые должен был реализовывать пятый, то есть идеологический, отдел КГБ. Причем, это, по оценке одного из руководителей отдела — Геннадия Добровольского, было лишь «мелким поручением хунты». Нетрудно догадаться, каков был масштаб крупных.

А поначалу следовало просто «разметать», как изящно выразились сами путчисты, толпу защитников у Белого дома. Мы уже знаем, что это означает, ибо видели хронику из Тбилиси и Вильнюса, а в Риге я был на баррикадах и лично видел, как убивают мирных людей. Но август, 19-е число, особенно близок: еще не убраны баррикады, и не прошло ощущение ожога, и матери и невесты погибших парней еще не сняли траурной одежды. И вот за все за это... «признание ими (хунтой то есть. — А. П.) своих заблуждений для меня вполне достаточная компенсация моральная», — пишет В. Максимов.

Автор призывает проявить милость к арестованным, которых еще и не начали судить и неизвестно, осудят ли и как осудят. Ведь теперь всем понятно, что не в них одно дело, за ними стояла правящая Партия, тоже своеобразная хунта, только захватившая власть еще в октябре семнадцатого. Я считаю, что суд над главарями хунты должен быть не просто судом над этой восьмеркой, хотя личная их ответственность за содеянное велика. Это должен быть суд, которого ждет вся страна, над главным преступником — коммунистическим тоталитаризмом, над правящей идеологией больше-

виков, принесшей не только нашей стране, но всему миру зло и насилие. Теперь всем миром надо юридически и морально осудить большевизм, как некогда в Нюрнберге был осужден фашизм.

Максимов ссылается на очередную газетную кампанию против заговорщиков, но теперь, слава Богу, и газеты, и мнения бывают разные, и называемая В. Максимовым группа «интеллектуалов и политиков» (а среди них есть и писатели) через газету «Московские новости» призвала отменить смертную казнь именно сейчас, накануне суда над КГЧепистами. Вот где, действительно, жалость, просто жалость без какой-либо суровости.

А кстати, к кому же писатель В. Максимов так беспощадно суров?

А суров-то он, оказывается, к тем, кто защищал нашу с вами демократию и свободу, и будущее от насилия и танков. Среди обвиняемых им и Борис Николаевич Ельцин, и народные депутаты России, которые в дни путча пребывали в парламенте, и радиостанция «Свобода», и министр обороны — новый — Шапошников, и поэт Евтушенко.

«...Диву даешься, — пишет В. Максимов, — как по-европейски одетые мужчины и принаряженные, словно на вечерний прием, женщины из числа народных избранников целыми днями горячо и заинтересованно обсуждают, кто и где был в ночь переворота...»

Вот так. Максимову это смешно, а нам вовсе не до смеха: Мы не обсуждаем, мы вспоминаем, потому что сами пережили это, и еще не можем от этого отойти, и неизвестно, какие жертвы вслед за известными понесем мы в виде скрытых инфарктов и нервных болезней (я уж не говорю о самоубийствах) после всего пережитого.

Максимов не называет, кто эти «по-европейски одетые мужчины», но я так полагаю, что это не кто иной, как генерал Руцкой, спасавший Президента Горбачева и его семью, или другой героический генерал — Кобец, или сам Борис Николаевич, не пожелавший в ночь штурма уйти из Белого дома. А среди «принаряженных» женщин можно узнать Беллу Куркову, а то и Елену Боннэр, произнесшую с рыданиями свою речь в страшный день переворота отсюда, из Белого дома. Теперь у них, по Максиму, «появилась сладкая возможность безнаказанно побесчинствовать...»

Вы себе это можете представить? Я — не могу.

Но эти и другие уважаемые мной граждане, защитившие Белый дом, как-нибудь и сами, полагаю, защитятся от Максимова, да вполне возможно, что они и вовсе не заметят этих блошинных укусов. Вопрос в другом: что позволяет писателю, сидя, по его же выражению, «в безопасном далеке под защитой западной демократии», так огульно осуждать спасителей нашей демократии?

Он утверждает, что у него «есть такое право», это — его правозащитная деятельность, письмо в защиту Солженицына, которое подписали в ту пору девять человек. «Где они пропадали тогда, эти тысячи сегодняшних яростных антикоммунистов?» — восклицает автор статьи.

Далее Максимов пишет о прочих своих заслугах перед родиной, хотя, ей-Богу, лучше бы о них все-таки рассказал кто-то другой, уж очень все это звучит саморекламно.

Но мы-то сейчас точно знаем, что не девять и не девяносто девять боролись в те страшные времена застоя с системой, и делали это те самые либералы, которых яростно обличает Максимов. В том числе и Евтушенко. До сих пор помню его телеграмму в защиту свободы в Чехословакии и стихи, которые мы помнили наизусть: «Танки идут по Праге, танки идут по правде...» Они опубликованы лишь недавно в нашем альманахе «Апрель». Протестовал, и тоже стихами, Евтушенко и против войны в Афганистане, да, кстати, среди других «либералов»-писателей Евтушенко был в дни путча в Белом доме, он выступал там рядом с Ельциным и Ростроповичем, Черниченко, Адамовичем и Копелевым...

Этот список можно продолжить, но я не хочу уподобляться Максиму и вывлять, а мог ли он сам взять да прилететь, как это сделал Ростропович, в Москву — самолеты-то летали! Кто пожелал, тот и прилетел. Я знаю одного аполитичного мальчика 16 лет, который без ведома родителей на свои накопленные деньги прилетел из Петрозаводска и три дня простоял у Белого дома. Были там и дети писателей, например дочка критика Натальи Ивановой, и сын Леонида Зорина, и внучка Галины Дробот... Да и мой сын там тоже был... И добрая половина студентов Литературного института, об этом я узнал по их рассказам на семинаре, который веду. И, может быть, заслуга упомянутых Максимовым все либералов еще и в том, что они воспитали таких детей?

Но повторяю: я против того, чтобы сегодня составлять списки защитников и уточнять, кто нес бревно на баррикады, а кто не нес. Благо, что даже мой сын скрыл от меня свое участие в обороне Белого дома, и многие об этом молчали. Вечная им наша российская благодарность: все-таки они защитили и нас, и Россию, и думаю, что и тот самый Париж, где проживает наш соотечественник В. Максимов.

В другой статье, в «Известиях», В. Максимов подсчитывает процентное соотношение ста тысяч молодых защитников Дома Советов к количеству столичных жителей и делает сакраментальный вывод о малом числе людей, спасавших демократию. Эта бессовестная бухгалтерия возможна лишь от равнодушия к нам и к стране.

Видимо, оттуда, «из парижского далека», Максиму не совсем ясно видно, что после 19 августа у нас другая страна, другой народ. Такое впечатление, что после августовских событий нас с уважаемым коллегой разделяют уже не расстояние, не границы, а эпоха.

Не могу еще не сказать о тоне статьи В. Максимова: «смею судить, считаю себя вправе». Не судит, а поучает нас коллега, да еще в оскорбительной манере, сравнивая Евтушенко с Маккарти, который некогда устраивал в Америке «охоту за ведьмами». А маршал Шапошников приравнивается, только представьте, к «усатому господину», то есть, по-видимому, к Сталину. На это бывшие правозащитные заслуги тоже дают право?

Максимову могут нравиться или не нравиться спасители демократии, но откуда такая ярость в оценках никогда, по его собственному признанию, «не жаждавшего мщения» писателя? Он почему-то не нашел ни одного слова осуждения в адрес писателей-«патриотов», которые обратились со «словом к народу», ставшим идейной подготовкой к этому самому путчу, они подписали его вместе с ныне известными путчистами! Не вызвал его гнева и поступок Проханова, главного редактора газеты «День», который выступил по телевидению в день переворота и поддержал хунту, так же как он ее поддерживал и вдохновлял на каждой странице своей газеты...

Я еще раздумывал, публиковать ли мне свою реплику, как вдруг 13 сентября первая программа ЦТ открыла новую рубрику «Сомнение» беседой В. Максимова с корреспондентом С. Иезуитовым. Я только не понял, в Париже они беседовали или в Брюсселе?

Максимов — желанный гость прежнего, кравчековского ТВ. Кажется, только ему да Лимонову из множества эмигрантов-писателей предоставляли там возможность подолгу высказываться в самое «смотрибельное» время. Помню, что и пыл Лимонова, этого второго ценного советчика из Парижа, был также направлен против либералов и лично против Ельцина, причем как раз накануне выборов Президента России. Право, оттого, что Лимонов снимался на фоне Царь-пушки, он не казался правдоподобнее и внушительнее. Совсем наоборот!

И вот, Лимонова сменяет Максимов. Только непонятно, при чем тут «сомнения»? Максимов по-прежнему «суров», но теперь уже по отношению к госсекретарю США Бейкеру и к президентам суверенных государств, бывших советских республик, которые — подумать только! — не посоветовавшись с писателем, взяли да и встретились в Москве, да к тому же плодотворно побеседовали.

Как же надо не любить, не жалеть свою Родину, чтобы позволять себе подобные поучения, да еще в помощь привлекать великих поэтов.

Что касается меня, то я — только за жалость. Без всякой там суровости.

Изнемогаю от усталости,
Душа изранена, в крови...
Ужели нет над нами жалости,
Ужель над нами нет любви?

Это писала Зинаида Гиппиус в дни октябрьского переворота. До августа девяносто первого года было тогда очень далеко.



Сильва КАПУТИКЯН

Диалог между МНОЮ И МНОЮ

Первый голос

— Жестокий выбор — роковой и грозный —
Пал на меня.
Бог указал перстом, провозгласив:
«Ты — Новый Иисус,
Хоть и родился раньше Иисуса...»
Жестокий выбор — роковой и грозный —
Пал на меня.
Бог обязал меня
Страданиями, стенаниями моими
Все прегрешенья мира искупить —
Устами сына моего Нарека*
Молить об отпущении грехов...

И допустил Господь, чтобы меня
Терзали и топтали,
И допустил Господь,
Чтоб храмы оскверняли бы мои,
Священные сжигали манускрипты,
Святыню нашу, наше упование
На всемогущество священных слов...
И допустил Господь, чтобы меня
Преследовали, гнали на Голгофу
За веком век.

* Народ так называет Григора Нарекаци.

И допустил Господь, чтобы меня,
Склоняющегося перед крестом,
Распяли на кресте —
И снять забыли...

Я сам сошел с креста,
Сам вырвал окровавленные гвозди
Из рук и ног.
А между тем остался под ногами
От всей земли моей лишь малый бугорок,
Скала — чтоб только устоять я мог.
А надо мною — небосвод огромный:
Чтоб уместить полет мечты бездомной...

Мои мечты!
В который раз с небес
Их сталкивают, тупо топчут орды.
О, сколько раз!..
И вот сейчас, сейчас,
Вот-вот, всего мгновенье —
И рухнул небесный свод,
И под развалинами все осталось...

Второй голос

— О, мать Тереза, это ты?..
На этот раз
Пришло к нам состраданье из Калькутты
В твоём обличье...
Как ты постарела!
Я помню, в одеянье белом
На пожелтевших снимках мы видали
Тебя — иль не тебя? — такую юной
Сестрою Милосердия...
Склонялась — не ты, но ты! —
Над стайками детей,
Спасавшихся из Муша, из Битлиса,
И гладила их по вихрам торчащим,
И так хотела, чтоб отныне впредь
Сиротами их называть не смели,
Чтоб на земле армянской позабылось
То слово, то рыдающее слово...

О, мать Тереза, посмотри окрест:
Разверзлась от Ширака до Спитака
Кора земная.
Мир содрогнулся
И сердца людские...
Чудовищная рана обнажилась
И поглотила
Чуть не половину
Всего, чем мы владели на земле,
И поглотила наших жизней тьму —

Детей, подростков,
Юных, седовласых.
О, скорбь, непостижимая уму!
О, мать Тереза!
Что твои сумеют сделать руки,
Иссохшие в отдаче сострадания,
Перед зияющей, разверстой раной?..

Первый голос

— Я должен сам сойти с креста,
Сам должен гвозди выдернуть
Из рук и ног
И снова на мою спуститься землю,
На этот раз
На трещину, рассекшую ее,
На трещину, потрясшую весь мир.
Я должен губы до крови кусать,
Чтоб от безмерной, нестерпимой боли
На всю вселенную не завопить,
И грудь я должен заковать в броню,
Чтоб вдруг не разорваться ей от стоны,
Ведь на моей разодранной земле
Я трещину обязан затянуть.
Лишь мне под силу землю исцелить:
Я — старый знахарь,
Снадобья творящий
Из трав, цветов, плодов моей земли.
Лишь я владею тайной врачеванья —
Я колдовством и верой предков мудрых
Свои сумею раны залечить.

Второй голос

— О, мать Тереза, ты на матерей,
На женщин, обезумевших от горя,
Взгляни! —
Еще вчера они
Смеялись, окруженные детьми,
Взор к небу подымая благодарный.
Но сегодня —
Они уже не смотрят в небеса.
Вот уж который день
Погасших глаз, запорошенных пылью,
Они не отрывают от земли:
Жизнь матери — ее ребенок —
Остался под землей...
А этот девятиэтажный дом,
Что домом был — и бабушкой, и внуком,
Соседским шумом,
Ссорой со свекровью,
Присел на месте вдруг — и онемел,
Как будто бы от ужаса и страха

Вдруг ноги подкосились у него.
Трепещет сиротливо на веревках,
Старательно привязанных к перилам,
Трепещет, словно голубь белокрылый,
Давно уж пересохшее белье...

И мальчик, чью расстроенную мать
Учительница в школу вызывала
Из-за какой-то шалости вчера,
Как мечется он с самого утра, —
Сегодня от развалин до развалин
Он мечется и громко мать зовет,
Зовет отца, и брата, и сестренку...
О, мать Тереза, помоги, наставь —
Что дать ему? И как остановить,
Как увести, кого позвать на помощь?..

А сегодня в полночь
Той девочке, что бегала вчера,
Отняли ногу по колено...
Искусственная ей нужна нога,
Искусственные ноги, руки, ребра,
Искусственная жизнь, чтоб жизнь продлилась..
Как, мать Тереза, заглушить и чем
Стук тех шагов, бессонных, деревянных,
Что на земле армянской и в сердцах
В веках грядущих будут отдаваться?..

А маленькие села! А деревни,
Забутые в тени беды огромной,
Что рухнули в себя,
Погребены в себе самих,
Смешавшись со снегами.
На полях,
В дремоте тосковавших по весне,
Не борозды — могильные холмы
Рядами высятся.
А под холмами...
О, мать Тереза! Как начать нам сев?
Скажи, как жить начать нам, мать Тереза?!

Первый голос

— Я должен сам сойти с креста,
Сам должен гвозди выдернуть из рук и ног
И снова на свою спуститься землю,
На этот раз —
Замкнув глаза и уши
И на миг забыв о настоящем, —
Из многотомной памяти своей
Извлечь легенды, мифы и виденья
Для некоего самоутешенья —
Чтобы хотя бы устоять...

Но почему не слышу я вопроса,
Как это получилось,
Что Творец,
Оставив в стороне пустыни
Безлюдные, брошенные всеми,
Обрушил Божий гнев свой
На щепотку
Земли вот этой —
Бесценной, как единственный ребенок...
Кто знает, может, именно затем,
Чтоб снова подтвердить свой грозный выбор,
Свой приговор жестокий, роковой,
Напомнить, что я — Новый Иисус,
Хоть и родился раньше Иисуса,
И мне дано
Страданиями своими
Все прегрешенья мира искупить
И первым испытать — и в полной мере —
Все бедствия, что нам грозят в грядущем,
И этим, может, их предотвратить...
Я опытное поле испокон,
Чтоб подтвердить пред Богом и людьми
Всю силу человеческого духа,
И камни все мои — мужской породы,
Им ведомо, как отвести грозу
И обезвредить молнию...
Так знайте,
Я не увечный, не калека я,
И жалость неуместна и некстати.
Нет, я — избранник, я отмечен Богом,
Венец терновый над моим челом...

Второй голос

— О, мать Тереза,
Знай, голове, что поседела за день,
Не мученика надобен венец,
А перевязка,
Теплых рук касанье,
Душа, что боль способна остудить.
Ведь в нас — не только это
В десять баллов
Землетрясенье...
Нет, в наших душах
Руины десяти землетрясений...
Под этими развалинами — стоны
Не только те, что все еще слышны,
А стоны всех семи тысячелетий,
Боренье, жар семи десятков лет,
Семи последних месяцев тревога...
В открывшуюся рану, мать Тереза,
Вглядись — в ней столько и слоёв, и складок,
И в наших душах ими заключен

Трагический союз —
И нас они терзают в равной мере...

Всего лишь семь десятков лет назад,
Едва глаза с трудом раскрыли мы
Среди смертей и крови
В агонии Пятнадцатого года,
Очнувшись от кошмара,
Пытались вновь надеяться и видеть,
И вот тогда опять от моря
Несбывшихся надежд,
Усохшего до капли,
От сиротской доли
Земли многострадальной
Отрезали ломоть...
Да, семь десятков лет разлучены,
Как с сыном мать, —
Армения с Арцахом,
Армения с Нагорным Карабахом,
Как сквозь решетку, смотрят друг на друга,
В темнице сын, а мать у стен ее:
И даже не разрешено свиданье...
В комок мы были сжаты до поры,
Пока дыханье теплого течения
Не ощутили вдруг...

И мы поверили, что пробил час
Добра и справедливости... И зов
Арцаха будет наконец услышан,
Поверили тому, что под ногами
Уже надежна и прочна земля.
Как в эпосе народном о Давиде —
И малое пшеничное зерно
С орех величиною стало вдруг,
И заточенный в наших душах узник
Мгер Младший выйдет из уединенья,
В победу справедливости поверив...
Увы, земля еще шаталась под ногами,
И было с коноплю пшеничное зерно.
И вот земля разверзлась перед нами
Давно, задолго до землетрясения,
И — вдруг открылась бездна...

В глубь бездны, если можешь, мать Тереза,
Ты загляни,
В глубь этой преисподней,
Название которой — Сумгаит:
Исчадья — тени дантовского ада,
Как будто с книжных сорвались страниц
Те призраки, погрязшие в грехах,
Плоть обрели
Сейчас, в конце двадцатого столетья —
Нет, не в котлах с кипящею смолой —
Сжигают в пламени автопокрышек.
И на костре — не грешный кардинал:

Усталый семьянин, что шел с работы.
У матери несчастной на глазах
Дочь волокут насильники лихие...
И надругаться над женой спешат
У тела изувеченного мужа.
А после гонят с воплями нагую
От чайханы к мечети
И назад—
Под свист и улюлюканье толпы...

Довольно, мать Тереза! Пошадим
Друг друга и пошады ради вспомним
Мы искры безоглядного добра
На дне той бездны...
Вспомним, мать Тереза,
Мы женщину по имени Ханум
С фамилией, где Исмаила имя, —
Из дома номер пять
По третьему кварталу Сумгаита...
Приветлива, красива, молода,
Она была приманкою для сплетен...
Когда всю бесчинствовали толпы,
И свирепела бойня, и в дома
Врывались, —
На четвертом этаже
Ханум спасала в комнате своей
От смерти неминуемой соседей —
Тринадцать человек:
Детей и женщин, стариков, подростков.
Учуяв дух армян, головорезы —
Зверье, с глазами, кровью налитыми, —
Взломали дверь и в комнату вломились.
Дрожащая от ужаса Ханум
Собую сброду преградила путь.
И тут же
Острым лезвием она
Вдруг полоснула по своей ноге
И закричала гневно, себя не помня:
«Вы хотите крови?!
Вот кровь моя!
Хотите убивать? Меня убейте!..»

Чтобы суметь жить дальше, мать Тереза,
Вовеки не забудем
Ту женщину, достойную хвалы,
Что вышла как бы из легенд народных
И просто оставалась человеком,
Исполнена стремлений благородных,
В то время, когда многие мужчины,
Вооруженные пером,
Нет, не нашли ни капельки чернил,
Ни капли слова,
Чтоб стыд с лица стереть...
И все ж — прикроем,

Прикроем бездну до поры, пока
Мир не прозреет и не ужаснется
И не предаст всех нелюдей суду
За эти злодеяния,
Которым
Не будет срока давности вовек...

Первый голос

— Я должен сам сойти с креста.
Сам должен окровавленные гвозди
Выдернуть из рук и ног
И снова на свою спуститься землю,
Чтобы на этот раз произнести
Неистовое, яростное слово...

Вы, орды, опьяневшие от крови,
Не хватит ли вам кровь мою пускать?..
Ее и так уже осталось мало.
Не хватит ли глумиться
И предавать святыни поруганью?
Иль, зудом одержимые, опутать
Отравленными рветесь сорняками
Вы древо плодоносное мое,
Чтоб с ветками моими
Тянуться ввысь и именем моим,
Мной ваше появление прославить,
Бесстыжее вторжение в историю...
Заманчива ты,
Слава Герострата!..
Я — Гандзасар, храм Гандзасара я,
И каждая стена от основанья
До купола, до неба самого —
Пергамента окаменевший лист:
За буквой буква —
Армянскими покрыта письменами.
Для новых надписей там места нет,
Зря не пытайтесь!
Не помогут вам
Ни заговоры, ни оговоры,
Ни приговоры лжеученых!
Я — истина! Свидетели тому
Минувшие века, тысячелетья.
Я — каменный маяк земли Арцах,
Я к миру обращен,
И на грабаре
Зовут-гудят мои колокола,
И их никто умолкнуть не заставит,
И задушить никто не сможет их.

Второй голос

— Мы задыхаемся, о, мать Тереза,
И нервы не выдерживают больше

Нечеловеческого напряжения:
К гробам, большим и маленьким,
Что наспех
Сумели сколотить,
Прибавились и бронетранспортеры
И танки...

Вот — по улицам ползут
Они, подобно позвонкам зеленым,
Друг друга настигающим,
Потом — сливаясь — превращаются в змею...
И мнится нам, вот-вот сейчас она
Нас обовьет и кольцами своими
Сожмет, да так сожмет — чтобы ни звука
Мы не могли издать,
Чтоб слово
Свободное, на свет не появившись,
В гортани задохнулось...
И нет им дела,
Что, скапливаясь в душах день за днем,
Бугрятся трупы слов,
Задушенных и произнесенных,
И множатся тлетворные микробы
Бессильной злобы и слепой вражды...

Скажи мне, мать Тереза, почему
Пришли русоволосые солдаты,
Безусые пока, совсем юнцы,
Усталые, едва простившись с домом,
Зачем они пришли сюда,
В пустынность наших городов,
В недоуменье молчаливых взглядов?
Мы так давно, мы их веками ждали,
Встречали прадеды их хлебом-солью,
И девушки еще совсем недавно,
Пока еще не встало между нами
Кровопролитье в аэропорту,
Цветы дарили им...

Так почему же, мать Тереза,
Кто руку приложил, чтоб между нами
Ползла змея,
Гремя стальными позвонками,
Чтоб так сгустилась отчужденно тьма?..
Кто виноват, что наши парни
При виде своего застреленного друга,
При виде окровавленных дубинок
Черту переступили,
Как смертники, безумно, безрассудно
Запустили камни
В ровесников своих, солдат безусых,
Из деревень убогих приведенных
И брошенных случайно иль нарочно
В водоворот событий этих горьких...

Ах, наши парни, младшие сыны
(Нет, ни один не ставший Мгером Младшим!) —
Бесхитростны, доверчивы, наивны,
С Арцахом на устах и жаждой правды,
Они вперед рванулись в нетерпенье,
И с февраля до декабря
Их вскинутые руки парили в воздухе,
И постепенно под потоком лжи,
Под ливнем лжи
Сжимались руки их, и превратилось
Победное двуперстие — в кулак...
И юноши, уверенные в том,
Что можно лбом пробить броню стальную,
Подкошены и сломлены теперь,
Одни — в тюрьме,
А у других — тюрьма в самих себе,
А у кого-то глаза погасли и порыв исчез,
А кто-то, одержимый зовом мести,
Об стену бьется в ярости и гнев...
И все мы, все мы в чем-то так похожи —
Великой веры мы лишились вдруг...
И вот, над нашей детскостью глумясь,
Нас тянет в западню свою злой дух,
Толкает на поджоги, на убийство,
Толкает нас на самоискаженье
Обличия, нам данного Творцом.

О, помоги, мы терпим поражение,
Оплакивай, о, мать Тереза, нас...

Первый голос

— Я должен сам сойти с креста,
Сам должен окровавленные гвозди
Я выдернуть из рук и ног своих
И снова на свою спуститься землю,
На этот раз, на этот раз трубя,
Трубя в трубу надежды, отрезвленья...
Кто говорит, что свет моей любви
Стал едкой желчью ненависти желтой
И верованьем сделалось убийство?..
Нет, это только миг —
От ярости, что в сердце накопилась,
Слепая пыль, осевшая на груди
Развалин,
Это лишь короткий крик
От боли нестерпимой,
Туман, застлавший взоры,
Рассеется, рассеется он, верю.

Ведь на черном пепле
Желтого Тер-Зора

Жизнь обрело, зареяло, зарделось
Рожденное от радости, от роз,
От радуги и от раскатов грома
Сарьяновское чудо!
Загремела
Торжественно, как гонг, по всей планете,
Как рокот пробуждения, разнеслась
По свету музыка Хачатуряна,
Чей танец с саблями победно
Вознесся над зловещим лязгом сабель.

А тот февраль великий, что вошел
В историю под кодом «88»,
Собравший ополчение в сотни тысяч,
Как новый Аварайр, что призван был
Спасти от наступающих слонов,
Готовых растоптать не только землю,
Но вопль моей израненной души —
Мое самостояние и веру!
И я восстал — единодушно, слитно,
Всем миром, от Армении до спюрка*,
И площадь Театральная вдруг стала
Как будто «Храмом Голубя», который
Вбирал армян без счета и числа
И выпускал их снова на просторы,
Их окрыляя, обращая в дух...
И мир увидел все и осознал:
Что нет мне ни конца и ни начала,
Я гибну — и рождаюсь каждый миг,
И невозможно умертвить меня.
Что я — превыше тела,
Я — душа,
Дыхание, горение...
Мир понял,
Что наделен я высочайшим даром —
Свет увидеть в ночи
Да и воспеть
Лампаду Просветителя Григора...
Лампада эта высится над всем
И выше Арагаца — к небесам
Подвешена она, и без веревок...
Она не гаснет... В ней горит не масло,
А вера в ней горит и — высший дух...
Горит она и в бурю, на ветру,
Горит и в ураган, и в суховеи...
Лампаду эту вижу отовсюду
Я — армянин, молитву возносящий
Ее святой непостижимой тайне.
Она мне указывает, как мне жить,
Мне открывает смысл существования:
Мрак светом победить — творить извечно свет!

* Спюрк — армянская диаспора.

Второй голос

— Послушай, мать Тереза, вон того
Едва десятилетнего ребенка
С лицом в глубоких шрамах и рубцах...
Три дня, три ночи этот бедный мальчик
Из-под развалин рухнувшего дома
Пытался выбраться.
И вот сейчас
В больнице он читает вслух стихи,
Читает об Арцахе, о погромах.
Топча друг друга, с губ его спешат,
Срываются в неистовстве слова,
Горящие проклятьями и гневом,
И маленькое нервное лицо
Еще сильнее судорога сводит...
Послушай, мать Тереза, помоги,
Чтоб этот мальчик, этот бедный мальчик,
В себя впитавший ужас подземелья,
Вновь стал ребенком, —
Выбравшись из тьмы
Своей недетской ненависти черной, —
Чтоб снова стал улыбчивым ребенком...

Ты помоги, наставь нас, мать Тереза,
Нас научи, как выбраться из тьмы,
Что рухнула на нас,
Как обрести
Вновь свет души, прийти опять к началу?..
Ты ненависти вытащи занозу
Отравленную —
И наполни нас
Неиссякаемой любовью глаз
Своих сухих и выплаканных, чтобы
След от занозы затянуться смог...
Своею богоданной добротой
Нас одели,
Запасами прощенья,
Нам крохотные крестики раздай
И научи молиться и прощать,
Молиться, и надеяться, и верить...

И слышать научи нас, мать Тереза,
Небесный глас,
Земной язык любви,
Чтоб умиротворить души смятеные,
Мы так истосковались, мать Тереза,
По звону мирному колоколов,
Мы так истосковались по доверью...
Нам руки помощи со всех концов
Планеты нашей
Люди протянули.
Дай силы нам с любовью их пожать,
Дай силы нам сказать им всем: «Спасибо!...»

Первый голос

— Я должен сам сойти с креста,
Сам должен гвозди выдернуть
Из рук и ног
И снова на свою спуститься землю...
На этот раз —
Чтоб обратиться к миру
И к человеку:
Люди, с вами я,
Со мной — тепло и нежность ваших рук.
Помимо благодарности великой
Во мне родится утешенья свет,
Когда над раною моей открытой
За многие столетия впервые
Касаются друг друга осторожно
Со всех сторон протянутые руки,
И белые, и черные, и желтые.
За многие столетия впервые
Сердца людские так согласно бьются,
На всех губах дрожат одновременно
Любви и милосердия слова...
И кажется мне —
Треснула не только
Кора земная в тот горчайший миг,
Но треснула и совести короста,
Корысть и черствость,
Лживости кора.
И кажется мне —
Трещины исторгли
Тоску по доброте и красоте,
Что накопилась за тысячелетья...

Я — древний,
К древнему строению причастный,
Что Вавилонской башней нарекли,
Сейчас я
Воистину горжусь,
Что на моей земле заложен камень
Незримой башни, благовест несущей.
О праведном союзе планетарном,
Что люди, потерявшие друг друга
Тогда, в столпотворенье Вавилонском,
В том адовом смешенье языков
Утратившие тайну пониманья,
Должны друг друга снова обрести
И понимать должны друг друга снова...

Второй голос

— Ты много исходила, мать Тереза,
Дорог и городов и несомненно
Была в Сиднее,

Мы же — нет,
Мы только вести слышали оттуда
И звуки нежной скрипки, что грустила,
Как среди гор армянская свирель:
Уж сколько дней, моря пересекая,
Сквозь грохот самолетов,
Рев штормов
Она скользит, как по небу комета,
И нашего замученного слуха
Касается слегка и озаряет
Своею чистотою нашу скорбь.

Когда бы мы могли вблизи увидеть
На многолюдной улице Сиднея
Ту маленькую девочку со скрипкой —
Вон, прижимая скрипку подбородком,
Она играет, отдыха не зная,
Своей игрою собирая деньги
Для помощи армянским детям...
Была б возможность в стороне застыть
И на нее смотреть, не отрываясь,
Погладить белокурую головку
И пальчики ее поцеловать...
Была б возможность — вдруг заплакать в голос
И улыбнуться — душу облегчить...
Тебе спасибо, детка Мариэт,
И вам спасибо, люди всей земли,
Тебе спасибо, мать Тереза!..

Первый голос

— Сам должен я сойти с креста,
Сам должен гвозди выдернуть
Из рук и ног
И снова на свою спуститься землю.
На этот раз — чтоб возвестить вам волю
Последнюю свою...
Когда-нибудь вам доводилось видеть
Такую Богоматерь?..
В каком писании Священном
И гением какого Рафаэля
Или Леонардо изображенную?..
Пять дней она
Была заточена
В темнице меж бетонных плит,
В крошечной мгле, забитой пылью тьме
Стоит среди обломков и осколков
С младенцем на руках,
К груди прижатым...
Охвачена оцепенением страшным
Она перед бетонною панелью,
Что не спеша, но и неудержимо
Все ближе надвигается на них...

Когда же молоко в груди иссякло,
Надрезала она осколком палец
И кровью стала малыша кормить...

И — живы оба!
И на пятый день
Их вытащить сумели из развалин —
О, Творец,
Твои деянья неисповедимы...
Их вытащить сумели, и они
Живыми, невредимыми остались...
Такая ты — армянка — Богоматерь,
И я такой — из всех темниц восставший,
Воскресший и нетленный,
Такова
Моя земля...
Ошеломленный мир
Ее зовет Библейской, добавляя:
Библейским было и землетрясение...

И это слово, что приводит в трепет —
Непостижимы тайны бытия! —
Внушает мне мистическую силу
И заставляя
Взглянуть на все вокруг со стороны,
Взглянуть по мерам и весам веков
И ощутить себя народом вечным,
Прошедшим по земле тысячелетия —
В тысячелетия идущим вновь...
И придает мне силы вновь подняться
И в небо вознести свои мечты...
И придает мне силы снова жить,
Творить и верить...
Ведь символом моим
И был, и есть, и будет Арарат,
Тот самый Арарат, что стал опорой
Для Ноева Ковчега...

*Февраль — март 1989 г.
Бюракан*

*Перевела с армянского
Елена Николаевская*

А льва жалко...

Давно это было, лет пятнадцать назад или около того, когда нас с женой пригласили на встречу с Чангом. Пригласили соседи по дачному поселку — Дружниковы. Сам Дружников — известный писатель, кинодраматург, его супруга — хранительница домашнего очага, а Чанг — лев, снимавшийся в фильмах Дружникова, к вящей славе для них обоих, а также хозяев Чанга — семьи Бедуиновых. Чанг, ручной, очеловечившийся лев, никогда не видевший пустыни, был равнодушен к славе, но наверняка радовался за своих хозяев, которых любил не меньше, чем Маугли — выростившую его волчью стаю, и так же считал, что он с ними одной крови. Поэтому лев, еще молодой, но слабый здоровьем, малоподвижный и легко утомляющийся, покорно трясся в самодельном фургоне на съемки и безропотно отработывал бесконечные дубли. Не уверенный ни в себе, ни в операторе, ни в аппаратуре, ни в качестве пленки, режиссер заставлял Чанга страховки ради десять раз совершать один и тот же прыжок. Режиссер был мало сведущ в львиных повадках и считал прыжок наиболее характерной особенностью льва, выражением его сути, как, скажем, у кузнечика, лягушки или антилопы-импалы, и бедному Чангу приходилось без конца прыгать: на стол, на стул, на комод, на шкаф, на крышу автомобиля, в окно, из окна, через ограду, ручей, канаву, овраг. Он приседал, напрягая мышцы задних ног, отчего в крестец впивалось шило, отталкивался и приземлялся на больные, чуть искривленные от рождения передние лапы. Чанг родился рахитиком, дохляком, за что был обречен на уничтожение собственной матерью, стыдившейся и презиравшей этого недоделка, невесть с чего затесавшегося в великолепную шестерку ее первенцев. Новая — человеческая — мать Чанга буквально вырвала его из когтей отторгшей убогого сына львицы. Эта женщина — в медовом мурлыканье маленького Чанга, когда она ласкала его, звучало: «Урча, урча», и постепенно все стали так звать ее — не представляя, какую чудовищную обузу взяла на себя. Вырастить льва в домашних условиях дело вообще не простое. Особенно, когда домашние условия заключаются почти в полном отсутствии их: одна комната в деревянном домишке барачного типа, а в ней семья из четырех человек, не считая собаки. И жить предстояло на одну зарплату скромного служащего. Урча — будем и мы ее так называть — вынуждена была уйти с работы, чтобы целиком посвятить себя львенку. Тяготы усугублялись тем, что львенок был больным и слабеньким, он требовал повышенного внимания (впрочем, кто знает, сколько внимания требует здоровый львенок,

От автора. В основу рассказа положены действительные события. Но это не хроника, не документальная проза, а беллетристика со всей присущей ей свободой вымысла.

выращиваемый в коммунальной квартире на условиях, так сказать, семейного подряда?), неусыпной пристальной заботы, лечения, включая массаж и гимнастику для лап. Льва надо было чистить, обрабатывать ему когти, расчесывать гриву (это уже позже, когда подрастет), поить и кормить по четкому распорядку. Но не стоит все это расписывать: уверен, ни один из моих читателей не возьмет льва на воспитание, особенно если дочитает до конца эту печальную историю, так что не стоит корчить из себя старого львовода.

Трудности усугублялись соседями по дому, сразу возненавидевшими Чанга. Они пытались избавиться от него, подбрасывая ему булочку с бритвенным лезвием в мякише, крысиный яд, и бумажными голубями летели во все инстанции доносы на хозяев Чанга, испортивших им жизнь. Конечно, Чанг никому не мешал и никто его не боялся, просто людей томила тревога: вдруг диковинное предприятие Бедуиновых даст навар.

И все же худо ли, хорошо ли семья справлялась с трудностями и, подчинив свою жизнь странному песочного цвета таинственному существу, стремительно растущему и как бы вытесняющему их из жизненного пространства, уверенно продвигалась к поставленной невесте кем и когда цели: вырастить посреди советской страны усилиями рядовой, ничем не взысканной семьи самого большого и грозного из всех африканских хищников. Зачем им это было нужно? А разве мы всегда знаем, почему выбираем те или иные пути? Конечно, в иных, не столь уж частых случаях, когда выбор происходит сознательно, продуманно, мы это знаем, но ведь куда чаще выбираем не мы, а дороги выбирают нас, и темны истоки человеческого предназначения к тому, что оказывается судьбой.

Возможно, указание пришло из бесконечной дали лет: какой-нибудь заблудившийся ген добрался до Урчи через поколения от того христианского мученика, которого пощадил лев на арене Колизея (эту легенду использовал Бернард Шоу в пьесе «Андрокл и лев»), и превратил ее в опекуншу львов. Тогда наследственностью объясняется, почему четырехлетний Урчонок — сын Урчи и семилетняя Урчона — ее дочь тоже оказались природженными укротителями. Они сразу установили с большим и опасным — сперва когтями, а там и пастью, быстро набравшей острых клыков в мягкую молочную пустоту — желтым котенком отношения покровительственной, но строговатой дружбы, и царь зверей принял такой порядок вещей, хотя жалки и бессильны были перед ним дети человеческие.

Куда труднее объяснить, почему маленькая грязно-белая курчавая болонка Рип с огромными коричневыми подглазьями и закушенным розовым язычком тоже оказалась специалисткой по львам. Рип воспринял появление в доме огромного — для него, крошки, — новосела как нечто само собой разумеющееся, хотя и обязывающее и сразу стал на него полаивать и порывивать, но не от злобы, а помогая освоиться в новой среде. Малыш Рип сделал больше всех Урчей вместе взятых для адаптации львенка, и тот оплатил эту заботу преданностью и любовью. Впрочем, трудно сказать, кто в этой паре любил сильнее: Чанг, вырастая, становился все сдержаннее в проявлении чувств, даже к Ри-

пу, а Рип, простая душа, любил в открытую, не таясь и не стесняясь. Казалось, любовь Рипа возрастает пропорционально росту Чанга. Малыш становился все требовательнее и нетерпимее к объекту своей любви: то и дело обтягивал его, даже покусывал за ноги, разумеется, для пользы Чанга, которую он один лишь знал, никого к нему не подпуская, особенно если тот спал или подремывал. И лев ничуть не сердился на эту мелочную, докучную опеку, он охотно подчинялся Рипу, позволяя делать с собой что угодно. Рип расхаживал по нему, зарывался в гриву, спал у него под лапой — одно неосторожное движение, и от собачонки осталось бы мокрое место, но такое движение было невозможно. Лишь однажды, в начале дружбы, Чанг проявил неосмотрительность в отношении Рипа. Он принялся вылизывать его своим шершавым, как наждак, языком и слизал всю шерстку на спине. А разнежившийся Рип даже не заметил, что облысел. Пристыженный Урчами, Чанг понял, что нанес ущерб другу, и с тех пор стал тщательно соизмерять свою мощь с уязвимостью слабого существа. Он помог Рипу восстановить шерсть, нежно слюнявя ему спинку мягким подбodem языка.

Чанг, никогда не видевший пустыню и не слышавший рассказов матери, знал откуда-то, что такое пустыня, и, повзрослев, постоянно грезил о ней. Он видел ее такой, какой она и была на самом деле: желтые, в цвет его шкуры пески, когда недвижные, когда шевелящиеся, пересыпающиеся в себе самих, редкие колючки, бездонное, почти бесцветное небо. Видел он и свою послеполуденную гордую тень на песке. Ему хотелось туда, хотя он не мог взять с собой тех, кого любил, за исключением Рипа. Тот вписывался в пустыню не то крошечным шакаленком, не то крупной ящерицей, мгновенно исчезающей в песке.

Мы забыли еще об одном члене семьи, приютившей Чанга, а ведь это он зарабатывал всем на прокорм, — об Урче. Он спокойно, хотя и с симпатией относился к льву. Урч принадлежал к какой-то странной, редкой кавказской народности, почти вымершей, и привечал лишь тех, с кем можно составить застолье, часами пить сухое грузинское вино. Чанг в рот не брал вина и потому был ему без интереса. Но когда Урч замечал Чанга, в светло-карих шальных глазах его зажигался теплый огонек. Чанг платил Урчу благожелательным равнодушием, но не дал бы его в обиду, поскольку от Урча шел семейный запах.

На зарплату счетовода Бедуинов не смог бы прокормить собственного глиста, не то что семью из шести человек, один из которых лев. Но он чуть не каждый вечер, независимо от того, было ли застолье или нет, играл в нарды по-крупному и всегда выигрывал. Любопытно, что после застолья он играл еще лучше. И опытные игроки предупреждали новичков: сегодня с Бедуиновым не садитесь, он выпил шесть бутылок кахетинского. Но те все равно садились — уж больно велик был соблазн обчистить шатающегося и орущего песни задавалу — и уходили с пустым карманом.

Чанг жил в своем очарованном печальном мире, где всегда недоставало чего-то самого главного; в младенчестве чувство недосягаемости было обращено к матери, из которой он пил молоко, бессильно толкаясь с братьями и сестрами, — ему неизменно доставались почти опустошенные сосцы; на новом месте, когда он подрос и вкус мяса вы-

теснил память о материнском молоке, тоска недостижимости обрела образ пустыни.

Тоска, когда с нею сживаешься, уже не доставляет страдания, становится окраской жизни, в которой есть место хорошему, радостному. И у Чанга были свои скромные радости: возня с Урчоном, хлопотливые приставания Рипа, его беспокойный сон в Чанговой гриве, когда он тявкал, рычал, сучил лапками, продолжая нести службу охраны, ежедневные прогулки по двору на поводке, который с гордым видом сжимали в кулачке Урчонок и Урчона, а еще была хорошая порция мяса, вскоре замененного фаршем — у него стали шататься и сыпаться зубы.

Были и занятия докучные, раздражающие: чистка шерсти, расчесывание гривы, подтачивание когтей, росших криво и впивающихся в мясо, промывание глаз, осмотр ушей и зубов. Всем этим ведала Урча, но Чанг был настолько великодушен, что прощал ей все вины, не понимая одного: зачем доброму человеку нужно его мучить.

Прошли годы, и нелегкая жизнь семьи озарилась добрым светом. Урча написала книгу о Чанге, прошумевшую на весь мир. В книге живо и трогательно была поведана история Чанга — от горестного младенчества, едва не кончившегося смертью под тяжелой лапой матери, до последних дней, когда Чанг стал большим, могучим и безмерно добрым зверем, ручным, как домашняя кошка или собака. Урча рассказала о его привычках, повадках, времяпрепровождении, о дружбе с детьми и Рипом. Переведенную чуть не на все существующие языки книжку заметили наконец и в Москве. Конечно, о ней знали, но не было указания сверху, как относиться к самовольному, не санкционированному никем поступку семьи. Быть может, не стоит ориентировать народ на домашнее воспитание львов? Но сейчас последовал благословленный кивок сверху, и навалом пошли восторженные статьи о смелом эксперименте выращивания льва в тепличных условиях — тот факт, что эксперимент ставился на шестнадцать квадратных метрах, авторы стыдливо умалчивали, но всячески подчеркивали, что такое могло произойти только в советской стране, исповедующей принципы социалистического гуманизма и интернационализма. В результате стали сбываться дурные предчувствия соседей.

Бедуиновым отдали вторую комнату в их барачной квартире, выселив оттуда какого-то бомжа, не имевшего прописки. Он и прежде редко навещал свое незаконное жилье, а Чанг вовсе отучил запуганного бродягу от гнезда кукушки. В эту комнату перебрались со своими кошмами дети, Рип и Чанг свободно разместились в лишенном мебели пространстве. Кроме того, Чангу выделили для прогулок участок на задах дома, огородив железной сеткой и лишив соседей повода к скандалам, и, наконец, его поставили на пайковое довольствие старых большевиков. Он стал получать помимо мяса консервы, докторскую колбасу, печенье пти-фур, сигареты «Прима» и по праздникам бутылку «Столичной».

В дом повадились газетчики. Чанга много фотографировали, чего он не любил из-за пугающей его вспышки, наведальсь и телевидение, а затем наступила очередь кино. Оно появилось без аппаратуры и без всякой помпы в образе элегантного пожилого мужчины с загорелой лы-

синой и седыми висками, отрекомендовавшегося писателем и сценаристом. Он ошеломил Урчу потрясающим предложением. Да что там предложением, то был пятилетний план артистической деятельности Чанга, включающий два полнометражных фильма, один трехсерийный телевизионный, хроникальную короткометражку «Чанг в кругу семьи» и рекламный ролик. В хронике и рекламе предлагалось сняться всей семье Бедуиновых, а в телевизионном сериале были неплохие роли для Урчонка и Урчоны и даже Рипа. Два сценария уже готовы, Бедуиновы могут ознакомиться с ними, есть и проекты договоров. Эта деловитость, столь не вяжущаяся с образом свободного художника, и то, что, представляясь, он назвал лишь имя-отчество без фамилии, насторожили Урчу. Она начала плести ахиною: мол, не может ничего решить, не посоветовавшись с мужем (то был день кахетинского и нардов), да и Чанга надо спросить, хочет ли он стать артистом, он ведь домосед, скромник, к тому же слабенький — лапки побаливают, зубочки повыпали, жует, как старичок, мякотьное, промолотое любит, а на съёмках кто его обеспечит? Ей самой был противен этот сюсюкающий тон, но она словно защищалась им от нахрапистого незнакомца.

— Мы обеспечим, — спокойно ответил безымянный автор и выложил на стол пачку договорных бланков. — Здесь будут зафиксированы все условия содержания, кормежки, медицинского обслуживания, ухода. Разумеется, вы и ваш муж, если он захочет, будете включены в договор как сопровождающие лица. Точнее, как дрессировщики-укротители.

— Об этом тоже надо подумать, товарищ... ой, забыла вашу фамилию.

Писатель улыбнулся, поняв ее игру, он отлично помнил, что фамилии своей не называл. У него вообще была отменная память, не только художественная, но и деловая, а не назвал он себя из деликатности, чтобы не оглушить милую провинциальную женщину. Но сейчас он открылся.

— Как? — переспросила она.

— Вы меня не читали? — улыбка стала натянутой.

— К стыду своему... — начала женщина. — Читала!.. — вскричала она радостно, не заметив обидности разорванной фразы. — «Вова на катке» ваш рассказик? У дочки в хрестоматии видела.

— Ну, это не единственный мой хрестоматийный рассказ, — прозвучало неловко и хвастливо, но он не оправился от потрясения.

Недоразумение возникло оттого, что фамилия у него была самая расхожая, незвучная и лишь в сочетании с именем обретала гулкость бронзы.

На другой день Бедуинова пошла в детскую библиотеку и с ужасом обнаружила, до чего же она темная дура. Писатель был одним из основоположников, лауреат Государственных премий, заслуженный деятель искусства, член-корреспондент Академии педагогических наук, председатель отроческого фонда стран Азии и Африки...

И началась у Чанга и всех Урчей новая жизнь. Счастливая? Если говорить об Урче — он ушел с работы и сопутствовал Чангу в качестве укротителя, — то наисчастливейшая, ибо теперь застолье было каждый

вечер, хотя порой без кахетинского и других грузинских вин. Но Урч оказался ценителем не только коньяка или «столичной», а и более грубых напитков вроде «кубанской» или «бормэтухи». В киноэкспедициях бывали всякие обстоятельства — и светлые, и темные, но пили при любой погоде. Урч обучил собутыльников играть в нарды, а за науку, как известно, платят, хотя, по сговору, он уже не нуждался в приработке. Счастлива была и Урча — и за Чанга, ставшего знаменитым, и за себя, наконец-то полно реализующей свои возможности. Она поднатрела в интервью, в радио- и телевыступлениях, завела множество интересных знакомств, научилась ухищрениям косметики, стала модно одеваться и вдруг обнаружила, что она — привлекательная женщина, безотказно действующая на мужчин. Счастливы были и дети — они по месяцам прогуливали школу, к тому же кино — это так захватывающе!.. Счастлив был и Рип, ему прибавилось хлопот по охране Чанга, но в том и состоял смысл его земного существования. Он так налаивался за день, что к вечеру вовсе терял голос, а в сон проваливался, как в смерть, что пугало Чанга, и он несколько раз проверял ночью, дышит ли его маленький друг.

Чанг был несчастлив. Ему тяжело давались переезды в пикапе с надстроенным фанерным домиком и зарешеченным окошком, было душно, тряско, тесно, его укачивало. Если б не поддержка Рипа, отвлекавшего от грустных мыслей и дурного самочувствия, он бы не выдержал. Плохо действовало и нерегулярное кормление, и жажда по утрам и к вечеру, которую он зачастую не мог утолить.

Но еще хуже было на съемках: резкий, обжигающий глаза свет софитов, от которого никуда не деться, разил даже сквозь сомкнутые веки; когда же он наконец погасал, в глаза вплескивалась ночь, а в ней зажигалась слепящая точка. Эта точка, то неподвижная, то медленно наискосок пересекающая тьму, то судорожно мечущаяся, прожигала мозг. А еще его доканывали прыжки. Как болели крестец и передние искривленные рахитом лапы! Его удивляло, что Урчи позволяют так издеваться над ним. Большие Урчи почти не подходили к нему на съемках, делая вид, будто они не догадываются о его муках. Маленькие и впрямь не догадывались — им было весело, упоительно интересно, а бедняга Рип видел свою единственную задачу в том, чтобы обливать всех, кто приближался к Чангу. Иногда Чангу казалось, что Рип подозревает неладное, — поднявшись на задние лапки, он облизывал нос прилегшему Чангу с такой щемящей старательностью, словно от его быстрого нежного язычка зависела жизнь друга. Чангу хотелось ответить Рипу той же лаской, показать, что он понимает и ценит его жалкие усилия, но он не решался, помня о том, как облысел Рип от его дружеского поцелуя.

Чанг не жаловался, а ведь жаловаться можно не только презренным скулежом, но и естественно неловкой поступью, разлаженностью движений, утомленной позой. Но он был лев, и это обязывало всегда сохранять осанку, гордый вид, оставаться царем вопреки всему. И ослепленный, преследуемый сверлящей мозг точкой, наломанный, измученный Чанг важно и прямо держал голову, делая вид, что вглядывается поверх голов окружающих в недоступную им даль. Напрыгавшийся на съемках

до онемения позвоночника, он заставлял себя мягким прыжком вскакивать в пикап, хотя мог бы, пошатываясь, подняться по сходням. И когда он опускался на землю, то не укладывался на бок, что было удобнее его наломанному телу, а сохранял красивую напряженную позу сторожевого мраморного льва с высоко поднятой головой и чуть прихмуренными глазами, зорко обозревавшими окрестность. Он должен был не ронять своего рода, не ронять пустыни, чего бы ни стоило.

А пустыню свою он почти потерял. Для нее нужны не минуты, а долгие часы покоя и сосредоточенности, чтобы ушла внешняя и внутренняя суета, стало свободно и безмолвно, тогда распахнется пространство в застывших волнах песка и чуть различимый горьковатый запах других существ, населяющих мир, затревожит ноздри. К ночи он так уставал, что засыпал раньше, чем являлось видение. Жизнь стала плоской и утомительно беспокойной. Чанг все сильнее привязывался к Рипу, утрачивая другую свою великую привязанность — к Урчонку. В мальчишке появились неприятные черты: он любил показать себя хозяином льва — прикрикивал, иногда замахивался и даже шлепал ладонью по спине, чего Чанг почти не ощущал, но сознавал как нечто унижающее. Он не позволял себе огрызаться, даже подыгрывал дурачку, что слушается его, но прежний мальчик, простой и ласковый, был лучше.

Тихих минут Чангу хватало лишь на то, чтобы вспомнить, как он лежал на драной кошке в их старом доме или на траве во дворе и грезил о пустыне. И вообще, та спокойная, размеренная жизнь вспоминалась ему как счастье. Но он не разрешал себе показывать окружающим, как ему плохо. Лишь умилительная котятость, что так долго сохранялась в большом взрослом звере, оставила его, он стал угрюм и царствен. и это делало его еще фотогеничнее. Киношники прямо-таки помешались на Чанге, планируя все новые и новые фильмы с его участием. Большой, чудом отобранный у смерти лев, выращенный энтузиазмом и любовью странных, не от мира сего людей, становился героем пошлой кинематографической чангианы, привлекавшей интересы многих деловых людей.

...Его привезли на дачу к самому обеду. Можно было въехать на участок, но пикап остановился у калитки, одарив прогуливающихся по аллее редким зрелищем. Отпахнулась задняя дверца фанерного домика, встроенного в кузов пикапа, на землю ловко спустился мальчонка лет семи, к нему на руки прыгнула кудлатая болонка, затем мощным мягким прыжком на землю опустился настоящий лев.

Из калитки высыпала группа людей. Они смеялись и хлопали в ладоши, ничуть не опасаясь льва. Они стали шпалерами от пикапа к калитке, и лев двинулся по образовавшемуся коридору. Над калиткой был прикреплен плакат с броской надписью: «Добро пожаловать, Чанг!»

Лев вскинул голову и внимательно посмотрел на приветствие. Задние ноги его чуть подогнулись, и он принялся мощно, как из брандспойта, мочиться. Желтая влага растекалась по желобам и морщинам земли, потом струи слились в поток, устремившийся к ногам встречающих, обратив их в паническое бегство. Чанг пружинно вытолкнул последние капли, распрямился и величественно прошествовал на участок.

Гости, толкаясь, поспешили за ним. Лев направился к купам берез, выбрал освещенный солнцем пяточок и улегся, раза два зевнул, показав гнилушки испорченных зубов, и смежил веки. Тут же к нему скакнул Рип и устроился в ущелье меж толстых лап; из-под грязноватых кудряшек сверкали охраняющие глаза. А в гриву Чанга зарылся Урчоннок, вызвав стремительный прорыв из толпы гостей увешенной аппаратурами фотокорреспондентки. Она собиралась заняться съемкой позже, но ведь нельзя же пропустить такой кадр. Мальчонка, видать, многому научился за свои кинематографические дни. Делая вид, что не замечает упражнений толстой фототетки, он принимал самые картинные позы, то разваливался на спине Чанга, то садился верхом.

Гости млели в первом, каком-то неуверенном восторге, соревнуясь в банальностях. Впечатление было такое, что большинство считало льва фикцией, предлогом для встречи. Знаете, как приглашают: «Приходите, будет Пугачева», «Приходите, нас посмешит Хазанов», «Приходите, и не падайте в обморок — мы ждем Паваротти». Попробуй не откликнуться, хотя каждому ясно: в последний момент досадное недоразумение помешает приезду суперзвезды, но все равно останется чувство эфемерного соприкосновения с прекрасным, некий эстетический навар. А сейчас Хазанов-Пугачева-Паваротти явился, он лежал посреди сада, свободный, никем не охраняемый, грозный царь пустыни, символ той могучей силы, имя которой природа, чьи последние бастионы разрушает человек, дабы прекратить жизнь во Вселенной.

Мы с женой попали на торжественный обед, посвященный Чангу, как я понимаю, случайно. Мы были в добрых отношениях с хозяевами, но ни визитами, ни праздничными открытиями не обменивались. Откуда-то стало известно, что цель встречи вовсе не рекламная — это походя, а гуманная: помочь Чангу. Живущий в нашем поселке крупный номенклатурный работник, в прошлом сталинский волевой министр и сейчас тоже почти министр, но в более либеральном духе, пригласил на встречу одного из столпов режима, всесильного в мире материальных ценностей Ивана Ивановича Бабенышева — назовем его условным именем, ибо великий человек жив и может схватить нас за руку, если что окажется не так. Странное дело: участвуя бесконечно долго и старательно в разрушении страны, он чувствует себя в полной защищенности, безгрешно и улыбочиво рассыпает интервью и даже консультирует кооперативную фирму, которую не остерег его плачевный опыт в масштабе страны.

Он должен был обеспечить Чанга новой квартирой, спецпайком на уровне республиканской высшей номенклатуры, мини-автобусом «рафиком» и местом на морском пляже — город Чанга находился на одном из исчезающих морей.

Кто-то пронюхал, что великий человек не считает эти требования чрезмерными и даже сказал с присущим ему добрым юмором: «Нас много, а Чанг один. Создадим ему условия». Сейчас требовалось одно — чтобы он почувствовал поддержку писательской общественности, творческой интеллигенции. Зачем это было нужно человеку, который распоряжался экономикой всей страны, непонятно. Но и на вершине власти идут свои таинственные игры. Он мог свободно оставить без горуече-

го целую республику, лишить угля металлургию Урала — это никого не волновало, но за лишний килограмм костей Чангу грозил «вызов на ковер». Этот изящный оборот административного словотворчества неизменно вызывает в моем воображении дореволюционный цирк и того, «кто получает пощечины», — коверного клоуна с красной бульбой носа, в рыжем парике, пестрых штанах и громадных ботинках. Его бьют все, кому не лень, он падает бульбой в ковер, в пропахшие зверьевой мочой опилки арены, в вытертый бархат барьера. Мне казалось, что сходным образом поступают с провинившимся чиновником. Бабеньшев хотел помочь Чангу, но так, чтобы не расплачиваться за свой гуманизм пощечинами, вот он и решил подкрепиться писательским авторитетом. Предположим, вызовут его на ковер:

— Ты что, сволочь такая, кости разбазариваешь? — накинется Генсек.

А он эдак с улыбочкой:

— Писательская общественность потребовала, хе-хе! Куда деваться? — и разведет беспомощно руками.

И Генсек, поласкав ладошкой профиль Ленина на золотой лауреатской медали, вспомнит, что он сам из этих проказников, и промурлычет хитровато:

— Да-а, с писателями лучше не связываться. Мы такие!..

И отпустит с ковра на пол, к вящей злобе Главного идеолога, которого вечно не хватает крови.

Конечно, нужно создать достойное окружение Бабеньшеву, но с этим оказались сложности. наших знаменитых поэтов хозяин решил не звать, ибо понимал, что вечер Чанга неизбежно превратится в вечер Антокольского или Кирсанова, или другого витии, умеющего слушать лишь самого себя. Из прозаических первачей двое на дух не переносили хозяина дома и были слишком эгоистичны, чтобы поступиться своей ненавистью ради льва, третий же был так упоен собственным величием, что само предложение участвовать в застолье, где ему отводилось третье место (после Бабеньшева и льва), почел бы смертельным оскорблением.

Но оставался главный, свержведущий, хотя и малость пощипанный в неуважительные времена хрущевской оттепели, но все равно самый близкий и желанный любому начальству, — Константин Симонов, и он милостиво согласился прийти. Я знал, что он надует. Симонов никогда не подписывал коллективных заявлений и никогда не участвовал в несанкционированных мероприятиях. Даже присутствие промышленного босса не возносило в чин дозволенного наше экстравагантное сборище. Не было должной серьезности ни в поводе, ни в герое встречи — выпущенном на волю и расконвоированном льве. Если перевести в слова смутные опасения перестраховщика, получится следующее: да, его выпустили из клетки, но не реабилитировали официально, и вообще, все, что с ним творят, сплошная самодетальность, своеволие, несогласованность, неуказанность, кто знает, как на это посмотрят т а м. И компания непроверенная, смешанная — с борту по сосенке, и зачем после добровольной среднеазиатской ссылки, когда дела опять пошли в гору, ставить себя под удар из-за какого-то паршивого льва?

Константин Михайлович был физически храбрым человеком: спокойно оставался на НП полка во время боя, летал на военных самолетах, не терял головы под бомбежкой и артобстрелом, первым вбегал на разминированное поле, но в общественном смысле отличался крайней робостью и законопослушанием.

Я сказал хозяину дома: «Симонов не придет». Тот побледнел: «Он обещал, подождем еще». — «Напрасно. Борщ остынет». Он поглядел на меня ранеными глазами и побежал на кухню советоваться с женой.

И все-таки в глубине души он был готов к тому, что Симонов не придет. Я был приглашен на подмену, как и два других писателя из нашего поселка. Один из них пользовался славой на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, потом вдруг исчез из литературы. Как выяснилось, он не хотел приспосабливаться и писал в стол. Гласность рассекретила два его талантливших романа, созданных в самоизоляции. Но ведь и гениальный «Чевенгур» не сработал на ту мощностъ, которая была в него заложена в пору создания. Литература, увы, живет по правилу: дорогá ложка к обеду. Другой писатель тоже знал успех — и романский, и драматургический, но было бы преувеличением сказать, что его слава легла «на стекла вечности». За моими плечами истаивал шум, поднятый «Председателем», но фильм давно сошел и, кроме того, никогда не нравился начальству. Все мы были доярками-подменщицами. Можно найти более величественный образ. Когда в бою под Эслингом пал Ланн — едва ли не самый крупный наполеоновский маршал, это высшее воинское звание было присвоено Мармону, Макдональду и Груши. Армейские остряки шутили: это та мелочъ, на которую разменяли одного Ланна. Мы были той мелочью, на которую разменяли одного Симонова.

Ничего не попишешь, опера пошла со старым составом. Застолье скрашивали россыпь писательских вдов, какие-то юные приживалки и представительницы прессы в расцвете лет. Слава богу, лев не вызывал никаких сомнений. Правда, о нем как-то подзабыли в разбеге застолья.

А он и не претендовал на внимание. Стоило откинуться и глянуть за спины пирующих, в окне, между цветочными горшками, можно было углядеть желтое пятно, над которым мелькал желтый жгут с кистью. Чанг отмахивал хвостом слепней. «А ведь он, действительно, совершенно свободен, — мелькнуло испуганно, с какой-то темной замирающей надеждой. — Ничто не мешает ему прийти сюда и перепластать нас всех своей могучей лапой». И это будет справедливо, хотя мы собрались тут выбить для него паек, машину, добавочные квадратные метры и клочок морского берега. Но стоило бы посчитаться с нами за кино-съемки, телевидение, рекламу, за всю кутерьму вокруг печальной львиной тишины.

После того как мы выпили за Бабенышева с супругой, за Министра с супругой (у таких людей жен не бывает, только супруги), за Бедуиновых, за Хозяина и Хозяйку, настал черед выпить за здоровье Чанга. Это послужило переходом к главной части празднества — Урча начала свой рассказ о воспитанике семьи.

Наверное, она щедро черпала из своей книги, которую никто, кроме Хозяина, не читал, возможно, она это уже не раз рассказывала в раз-

ных аудиториях, но все равно артистически номер был выполнен на высшем уровне. В конце концов, все талантливые эстрадники, работающие в разговорном жанре, не являются импровизаторами, говорят чужой текст, что не мешает слушателям переживать, радоваться или печалиться, плакать или смеяться. Когда она говорила о том, каким жалким уродец уродился Чанг, в глазах ее заблестали слезы, и верю, что она вкладывала в свои слова истинное переживание. Когда она рассказывала, как мать-львица хотела его уничтожить и уже подняла над маленьким тельцем страшную лапу, слезы выкатились на побледневшие щеки. Послышался влажный всхлеб, звякнули сережки жены Министра, так резко наклонила она голову. Я посмотрел на жесткое, ограниченное эпохой и зловещей близостью к пику власти лицо ее мужа — глаза воспалены, хрящеватый нос странно дергается — он плачет.

Не оставалось сухих глаз за столом, но никто не плакал так истово, как Бабенышев: навзрыд, всем своим широченным размягшим лицом, по-крестьянски громко и открыто.

Мне вспомнилась история, случившаяся с ним недавно в Японии. Это был один из тех вояжей, которые по идее должны принести нам неслыханную промышленную выгоду, но неизменно кончаются пшиком по самым разным и непредсказуемым причинам. То мы вдруг разрываем договор (хладнокровно уплатив чудовищную неустойку), потому что премьер-министру страны-партнера нравится «Доктор Живаго» или он имел неосторожность принять израильского лидера. Странным образом эта политическая чувствительность сочетается с предельной терпимостью в отношениях с наиболее страшными режимами. Массовое истребление коммунистов в Ираке не повлияло на преданную дружбу нашу, мы единственная страна, оставшаяся до конца верной людоеду Амину, которому на ужин готовили членов его кабинета.

Во время протокольного братания с трудолюбивым японским народом (все народы трудолюбивы, все армии непобедимы) какой-то безумец-патриот пронзил грудь Бабенышева картонным мечом, выразив тем самым протест против аннексии Курильских островов. Со времен блоковского «Балаганчика» известно, что пронзенный картонным мечом исходит клюквенным соком. Но даже капельки алой не выступило на белейшей рубашке советского посланца, нанизанного на поддельный самурайский меч. В Японии распространился слух, что он робот и что роботы управляют гигантской страной, раскинувшейся от Атлантического до Тихого океана. И это, мол, многое объясняет в тайне внешней политики Советского Союза, в тупом и вредоносном нежелании сверхдержавы расстаться с несколькими незаконно присвоенными крупницами чужой земли.

Какая чушь! Разве бывают рыдающие роботы? Добрый, теплый русский человек, исполненный глубокого сострадания к малым мира сего. Да будь его воля, он бы давным-давно отдал япошкам Курилы.

— Ну вот, — прозвучали последние слова Урчи, — все горести остались позади. Чанг выздоровел, вырос, стал большим, красивым, добрым зверем. Нет, не зверем! — оборвала она себя почти гневно. — А членом нашей семьи.

— Членом всей нашей советской семьи, — поправил Хозяин дома.

— Все вы хорошо говорили, — утирая красные глаза, но сурово произнес Министр, — а под конец слицемерили. Не остались трудности позади. Неужели ваши жилищные условия достойны льва? А страшная повозка, в которой Чанг задыхается? А то, что он, обитая на море, не может окунуться после трудового дня? А с питанием у него все в порядке? Получает ли он достаточно белков и углеводов? Чанг выращен вами, честь вам и хвала, но он принадлежит державе и обществу.

Чета Бедуиновых повесила головы под градом справедливых упреков. Высокий гость перестал сочиться, а на широком круглом лице его появилось хитроватое выражение. Он понял, что это подступ к просьбам. Да нет, все было заранее обговорено, иначе он просто не поехал бы сюда. А хитроватый прищур — игра: он притворялся смесалистым мужичком, сразу почуявшим, откуда ветер дует. Потом в писательской среде будут долго пережевывать подробности и тонкости его поведения. И Бабенышеву не откажешь в артистизме. Судьбою Чанга распоряжались артистичные натуры.

Включилась еще одна артистка — Хозяйка дома с миловидным кукольным лицом и льняными волосами. Округлив васильковые глаза и смяв жалобной гримаской рот, она сказала каким-то древним гелосом:

— Давайте поклонимся в ножки нашему благодетелю и попросим всем миром за Чанга.

Она отвесила земной поклон Бабенышеву, коснувшись рукой пола.

— Какая женщина! — горячо дыхнул мне в ухо сидящий рядом Бедуинов.

— Советская власть не обеднеет, если поможет льву, — резко сказал Министр, последовательно ведя партию суровой, чуть зашоренной принципиальности.

— Надоть, надоть помочь львенку! — нарочито простонародным говором пропел Бабенышев и вдруг сменил тон. — Большое патристическое дело сделали вы для страны, товарищи Бедуиновы. Ваш эксперимент обогащает науку. И важно, что он поставлен именно у нас. Вопросы с жилплощадью, питанием, транспортом, оздоровительным мюционом подняты своевременно. Я попрошу Омара Стихивича, думаю, что он мне не откажет.

— Вам отказать! Кто может вам отказать? — вскричала Хозяйка, словно безотказность республиканских руководителей в отношении Бабенышева коренилась в его личном обаянии, а не в том, что он распоряжается всеми промышленными ресурсами.

Можно было не сомневаться: если даже Омар Стихивич — принципиальный противник выращивания одного отдельно взятого льва в условиях одной отдельно взятой семьи, он не откажет такому просителю, как Бабенышев.

Все захлопали, а Хозяйка кинулась к Бабенышеву и поцеловала его в лысину.

— Какая женщина! — вскричал Бедуинов и железной рукой, будто клешней, вбил мне в колено.

Застолье развалилось. Проблема с Чангом была решена, и у гостей оказалось много частных интересов, не имеющих отношения к главной

теме. Бедуинов обцеловывал руки Хозяйке якобы в порыве благодарности. Приживалки шушукались, хихикая. Фоторепортер перезаряжала «лейку» в мешке. Писательские вдовы пытались вовлечь в свой щебет номенклатурных дам. Бабенышев и Хозяин пошли проведать Чанга. Я потащился за ними.

По мере того как мы подходили к Чангу, шаги произвольно замедлялись. Лежащий посреди сада, на солнечной поляночке, лениво и холодно жмурящийся лев внушал трепет. Вдруг из его гривы с захлебистым лаем выскочил Рип. Лев будто лишь сейчас обнаружил наше присутствие и медленно повернул голову.

— Не разорвет? — спросил Бабенышев.

— Ну, что вы! — чуть фальшиво вскинулся Хозяин. — Чанг добрый, Чанг умница! — завел он льстивым голосом.

Бабенышев внимательно поглядел на него.

— Я не о Чанге.

— Ах, Рип!.. Замолчи, негодник!.. Иди к дяде на ручки!..

Рип твякнул на него персонально, презрительно отвернулся и лег между лап Чанга. Моторчик внутри него вырабатывал бесконечное «Х-р-р-р!»

Подошла фотокорреспондентка и стала общелкивать нас на фоне Чанга.

Завершился вечер, как полагается, танцами. Бабенышевы убыли, Министр с женой последовали их примеру, и все раскрепостились. Хозяйка поплыла в русской, а Бедуинов носился вокруг нее с фруктовым ножом в руке и хрипло кричал: «Асса!» Он казался себе джигитом.

Урча углубилась в разговор со смазливим администратором киногруппы, который уговаривал взять его в качестве помощника укротителя. Она смеялась русалочьим смехом. Появилось много непонятного народа. Откуда взялись все эти люди? На кухне их, что ли, держали до отъезда чистой публики? Тут были второстепенные киношники из съемочной группы, соседи, не допущенные к столу, просто уличные прохожие, посчитавшие явление льва началом эры вседозволенности. Новые гости вели себя очень раскованно, хватали со стола закуску, дохлебывали водку и вино. Хозяева не возражали. Одержанная победа располагала к благодушию.

Поддавшись общей бесшабашности, Урчата носились по саду, орали, пели, кочевряжились, а за ними с сердитым лаем едва поспевал Рип, которого их поведение явно шокировало.

И величаво, безучастный к человеческим радостям, человеческой корысти, игре бурных и тайных страстей, лежал в солнечном пятне Чанг. И вдруг по сердцу полоснуло: до чего же он беззащитен!..

Помните кинохронику: посещение Н. С. Хрущевым и Н. А. Булганиным английской королевы? Незабываемые кадры! Они были во фраках, при пластронах и в цилиндрах. Кошмар всей жизни Булганина — его дворянское происхождение. Статный по природе и воспитанию, он сутулился, гнулся в каких-то любезных до приниженности полупоклонах, ничего не помогало: порода брала свое. Не помогало и то, что по мере его возвышения социальное происхождение угодного Сталину аристократа неуклонно понижалось. Это можно проследить по энцик-

лопедиям и справочникам: сын железнодорожного инженера (на самом деле его отец принадлежал к начальствующему составу) превратился в выходца из рабочей семьи, с намеком, что он увидел свет в депо. Но все равно он оставался слишком отличным от окружающих его лапотных людей и тосковал. Его благообразное лицо было исполнено вечной грусти. И вот пришлось надеть фрак и цилиндр, и порода, неведомо для него самого, поперла наружу. Как шел цилиндр к его седым волосам и остроконечной бородке, как дивно обтягивал фрак аристократический костяк, как веяло благородством от каждого движения, жеста, поворота. И до чего же неправдоподобно смешон был рядом с ним Никита Сергеевич! Если напялить цилиндр на голую задницу, она не будет столь комична и нелепа, как блинообразная физиономия с оттопыренными и загнутыми полями цилиндра ушами. Остальной структурой Никита Сергеевич напоминал беременного пингвина. Видимо, ощущая свою неполноценность, Хрущев в беседе с английской королевой был поначалу непривычно суетлив и неуверен в себе. Это видно с экрана. А вот что рассказывали очевидцы высокой встречи. Поддавшись по обыкновению бесу словоблудия, Никита Сергеевич все время искал поддержки у своего элегантного и столь уместного во дворце спутника:

— Ваше Величество, — говорил Никита Сергеевич, прижимая руки к пластрону, — вот Николай Александрович не даст мне соврать.

— Почему он все время ссылался на этого красивого и молчаливого человека? — удивлялась после аудиенции королева. — Они что там у себя, врут на каждом шагу?

Так вот, я воспользуюсь ораторским приемом Никиты Сергеевича: жена не даст мне соврать, что перед уходом из гостеприимного дома я сказал:

— Это добром не кончится.

— Что ты имеешь в виду?

— Не знаю. Но сейчас завязывается что-то ужасное.

— Пить надо меньше, — сказала жена.

Но уже через два дня она вспомнила мои вещи слова. Позвонила Хозяйка дома, где мы гуляли, и сказала рыдая:

— Чанга убили.

...Для временного проживания семьи и льва студия сняла часть пустующей в летние каникулы школы на тихой зеленой улице, неподалеку от «Мосфильма». Льву отвели просторный физкультурный зал на первом этаже, семья разместилась в классах над ним. Это случилось во время обеда. Потрясение от триумфального вечера, великодушия Бабеньшева и дарованных благ не только не прошло, но вылилось в блаженную эйфорию, когда мир становится прекрасен и сказочен, а ночное небо — в алмазах. На обеде присутствовали вся семья и ближайšie друзья из киногруппы. Ждали Хозяйку. Бедуинов то и дело бегал звонить в учительскую. Хозяйка отделялась смутными обещаниями вырваться. Она не любила пьяных застолий, если они не служили великой цели, к тому же догадывалась о кавалерственных намерениях горца и не хотела их поощрять. Слушая хриплый взволнованный голос, она закатывала кукольные глаза и отвечала заманчиво-обещающим, таинственным голосом:

— Стараюсь, Джани, стараюсь...

Вешала трубку и тут же выбрасывала из головы настойчивого кавалера — до нового звонка. Она была неугомыма в служении мужу и семье, готова все сделать для Чанга, на чьих упругих ребрах держалось благополучие торгового дома, но не собиралась ради этого принимать ухаживания неистового джигита. Предчувствие беды не проникло в спокойно дышащую грудь. Что бы ей приехать!..

Бедуинов скрипел зубами, возвращался к столу, опустошал рог пенного вина, пел горскую песню о соколе, потерявшем подругу, и тут радость вновь охватывала его не иссушенную долгой унылой жизнью душу, он сажал дочь на закорки и скакал по классу, дразнил жену, продолжающую тихие переговоры со смазливим администратором, метящим во вторые укротители, и праздник звенел дальше.

О льве все забыли. Впервые с тех пор как маленькое желтое тело, завернутое в одеяло, оказалось в доме. Он всегда был тем центром, вокруг которого вращалась жизнь семьи. Но герои устали от вечного напряжения и устроили перекур.

Чанг лежал в физкультурном зале, дованивающем старой дезинфекцией, ножным потом и летней пылью. Зал был пуст, если не считать сваленных в углу пыльных матов, шведской стенки и коня с ободранной дерматиновой шкурой. Лев скучал, иногда чихал от пыли и не мог взять в толк, почему его все покинули, даже верный страж Рип. А бедняге Рипу сказочно повезло, впервые в жизни он получил сахарную косточку, и перед таким даром не устояло его преданное сердце. Жалким зубишкам не совладать было с крепким маслом, но даже притворяться, что ты грызешь, — что может быть упоительнее? И он мусолил, покусывал кость, скреб ее клычками, волтузил по полу, чуть все зубишки не обломал и был счастлив древним собачьим счастьем. И все же Рип вспомнил о Чанге, выбрался, спотыкаясь, с костью в коридор, чтоб не украли, и со всех ног помчался в физкультурный зал. Чанг лежал спокойно и глядел в окно. Рипа он даже не заметил. Тот вернулся к кости, из последних силенок втащил ее в класс — чувство признательности требовало расправляться с ней на глазах щедрых дарителей.

Чанг мог бы и сам навестить пирующих, но он не выносил запаха спиртного. По этой причине он несколько охладел к Урчам, ведь даже Урчатам давали пригубить сладкой хванчкары. К тому же он на дух не терпел киношников, даже если от них не пахло сивухой, что случалось редко. Они были слишком шумны и размашисты для сдержанного, воспитанного льва. Чанг предпочитал одиночество. Пустыня не возвращалась в эти первые тихие дни после отъезда из дома. Пространство зала источало сильные и недружественные запахи, немногочисленные предметы, находившиеся в нем, были чужды и непонятны.

Лев с усилием поднялся, перетерпел короткую боль в крестце, потянулся и подошел к окну.

То, что он увидел оттуда, заинтересовало его: через решетчатую ограду, окружающую школьный участок, перелезал парень в полосатой рубашке. Полосы были продольные — черные и белые; какой-то генетической памятью Чанг вспомнил зебру, которую никогда не видал, поскольку не посещал ни цирка, ни зоопарка. Полосатый визитер привлек

его некоей прародностью. Он мотнул головой и ненароком толкнул раму. Окно отворилось.

Парень спрыгнул на землю, присел, огляделся и затрусил по асфальтовой дорожке к диким яблоням, усеянным маленькими твердыми незрелыми яблочками. Чанг вскочил на подоконник и спрыгнул на землю. Никаких враждебных намерений у него не было. Им двигало любопытство. Познакомиться хотелось.

Но сперва познакомимся мы с этим новым антигероем, появившимся в нашем рассказе. Это был студент строительного института. Разумеется, комсомолец. Не москвич. Жил в общеаге. Сейчас находился на каникулах между сенокосом и жатвой. С пустым карманом — выпить не на что. А хорошо бы освежиться холодным пивком в жаркий московский летний день! Но с этим глухо, и он просто шел. Гулял. В голове не ютилось ни одной мысли, пустая емкость гудела. И вдруг он углядел сквозь решетку дикие яблони. Ему ужасно захотелось отведать яблочка. Он знал, что оно будет каменно-твердым и таким кислым, что сведет скулы. В деревенском детстве привык он отряхивать соседские яблони и портить желудок незрелыми плодами. Случалось, и дизентерией расплачивался за свои шалости, но ничто не могло остановить лакомку. Удовольствие от кражи, нарушения закона и уязвления ближнего распространялось на мерзкий продукт.

Он увидел зеленые яблочки, и сразу челюсти затеснило предчувствием кислоты, заурчало в желудке, готовом к отравлению, и пустой тяжелый котел на плечах полегчал — в нем образовывались какие-то связи, сцеплялись шестеренки зачаточного мышления.

Как все переменчиво! Шел дореволюционный студент по Москве и нес в себе целый мир. В мире этом рвались бомбы и опрокидывались кареты, залитые кровью сановных супостатов, взвивалось алое знамя над баррикадами, гремели выстрелы, позвякивали кандалы, пуржило над каторжной Владимиркой — дорогой в один конец, звучали «Варшавянка», «Гаудеамус» и «Быстры, как волны, дни нашей жизни», грешное, но милое создание усаживалось за швейную машинку, купленную вскладчину нищими благодетелями в потертых тужурках, Маркс спорил с Гегелем и клал его на лопатки, рвали душу большие строки умиряющего Надсона, Шаляпин гремел «Дубинушкой», Рахманинов взвизгивал «Весенними водами», и не перечислить всего, что тревожило, будоражило, терзало, воспаляло и поднимало на подвиг чистую, восторженную, наивную, глубокую и по-молодому глупую, но всегда героическую душу российского студента. А его сверстнику и коллеге эпохи зрелого социализма хотелось лишь наворовать кислых яблочек в школьном саду и вознестись орлом над унитазом с оторванной крышкой в страшной, как ад, уборной студенческого общежития.

Он приближался мелкой рысью к своей высокой цели, как вдруг ощутил по холодку в вороватых лопатках, что его преследуют. Он оглянулся, готовый увидеть дворничиху, сторожа-инвалида, дежурную учительницу, пионера, комсомольца, последнее было хуже, ибо грозило мордобитием, а студент, надорвавший в детстве организм бесчисленными расстройствами, не отличался ни отвагой, ни бранной силой. Итак, он оглянулся и увидел льва.

Он закричал, сперва тихо и тонко, потом душераздирающе и помчался по дорожке, оставляя за собой мокрый след. И Чанг прибавил ходу, перешел на мягкие скачки, радуясь неожиданной милой игре.

Тут на арене появляется новый персонаж — носитель рока. Судьбе было угодно, чтобы в эти минуты мимо школьного двора проходил младший лейтенант милицейской службы Глотов, о котором в участке, где он служил, существовало единое мнение: глуп до изумления. Как покажет будущее, сослуживцы глубоко заблуждались. За отсутствие ума они принимали обескураживающую неразвитость, глухое невежество. Кроме устава, приказов и вывесок, Глотов ничего не читал. В детские годы его обошли стороной даже те книги, которых не минует ни один «гомо советикус», вроде «Как закалялась сталь» или житийной литературы о Павлике Морозове. Необразованность, невежество ничуть не мешали его неспешному продвижению по службе, искупаемые с лихвой другими достоинствами: он был смирен, аккуратен, исполнительен и до обожания любил начальство. К тому же отличался в тире, его «макарка» бил без промаха. Он долго и трудно добирался до первого офицерского звания, но, получив его, засиял от счастья, как новый гривенник. Больше ему ничего не нужно было от жизни: только бы носить хорошо пригнанную и отутюженную форму, зеркально сверкающие сапоги, выполнять несложные служебные обязанности, по вечерам сидеть в компании за накрытым столом — в одной руке рюмка, другая под юбкой у соседки, а по выходным всаживать пулю в пулю на стрельбище. Жизнь была столь невообразимо прекрасна, что с простодушно-го лица его не сходила румяная белозубая улыбка, в которой проглядывало даже что-то ужасное, как в гримасе «человека, который смеется».

И вот этот счастливый, исполнительный и меткий милиционер увидел льва, преследующего парнишку в полосатой рубашке. Если б он читал, хотя бы просматривал газеты, то наверняка бы догадался, что перед ним знаменитый Чанг, ручной лев и киноактер. Редкий номер «Вечерки» выходил без материалов о Чанге, который сравнился в популярности с Юрием Гагариным. Шевелись извилины в его безмятежном мозгу, он смекнул бы, что по Москве не бегают дикие львы и тем более не выбирают для проживания закрытые школьные дворы. Короче говоря, будь у него зачаточное сознание, Чанг остался бы в живых. Но этот милиционер по уровню развития и осведомленности был равен яблочному студенту и, не задумываясь, выполнил свой долг.

Первая пуля попала Чангу в задний проход и пронизала насквозь мягкие ткани, пробив кишечник, желудок, пищевод, уже на излете вышибла слабые зубы и упала с разорванной губы. То не был мгновенно убивающий выстрел, и Чанг, будто нанизанный на раскаленный шампур, испытал вместе с невыносимой болью изумление, обиду и унижение. Он не знал такого обращения даже в последнее плохое время, за что, за что с ним так?.. Чувствуя, что весь наполняется горячей жидкостью, Чанг обернулся к обидчику, и вторая пуля вошла ему в ухо, разрушив мозг. И тут вернулась пустыня, и чье-то гибкое тело цвета песка метнулось к нему — не опасностью, а спасением. «Мама!» — успел сказать Чанг.

Пирующие услышали выстрелы, но не встревожились, принадлежа инерции праздника. Потом смутное беспокойство толкнуло Урчонка к окну. Он посмотрел вниз, вдаль, налево, словно подчиняясь тайному запрету не смотреть туда, где на асфальтовой дорожке лежал труп Чанга. Но прежде чем отойти от окна, все-таки посмотрел направо.

Они прибежали к убитому льву, не веря в окончательность несчастья, которое невозможно было вставить в душу, еще наполненную радостью и торжеством. Натура человека пластична, но не до такой степени. Налитые коньяком и сухим вином, набитые шашлыками, курятиной в ореховом соусе, луком и фасолью, осоловелые, все еще во власти надежд и проснувшейся жажды греха, в готовности к неизведанным наслаждениям, они не могли поверить, что вифлеемская звезда погасла, едва загоревшись, и не будет чуда, искупления и новой веры, и они отброшены назад, во тьму и рабство духа. На асфальте были кровь и желтые брызги мозга, но безусловные, грубые приметы смерти не убеждали в ее окончательности. Казалось, все еще поправимо, надо только очень постараться. Лишь Урчонк зашелся в страшном заикающемся плаче-крике.

А Рип, тряся грязными кудрями, облаял Чанга, последними словами обложил, что тот вздумал так отвратительно притворяться, даже хотел укусить за лапу. И тут правда вошла запахом смерти в его кожаный нос. Он заскулил, упал на брюшко, пополз к Чангу, задние ножки его волочились, как перебитые, добрался до морды, лизнул, дернулся и умер.

Это была первая, но не последняя смерть, вызванная кончиной Чанга.

Непосредственный виновник происшедшего дурак-студент уголовной ответственности не подлежал. Но боясь, как бы ему не начали клеить дело — лев небось громаднейших денег стоит, — он предпочел смыться. Конечно, его быстро отыскали и впаяли пятнадцать суток за хулиганство, предварительно набив морду в отделении. А меткий стрелок не думал бежать, поскольку действовал по уставу и рассчитывал если не на материальную, то на моральную награду. К тому же надо было составить акт. Из этого ничего не вышло. Обезумевшие люди сорвали с него фуражку, плевали новенький, с иголочки мундир, а мальчишка укусил за ногу, порвав клычком хромовую кожу сапога.

Но эти потери оказались чепухой по сравнению с тем, что его ждало в отделении. Начальник, пожилой, усталый подполковник с седой головой, в отличие от своего подчиненного, газеты читал, знал о радении вокруг одомашненного льва и даже слышал краем уха, что царю зверей цари человеческие оказали высокое покровительство. Он хорошо представлял себе тяжелые последствия метких выстрелов. Затронуты интересы писателей, киношников, телевизионщиков, журналистов, самой кляузной публики. Его старая мудрая бабка говорила: «Не трожь дерьма, оно завоняет». Если же насчет мецената правда, то дело и вовсе дрянь. Младшего лейтенанта разжалуют — так ему и надо, его начальнику тоже не сносить головы, но пятно ляжет на всю милицию, на министерство, от этой мысли слабел мочевого пузырь. Подполковник высказал полумертвому от ужаса Глстову все, что он о нем думает:

— Где ты живешь, дубье стоеросовое, кретин-гигант, что ты не слышал об этом льве? Все газеты трезвонят, радио орет. Хорошо, если тебя, гниду, просто разжалуют. Я буду стараться, чтобы впаили срок. Стрелять любишь, а твоя политическая подготовка где, гад-позорник?.. Сдай оружие и пошел вон. Чтоб до суда я о тебе не слышал.

Как ни был раздавлен Глотов, все же осмелился пробормотать:
— Лев за человеком гнался. Нешто можно не стрелять?

— А тебе непременно «стрелить» надо?.. Вот и стрелял бы в студента.

— К-а-к?..

— Студентов хоть завались, а лев один...

На другое утро подполковнику приказано было явиться к министру. «Началось!» — сказал себе старый служака и поник седой головой. Он понимал — оправданий нет. Ты вырастил идиота, опасного для общества, теперь расплачивайся. Чего ждать? Отставки? Понижения в должности? Разжалования? Или просто зашлют, куда Макара телят не гонял? А с чего ты взял, что министр будет утруждать себя выбором? Тебя и понизят в должности, и разжалуют в майоры или капитаны, и пошлют к черту на рога. Правда, многое зависит от того, в каком настроении встал Щелоков, хорошо ли опохмелился, не получил ли вздрючку от жены. Предсказать ничего нельзя, но готовиться надо к худшему.

За свою долгую и не слишком счастливую службу в милиции — застрял в районном отделении, двадцать лет подполковник — старый служака приучился к смирению. Но когда его машина сворачивала на улицу Огарева, он не удержал горестного всхлеба. Подумать только: да мыслимый ли случай в нашей стране, чтобы на улице стреляли львов? Это войдет в историю мировых курьезов. И обязательно надо, чтобы новоявленный Тартарен, помоечный Хемингуэй, оказался его подчиненным. Уму непостижимо!..

Он впервые переступал порог министерского кабинета, но трепета не испытывал, потому что поставил на себе крест. Высоченные потолки, высокие полузашторенные окна, гигантский стол для совещаний, внушительный старинный, на львиных лапах (дурная примета!) письменный стол, кресло с резной прямой спинкой, за креслом опять же огромный портрет Ленина кисти Ильи Глазунова. Подполковник узнал автора не потому, что был знатоком живописи, впрочем, и портрет не имел к ней никакого отношения, он присутствовал в клубе МВД на выпускном вечере милицейской Академии, когда Глазунов передал Щелокову свое творение. Художник стоял на сцене рядом с министром, вытянувшись по стойке «смирно», задрвав подбородок, демонстрируя всем обликом отобилизованную бдительность и готовность к подвигам во имя правопорядка.

Между портретом и письменным столом сидел невидный статью, с жеваным лицом и живыми глазами человек в генеральской форме. Его лицо было лишено классовой, сословной и профессиональной принадлежности. Обычно смотришь на человека и видишь: из крестьян, из рабочих, из интеллигентов, технарь, художник, врач, военный. По внешности министр был ближе всего к сильно защищающему

жэковскому слесарю-калымщику, нечто вполне деклассированное, лишнее всяких корней.

Подполковник представился по форме, даже шелкнул каблуками. Министр не отозвался, не кивнул, не предложил сесть. Его левое ухо было заткнуто черной кнопкой, от которой бежал шнур, исчезая в чуть выдвинутом ящике стола. С минуту длилось молчание, потом Щелоков подвинулся к столу и сказал кому-то незримо:

— Спасибо, Слава. Ты меня духовно поддержал. Как его звать? Сен... Сен-Санс? Понятно. Будь здоров. Не кашляй. Галочке привет.

Щелоков вынул кнопку из уха и кинул ее в стол. Задвинул ящик. На подполковника уставились маленькие едучие глаза в красном обмете.

— Для вас, значит, законов не существует? — сказал он ерническим тоном. — Открытие охоты через три недели.

Так. Моральная пытка началась. Наверное, следовало оценить перл министерского остроумия, но улыбки не получилось. Подполковник вздохнул.

— Что с этим оглоедом?

— Отобрал оружие. А там как суд решит.

— Значит, судить будем? И вся печать раззвонит, какие в милиции некультурные, глупые и жестокие люди? Ни за что ни про что убили беззащитного ручного львенка! Эх, вы!.. Парень — снайпер, ворошиловский стрелок. Меток глаз, тверда рука. Быстрота и решительность. И гуманизм. Спас человеческую жизнь. Вот на таких должны мы равняться. Подписан приказ о награждении старшего лейтенанта Глотова воинской медалью «За отвагу». Завтра сам буду вручать. Приглашены телевидение и пресса. Понял? А тебе спасибо, что вырастил такой кадр.

— Служу Советскому Союзу! — пробормотал в полусознании воспитатель.

На прощание министр поднес ему стопку марочного коньяка и посоветовал:

— Выпиши этому стрелку «Вечернюю Москву». И сам проверяй — читает ли. Это дело мы погасили. Но коли он и дальше будет так палить, хлопот не оберешься. К нам черномазые повадились. Глядишь, он президента или премьера дружественной державы за гориллу примет. Мировой скандал.

Существует анекдот — из черного юмора — про одного молодого солдата, который стоял на часах, когда к нему приехала мать из деревни. Он предупредил ее, чтобы та не подходила, раз он при исполнении служебных. А она слышать не хотела, ей бы сыночка обнять. Он раз предупредил, два, а на третий выполнил свой боевой долг — уложил старушку. А потом, стоя опять на часах и любовно оглаживая рукавом орден, думал мечтательно: скоро батя приедет.

С Гловатым все было по-другому. Он, конечно, радовался медали, любовно натирал тальком, драил. Сфотографировался с ней. Приобрел ленточку серую с полосками и прикрепил к будничному кителю. Но не стремился к повторению подвига. Он читал «Вечернюю Москву» от передовицы, где остро ставилась проблема дворников, до

сообщения в черной рамке о том, что «смерть вырвала...» Он долго, по отсутствию навыка, читал «смерть вырвало». Подполковник поначалу, что ни день, гонял его по всем четырем полосам, а потом бросил, поняв, что парень не просто приохотился к чтению, а прямо-таки жить не может без правдивого вечернего слова самого популярного печатного органа столицы.

Для Глотова открылись новые миры, он никогда не предполагал, что жизнь так захватывающе интересна и богата. Сколько в ней событий, происшествий, зрелищ, необыкновенных людей, сколько каждый день новых покойников. Оказывается, живешь изо дня в день: служба, стрельбы, посидухи, горячее потное женское тело под ладонью, а люди в это время умирают от тяжелых продолжительных болезней, от аварий, катастроф, скоропостижно и преждевременно, и скорбят жена, дети, родители, близкие друзья и несколько загадочная группа товарищей. А оставшиеся в живых играют в футбол, гордки и другие игры, лазают по горам, переплывают океан на шепке, одерживают победы в конкурсах пианистов, скрипачей и певцов, дуются в шахматы и шашки, берут обязательства, борются за звание лучшего, целыми производственными бригадами, лестничными площадками, прилавками подступают к коммунизму, а Израиль тем временем собирается уничтожить арабский мир и все прогрессивное человечество. Последнее стало не на шутку тревожить Глотова. Он попытался отыскать на карте грозного агрессора и не сумел. Страна оказалась тайной, она спряталась, как сыпно-тифозная вошь в бельевых швах, в складах мироздания.

У него обнаружили качества, о которых никто не подозревал, а менее всех он сам: усидчивость, цепкая механическая память — с двух-трех прочтений запоминал номер газеты от корки до корки, железная воля к постижению. Он стал удивлять, а там и утомлять сослуживцев осведомленностью в самых неожиданных и никому не нужных обстоятельствах жизни: мог сообщить, сколько в Москве цветочных магазинов, где находится в столице Угольная площадь, как долго живет муха цеце, зачем казуару нарост на клюве.

Через полгода прилежному Гловову разрешили перейти на «Московскую правду», а еще через полгода допустили к «Известиям», «Молодому коммунисту» и шестнадцатой полосе «Литературной газеты» — для веселья. А вскоре Гловов ошарашил своего наставника намерением поступить на вечернее отделение Юридического института. Даже при всей прилежности, блестящей памяти, терпении Гловов не осилил бы высшего образования, но истребителю львов пошли навстречу: он получил диплом. Академия МВД далась ему значительно легче, а там — аспирантура и кандидатская. Защита диссертации «Отстрел хищников в условиях мегаполиса» вылилась в триумф, ему присвоили через ступень звание доктора юридических наук. Ныне профессор, заведующий кафедрой, неоспоримый авторитет в вопросах уголовного права, полковник Гловов — желанный гость на страницах крупнейших центральных газет, будущий член-корреспондент и академик.

Вот чем обернулся меткий выстрел — гибель льва подарила отечественной науке новый светлый ум. Не знаю, что важнее для

мироздания — лев или милицейский ученый. Хорошо, конечно, когда есть и то, и другое, но если уж выбирать, я предпочитаю льва, мне кажется, он важнее в биологической структуре бытия.

В данном случае рождение ученого было оплачено не только гибелью льва и преданной ему собачонки, но и другими безвинными жизнями — об этом дальше, а также приметной утратой нравственного чувства в обществе.

У нас нет статистики. То есть она есть, но ее нет. А будь она, мы располагали бы ошеломляющими данными о том, как резко пошла вверх кривая преступлений против животных, после того как убийство Чанга возвели в подвиг, а подвиг разрекламировали средствами массовой дезинформации. Вскоре после этого газеты запестрили сообщениями о фактах детской жестокости: поджигали крыс во дворах, ловили кошек на удочку, используя для наживки кусочек сала, ломали собакам хребты стальными трубами, украли где-то павлина и общипали живьем догола. Особенно страшные случаи открылись мне, когда я познакомился с той негласной статистикой, которую вели друзья домашних животных, позднее объединившиеся в общество по их защите. Приведу лишь один пример. В Подмосковье тринадцати-четырнадцатилетние шалуны зашили лошади рот. Когда обезумевшее от боли, голода и непонятности случившегося животное наконец поймали, это был скелет с оскаленными зубами, обтянутый лысой шкурой.

Подвиг милиционера потряс юные, не воспитанные в Боге и милосердии души наследников Павлика Морозова. Им захотелось такого же героического, невероятного, кровавого, победного. Но львы редки в Москве да и во всех остальных городах и селениях нашей непостижимой родины. Детишки принялись геройствовать — зверствовать над тем, что под рукой, — над малыми и беззащитными. Тем более что крыса, мечущаяся факелом по двору, — впечатляющее зрелище, лошадь с зашитым ртом — подавно, а как уморительны изломы перебитых крыльев двух черных лебедей на глади Чистых прудов!

Зло всегда сеет зло, меткий выстрел будущего ученого породил много зла. Сейчас скажу о самом страшном.

И снова мне придется сослаться на жену, как ссылался в Букингемском дворце на своего благородного меланхоличного спутника распоясавшийся перед королевой донецкий говорун. Жена не даст мне соврать — я предвидел судьбу Бедуиновых. Конечно, не в подробностях — так далеко не заходит в жестокости мое воображение, но неизбежностью окончательной беды.

Нам принесли фотографии Чанга: и последние, с нашим участием, и сделанные раньше, без нас. На одной из них голые Урчата бежали вместе с Чангом по полю, деля на троих самозабвенную радость.

— Бедный Чанг, бедные дети, бедные люди! — вздохнула над фотографией моя жена.

— Это еще не конец, — неожиданно для самого себя сказал я.

— Что ты каркаешь?

В голосе прозвучала не свойственная моей жене резкость — я подтолкнул ее мысли к чему-то, о чем ей не хотелось думать.

— Она не угомонились.

— Кто?

— Силы рока, — сказал я дурашливо, не желая и боясь продолжения разговора, который сам же спровоцировал.

На другой день нам предложили стать пайщиками нового льва, которого хотят приобрести вскладчину для Бедуиновых. Вне зависимости от предчувствий мне этот жест не понравился. Тут не было ни доброты и наивности доморощенного эксперимента, ни порывистости того первого, почти безумного поступка. Надо было заполнить новым львом обещанную жилплощадь, рафик и кусок берега. Льва требовали и ненасытный киноэкран, и ящик Пандоры.

— Можно иначе отнестись к этому, — сказала жена. — Ты представляешь, какая пустота образовалась в жизни всех этих людей — и больших, и маленьких? Кошка старая умирает, и то в доме дыра, а тут ушло такое могучее, странное, прекрасное существо, поглощавшее столько чувств, забот, беспокойств, доброты. Психологически их нельзя не понять.

Наверное, это было справедливо и высоко, но я знал про себя что-то ужасное, безобразное, и слова жены меня не тронули.

И все же мы вступили в обладание частицей льва, еще не обретенного, но уже заложенного в ячейку будущего семьи Бедуиновых, льва, которому жить с людьми, принять их правила, характеры, привычки, вписаться в чужой, противный всей сущности дикого зверя обиход.

У Карела Чапека в «Рассказах из обоих карманов» есть новелла о человеке, случайно узнавшем, что будет совершено преступление, скорее всего, убийство. Но доказательств у него нет, к тому же дело происходит в чужезычной стране, и никто его не понимает. Он бессилён воспрепятствовать злу. Я тоже вдруг заговорил на языке, который никто не понимал, даже самые близкие люди. На мое «добром не кончится» никто не попытался помочь мне яснее выразить свою тревогу, задуматься вместе со мной и, может быть, предотвратить неминуемое. Любопытная описка: «неминуемое» нельзя предотвратить, но это слово пришло из подсознания, как все описки, оговорки, стало быть, выражает истинную суть. Выходит, я знал, что ничего нельзя было сделать.

Новый лев был приобретен. Не помню подробностей, да они и не важны. К этому времени скончался Бедуинов, человек далеко не старый. Отчего он умер? Разве это важно? От инфаркта, от рака. Все эти медицинские названия лишь псевдонимы смерти, которая не любит открывать своих тайн. О человеке до сих пор ничего не известно. Все усилия мирового ума, все золото и бриллианты тратятся на то, как быстрее и вернее покончить с затерявшимся во Вселенной островком, где сотворилось чудо сознания. На остальное нет ни времени, ни средств.

Бедуинов умер, потому что не стало Чанга. В слово «Чанг» в данном случае вкладывается меньше всего от самого льва, Бе-

дуинов относился к нему, живому, довольно хладнокровно, хотя, разумеется, чтил. Но с уходом Чанга оборвалось то великое застолье, о котором он грезил всю жизнь, тот пир, где так полно раскрывалась его душа всем лучшим и самым ярким, что в ней заложено: страстностью, влюбчивостью, безудержностью, способностью к воспарению. Оборвалось грубо и беспощадно, вульгарно и подло: его словно выхватили из-за стола, когда он говорил тост, подняв золотой кубок с пенным вином, и швырнули лицом в кровавую грязь. Новый лев его не вдохновлял. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя дважды усаживаться за один и тот же пир. А другого пира быть не может, поперек всего мироздания лег Чанг, простреленный сквозь зад и ухо. На крови строят храмы, на крови не расстилают скатертей. Все стало ненужным, прошлое обрезано, в настоящем и будущем пустота. Жить не для чего. И он перестал жить.

Его смерть не была трагедией для семьи. Оплакали пристойно, погоревали, опрятно похоронили и помянули добрым словом. Тем более что новый, хотя и не состоявшийся пока укротитель заполнил образовавшуюся щель. Потом навалились заботы: привести в дом льва, устроить, наладить с ним отношения. Вскоре к льву присоединили пантеру.

Последнее кажется невероятным. У меня на даче одно время оказались вместе борзая — сука и карликовая такса-кобелек — Дара и Кузик. Нам казалось, что мизерность кавалера перед рослой дамой, к тому же почтенный его возраст гарантируют Дару от матримонильных посягательств. Какой там! Старый малыш чуть не разнес дом, когда сука запустовала, потом его скрючило в вопросительный знак, а Дара выла на всю округу. Пришлось срочно везти Кузика в Москву и держать там, пока опасный период не минует.

На что рассчитывала Урча с ее новым советником? А ни на что. О нем забудем, он бездействующее лицо. А Урча и ее дети — они тоже участвовали, бедняжки, своей тоской, нервностью, неприкаянностью, потерянностью в ее решении — слепо выполнили предначертания рока.

Едва ли можно сейчас реставрировать то, что происходило в душах этих обреченных. Ведь так очевидно то, чего нельзя было делать, а делалось на глазах десятков, сотен людей, да что там — на глазах всего города, всей страны. Никто пальцем не шевельнул, чтобы остановить смертельный номер без страхующих средств. Конечно, подобное могло случиться только у нас, ибо нигде в мире нет такой безответственности, наплевательства на собственную и чужую жизнь и, добавлю, такого незнания простейших законов природы. Как бдительны мы к нарушению мелких административных правил, — попробуйте поселить у себя брата или сестру без прописки, старую тетку из провинции, да с вас шкуру спустят, но «уплотнить» льва пантерой — сколько угодно. Достаточно знать, что «наверху» не возражают.

И не могу я винить ту, которая всех виноватей, — Урчу, она не могла иначе. Опустевшее после Чанга пространство (не только

физическое, но и моральное) было так велико, что его не заполнить другим львом. Требовалось нечто большее. Кроме того, Чанга вырастили в условиях куда худших, зачем же повторять опыт в облегченном варианте? Это не даст навара, никого не поразит, не взволнует. И куда новому льву тягаться с Чангом — всенародным любимцем? Но выйти на сцену с двумя прирученными хищниками — так можно опять «привлечь любовь пространства, услышать будущего зов».

Времени на эксперимент, как оказалось, было отпущено ровно столько, чтобы хищники подросли и пантера запустовала.

Она забралась на шкаф и рычала, обнажая красную пасть, более свирепую, чем у льва, тигра или леопарда. А лев ходил по комнате из угла в угол, задевая стулья, что-то роняя, опрокидывая, на поворотах разевая пасть, с которой текла тягучая слюна. Порой из его утробы вырывался задушенный хрип. Урча и Урчонок пытались его вразумить, говорили успокоительные, ласковые слова, он не поддавался на добро. Они принялись укорять его: Урча — не повышая голоса, Урчонок — он же был мужчина — покрикивая.

Лев не обращал на них внимания, возбуждение его все усиливалось. Но мать и сын настолько привыкли к покорности своих четвероногих сожителей, что не испытывали тревоги.

Лев сменил курс, стал ходить не по диагонали, а от двери к шкафу, на котором лежала пантера. Поворачиваясь, он толкал шкаф плечом, пантера рычала, срываясь на визг. Льва пронизывала тугая дрожь.

— Прекрати! — крикнул Урчонок. — На место!

Лев угрюмо посмотрел на него, подошел к шкафу и стал тереться боком. Шкаф закачался. Пантера приподнялась, выгнула спину и низко-низко, из чрева, зарычала. Казалось, она сейчас прыгнет.

— Пошел вон! — Урчонок кинулся к льву и вцепился в гриву. Лев потрянул головой, Урчонок упал на пол, громадная лапа опустилась ему на спину и переломила хребет, как сухую тростинку. Урча страшно закричала и бросилась к своему переломленному надвое детенышу. Львиные когти вцепились ей в волосы и рывком сняли скальп. Она рухнула рядом с сыном — окровавленным черепом на его сломанную спинку.

Девочка уцелела (физически), она играла в классы во дворе.

Так закончился этот единственный в своем роде эксперимент, проведенный с чисто русской бесшабашностью и советским алчным азартом. Мог ли быть другой конец? По-моему, нет. Чанг был обречен, в нем перестали видеть льва, а он им оставался — и для себя самого, и для окружающих. Стало быть, рано или поздно должен был возникнуть Глотов — человек с пистолетом. А коли так, неизбежно было появление нового льва в зоне повышенной опасности и пониженного инстинкта самосохранения.

И на Западе с дикими животными играют в опасные игры, видимо, того требует неизбежное стремление человека познать бессловесный мир, который куда старше заговорившего мира, загля-

нуть в тайное тайных природы и тем приблизиться к собственной омороченной сути, только делается это совсем иначе: на основе знаний, расчетов, с привлечением науки, специалистов, что сводит риск к минимуму. К тому же эксперимент проводится в щедрых природных условиях, а не в коммунальной квартире. Зверь обеспечивается всем необходимым: от питания до лекарств и квалифицированного ухода, он не живет за счет старых большевиков и подачек власть имущих.

Мы обречены на кустарщину и убожество во всем, чем бы мы ни занимались. Так что же, нам лучше не соваться? А ведь и на Западе иные люди, которым в отличие от нас есть что терять: прекрасно обеспеченные, кормленные, хорошо промытые, разодетые, веселые от избытка благ, пускаются через океан в ореховой скорлупке, лезут на смертельно опасные десятитысячники, задыхаются в извилистых ходах пещер, летают чуть ли не на помеле над ущельями, прыгают с высоченных скал в лучину, одолевают впасть реки, кишащие крокодилами и пираньями, и все это не корысти и славы ради — об их подвигах зачастую никто не знает, а и знает, это не приносит ни денег, ни наград, ни почестей, ни даже долгой известности. Отважный, самоотверженный мореходец Бомбар после своих невероятных подвигов, всеми забытый и брошенный, пытался покончить самоубийством. Нет, жизнь ставится на карту в неистребимой жажде познания и самопознания, в стремлении утвердить человеческое в человеке. Бескорыстием подвига искупается привилегия быть человеком на Земле.

В этом ряду стоит поступок Бедуиновых, взявшихся вырастить льва в таких условиях, в каких, по западным меркам, и самому-то непросто выжить. И потому слава им, они оплатили собственной кровью деяние мужества и доброты.

К сожалению, есть и другое, коренящееся в нашем бедственном существовании, в слепом желании урвать свой ошметок счастья. И нищие Бедуиновы не устояли перед соблазнами мира сего. Но кто осмелится кинуть в них камень?

Лишь милицейский фрейшютц вышел из этой истории с прибылью. Помните сказку о храбром портняжке, который уложил семерых одним махом? Но то были мухи, а тут люди и звери. Дорогой ценой оплачен научный взлет. Впрочем, сам ученый не виноват, он-то хотел как лучше.

Не нам судить Бедуиновых. Да не избудутся рискующие и гибнущие люди. Без них не выжить человечеству.

А льва жалко.

О Михаиле Матусовском

В молодые годы — здоровяк, жизнелюб, Кола Брюньон из Луганска. Душа дружеских собеседований и демон студенческо-аспирантских застолий. Это было задолго до войны, в МИФЛИ (редкой устойчивости аббревиатура — Московский институт истории, философии и литературы), где мы и познакомились. Матусовский увлеченно и настойчиво изучал древнерусскую литературу у Н. К. Гудзия, наизусть читал огромные куски из летописей, был знатоком иконописных школ и даже второстепенных мастеров называл поименно.

Он был фанатически влюблен в поэзию, из всех его карманов вытарчивали книги разных авторов, стихи читал по-южному медлительно и нараспев. Мандельштамовские строки «Золотистого меда струя из бутылки стекла» или «Золотое руно, где же ты, золотое руно» запомнились мне именно в чтении Матусовского.

Шли годы, шла жизнь, резко прерванная войной, которую Михаил Львович прошел с достоинством и честью. Выходили книги. Песни обретали широкое звучание в стране и за ее пределами. «Подмосковные вечера» пели школьники и президенты, песня стала символом, позывными. С прибавлением годов прибавлялись и болезни, понадобились серьезные операции. Матусовский проявил терпение и мужество.

Но пришла болезнь, которую условно можно назвать «горечь» — по названию последней книги поэта. Эта болезнь оказалась неизлечимой, как рак. Человек маялся оттого, что «за годы словоблудия наказан мучительной болезнью немоты». Он, надрываясь, вопрошал больным сердцем: «Как мы дошли до Сумгаита?», «Как мне в лица прохожих смотреть?»...

Что должно было произойти в мире, в обществе, в душе человека, чтобы этот жизнелюб из жизнелюбов усох от горечи, поник от отчаянья, заболел от обиды не за себя — за рваные раны Карабаха, за беженцев мирного времени. Совесть поэта вспалилась, как никогда прежде. Ему не хватало воздуха, без которого первыми всегда умирают поэты. Остались стихи. Они здесь. В них чувствуется, как поэт иссохшими от горечи губами хватал уходящий воздух жизни. Его нельзя было средствами медицины, никакими средствами спасти. И поэзия это запечатлела.

Лев ОЗЕРОВ

Михаил МАТУСОВСКИЙ

Горечь

(Из книги, посмертно выходящей
в издательстве «Советский пи-
сатель»)

* * *

Под прямым и косым прицелом,
Настигавшим у всех дорог,
Пал под городом он под Белым,
Где и я бы остаться мог.

Но молчат о немobeliski,
Все архивы о нем молчат.

От него, составляя списки,
Отступился военкомат.

Как свидетелям сохраниться,
Если дням потерялся счет?
Снег заносит его глазницы,
Дождик кости его сечет.

Где последний приют солдата?
Кто поплачет над ним навзрыд?
Ведь считали же мы когда-то,
Что никто у нас не забыт.

Чтобы правду на солнце вынести,
Тут нужны, почитай, года.
Но свершается справедливость
Лучше поздно, чем никогда.

Не погибшие в схватках бранных,
В душегубках или печах,
Легкий гроб его ветераны
На согбенных несут плечах.

Навзничь пав на земле ничейной,
Он не дожил до всех побед.
И грохочет салют ружейный
С опозданием на сорок лет.

* * *

Вяч. Кондратьеву

Клочья тряпок, провода,
Чей-то танк и чья-то хата,
Даже воздух и вода —
Было всё огнем объято.

И меня сквозь этот ад,
Где пригорки были шатки,
Санитары в медсанбат
Волокли на плащ-палатке.

Перебежка в три шага
Здесь, как жизнь, была опасной.
Кровь лилась из сапога
И была, представьте, красной.

И когда горячий вал
Жаром обдавал кюветы, —
Никого не волновал
Пятый пункт моей анкеты.

1990 г.

Лене

Кунцевских вязов тенистое чудо,
Темный погост, отходящий ко сну.
Я бы давно уж уехал отсюда,
Только вот как тебя брошу одну?

Кто тебя съест среди этих тропинок
В пору весенне-осенних забот?
Кто здесь посадит луганский барвинок,
Листья опавшие кто обметет?

Если вдруг лето окажется жарким,
Кто этим веткам обрежет вихры?
Кто сюда явится с детским подарком —
Маленьким яблоком с Красной Пахры?

Если придется скитаться безвестно,
Если лишат меня прав на жилье,
Буду я помнить, что есть еще место
Там, где покоится сердце мое.

1990 г.

* * *

Этот страх угодившего в клеть,
Это чувство вины или долга
Остается недолго терпеть,
Остается терпеть уж недолго.

* * *

Бесконечен перечень обид,
И из них любая на примете.
Мне вчера в метро сказали: «Жид» —
Будто мы в Берлине в тридцать третьем..

Перестаньте лживый делать вид,
Если вам по вкусу штучки эти.
Не «еврей», не «иудей», а «жид» —
Так и запишите в партбилете.

1990 г.

* * *

Ты был благоразумен и здоров
И жил по-стариковски осторожно,
И ты привык честить редакторов,
Рубавших, что им попадет, безбожно.

И множество рогатин и преград
Ты миновал с расчетливостью ловкой,
Ты был, как тот воздушный акробат,
Работавший с надежной подстраховкой.

Не смея думать об иной судьбе,
Ты робок был пред собственной тенью,
И цензор, поселившийся в тебе,
Все подвергал то правке, то сомнению.

Утративший понятие: свет и мрак,
Привыкший к вечной сырости темницы,
Теперь ты нем и сам не знаешь, как
Свободой своей распорядиться.

Опасные игры

Я все тебе обязан высказать
Безоговорочно и резко,
Юнец со свастикой фашистской,
Мне повстречавшийся на Невском.

Каким-то чудом трансформирован,
Крещен паучьей тенью знака,
Ты из какой пучины вынырнул,
Ты из какого выполз мрака?

С какими мерзкими отбросами
Ты поднялся из грязных скважин?
Какими был компрачикосами,
Как Гуимплен, обезображен?

Ты руку выбросил в приветствии,
Как гитлерюгенд на параде.
Откуда белокурый бестия
Возник в блокадном Ленинграде?

Как ты попал в пределы города,
Где сила воли непреклонна,
Где Ольга, слабая от голода,
Не оставляла микрофона;

Где площади оркестру вторили,
Где все в рубцах мосты и зданья;
Где что ни угол, то История,
Где что ни камень, то страданье.

Нет, мне сейчас не до иронии.
Пора признаться, в самом деле:
Мы что-то с вами проворонили,
Чего-то мы недоглядели...

Мерцает свет на Медном Всаднике.
Он взвил коня, содвинув брови.
В такую ночь не спят блокадники
Под Охтой и на Пискареве.

В верховном суде. Октябрь 88

Хоть войны не забыта страда,
Кровь на рваных бинтах не забыта,
В много видевшем зале суда
Обожгла меня боль Сумгаита.

Я в разграбленном чьем-то жилье,
На груди моей камень пудовый.
И сидят на передней скамье
Облаченные в черное вдовы.

Мне забыть бы, забыть бы скорей
Этот ад со своими кругами:
И проломы дощатых дверей,
И стenanье стекла под ногами.

Мне забыть бы, забыть бы скорей
Этот чад, что ползет по низинам,
И костры из горящих людей,
Торопливо политых бензином.

Разве можно забыть этот страх
И подробности всех преступлений!
Даже клочья дешевых рубах,
Обнаживших девичьи колени.

Груды детских игрушек и книг,
Все пропахшие горем и дымом.
И под взглядами женщин седых
Очень страшно вставать подсудимым.

Как юстицией заведено,
Говорит прокурор и защита...
И меня лишь тревожит одно:
Как мы дожили до Сумгаита?

* * *

Как мне жить, хоть теперь не лукавя,
Как мне в лица прохожих смотреть?
И на смерть не имею я права,
Так как проще всего умереть.

Беженцы

Терявшие дитя иль мать,
Средь скарба брошенного стоя,

Они одно могли понять —
Что только жизнь чего-то стоит.

Вот в угли превращенный дом,
Лишь ребер черные стропила.
И я ловлю себя на том,
Что это все со мною было.

Хоть вязь Маштоца нелегка
И я ее освою вскоре,
Но и без знания языка
Мне так открыто это горе.

Стараясь бога не смущать,
Они без мольб бредут устало,
В домашних тапках и плащах,
В том, в чем несчастье их застало.

Не каждый путь осилить смог:
Кто слишком юн, кто очень старый.
Лишь глыбы камней вдоль дорог
Остались сзади, как хачкары.

1990 г.
Боткинская больница

* * *

За кустами тамариска
Южно пахнет львиный зев.
Ласточки летают низко,
Значит, скоро быть грозе.

Словно понимают птицы,
Дерзко ринувшись в полет:
Что-то здесь должно случиться,
Что-то здесь произойдет!

Над леском и над болотцем
Вслед за кругом чертят круг,
И всему передается
Их смятенье и испуг.

Камень этот крутолобий,
Склон ли берега крутой,
Дышит все сейчас особой
Грозovou духотой.

Чтобы тиной и ряской
Все вконец не зацвело,
Мир нуждается во встряске,
В переписке набело.

Над рядами обелисков,
Где не счесть моих друзей,
Ласточки летают низко,
Значит, скоро быть грозе.

1989 г.

Зимний вальс

Я всегда в неоплатном долгу
Перед солнцем, сиявшим в снегу,
Перед нашею зимнею встречей,
О которой забыть не могу.
Я в долгу, неоплатном долгу
Перед тропкой на том берегу,
Перед лучшими в мире словами,
Что шептал ты на каждом шагу.
Я в долгу, в неоплатном долгу
Пред теплом, согревавшим в пургу,
Перед нашим негаданным счастьем,
Перед всем, что в душе берегу.

* * *

Беспомощно исписываю разом
И тут же рву в отчаянье листы.
За годы словоблудия наказан
Мучительной болезнью немоты.

Уж, кажется, открылась дверь стальная,
Но как осилить робость — не пойму.
Так узник из Шильона знать не знает,
Что делать со свободою ему.

1989 г.

Простое дело

I

Сергей знал о себе меньше, чем другие о нем знали.

Хотя он был не только свидетелем, но и участником собственной жизни, многое не осталось в памяти, и частенько он напрягался, чтобы вспомнить, но тщетно.

Так, очень смутно представлялась ему деревня, где он родился, и теперь свыкся с мыслью, что родился не в пригородной деревне, а в самом городе Вязьме, хотя и город этот не помнил.

Он смутно помнил ощущение, что у него много родни — женщин с простыми морщинистыми лицами, худых мужчин с твердыми, как палки, руками. Помнил даже родственные поцелуи — тычки сомкнутыми губами куда попало — в лоб, в губы, в щеки.

И вообще он был уверен, что проходит стороной жизни, не умея проникнуть в ее сердцевину, почувствовать ее, впитать в себя и запомнить.

Может быть, плохая память? Нет, очень хорошая память на все остальное. Каждого помнил, с кем входил в соприкосновение даже на короткое время, даже в магазинной очереди, не говоря уж о тех, с кем работал. Да в том-то и дело — не они представляли главную ценность жизни. Они также не были ее сердцевиной, а населяли ее окраины, и думать о них не хотелось.

Сорока, трещя, летит невысоко над землей.

Нарядный дятел в красно-белом свитере и взлохмаченный, точно с перепоя, поднимается, шурша, от самого основания ели к макушке, иногда останавливаясь и начиная быстро, торопливо долбить, только труха в сторону летит.

Но ведь это же не главное в твоей жизни. Это главное в жизни дятла. Или сороки.

— Ты куда, Серега?

Кто-то крикнул, и Сергей, не оборачиваясь, полусогнулся, точно у него живот схватило, и услышал за спиной: «Надо, надо!» — и смешки. Он понял, что отход в сторону одобрен.

Сергей в кирзовых сапогах, хотя и лето, но к нему не привилась свобода гражданской жизни — летом полегче одеваться, чем, скажем, зимой. Он и летом в сапогах.

А в лесу, среди зелени, среди листьев и хвои, ничуть не прохладнее, чем на открытых местах. Сухой знойный воздух заливает весь белый свет — и поле, и лес, и поселок, и некуда от него деться. И не хочется никуда деваться, ибо этот зной — благо.

Кусты и заросли вмиг скрывают оставшихся на лесной дороге, да там про него уже и забыли, позубоскалив, да он от них и не прячется, но его путь иной, чем у них. Им — по дороге, ему — через лес.

В лесу что-то случилось. Лес стал другим — сгустился и одновременно разределся, в какой-то части сделался жиже и в той же мере в другом месте — плотнее, и ты уже свидетельствуешь рухнувшее дерево, в душе твоей вызвавшее смятение, горечь.

Э, что там...

Мир рухнул, говорят. Да, бывает. Мир в осколках, в пыли, кусками валяется на дне твоего сознания, бесконечного, как пустыня, но в жизни это выражает (олицетворяет) упавшая набок ель.

Ель жила и рухнула в настоящей жизни, и это падение вместе с подготовкой к нему прошло мимо тебя.

Сергей приблизился к основанию дерева, куску плоскости из дерна, корневищ, массы лесной землицы с изнанки. Взор не может проникнуть в подробности ямы, разверзшейся в основании рухнувшей ели. Воронка от снаряда, от мины. След взрыва. Но это взрыв лишь по существу. Формально же не представляет такого уж мартышкиного труда все снова привести к не столь далекому прошлому — водрузить дерево, как раньше, верхушкой вверх, а корни снова вправить в землю, в почву. И хвоей присыпать, как ни в чем не бывало.

Можно? Разумеется! Да только ничего это не даст. Жизнь дерева кончилась. И Сергей идет прочь, и выходит из района, излучающего жуть, и снова оказывается в своей какой-то ненастоящей жизни, но с настоящими корнями, причудливо пересекающими протоптанную им самим и другими людьми лесную тропинку, и, спотыкаясь о корни или наступая на них, понимает, что вот так, шагая по корням, ударяя их, мучает деревья, пусть даже им не слишком больно, пусть даже это как для нас, людей, укус комара (небольшого и полудохлого).

Потом кончается лес и вместе с ним тропинка, и путь лежит уже по дачной улице чужого мира. А может быть, этот мир чужд и вообще природе, хотя он и есть ее часть — и зелень, и рельеф, и даже маленькое озерцо искусственного происхождения в конце отвлекающейся улочки, проулка между сплошными заборами, ведущего к железнодорожному полотну (там на длинной веревке пасется бородастая коза), которое, впрочем, каким-то чудом теперь уже (и довольно давно) стало частью настоящей природы, вернее — настоящего мира.

Сергей отвечает на приветствие маленького мальчика с тоненькими ручками и ножками, в широкой майке, в скособоченных трусиках и смешных сандалиях. Мальчик и ласковый, и дерзкий, и его кудлатая голова вмещает в себя его собственное представление о мире и о жизни, и он тоже думает, что живет как-то иначе, чем другие, на краю жизни, в действительности же находясь в самом ее пекле.

Таких мальчиков прошло много за десятилетия, десятилетий

же минуло не менее трех, что прожил он в этом краю, в истинном мире, который все-таки умудряешься стороной обходить.

Зной уравнивал два мира — мир истинный и мир твой, ненастоящий, стер также границу между миром дачного поселка и остальным миром, населенным рабочими людьми, призванными содержать поселок в порядке — приколачивать отлетевшее, прочищать засорившееся, вставлять вылетевшее, чинить сломавшееся, заменять сгнившее...

Задача не бог весть какая важная, ничего бы не изменилось, и не будь она выполнена. Для Сергея это не просто фронт работ, а назначение в этом мире, вернее — в том мире, мимо которого жизнь несет, и этой лишь своей деятельностью причастен к нему.

И в даче Колокольцевых зной. Хоть и сумрачно, а нет прохлады. — Чаю, Сережа?

Он все прочистил и, как всегда, убедился, что неполадка легкая, неумотительная, славная неполадка, какую любой вмиг исправит.

Сергей затоптался в своих сапогах, переложил сумку с инструментом из одной руки в другую. Кивком головы хозяйка пригласила следовать за ней через тенистую знойную комнату на ярко освещенную, наполненную солнцем и тем же зноем террасу.

Вот тут на миг вдруг дохнуло прохладой, и потом время от времени прохлада повторялась, и горячий чай приносил отдохновение и связывал с истинным миром, которому безусловно принадлежали и дача, и хозяйка.

А вот второй (помимо Сергея) гость, пьющий чаек за тем же покрытым белой скатертью плетеным (так его назовем) столом, не был столь понятен Сергею, как хозяйка и как ее покойный отец Колокольцев, сказочник и мечтатель, и его мир был еще более реальный...

Гость много говорил, боясь услышать что-нибудь от других, и даже паузы в его бесконечном выступлении наполнены были тревогой и напряжением: вдруг кто-то начнет заполнять образовавшуюся тишину своими словами, и длились поэтому паузы очень короткое время, а если и чуть затягивались, то все равно не давали отдохновения.

Он был крупный мужчина, крупнее Сергея, выше ростом, лицом красен и некрасив, с красной шеей, и полное тело под распахнутым воротом широкой белой рубахи с бледными полосками было красное и в седых волосах. Он плотно сидел на плетеном стуле, но Сергей знал его в движении. Передвигался он косолапая, замечая пыль широкой штаниной, и его солидная хромота лучше всяких слов говорила о его сложной судьбе.

— А знаете ли вы, Сергей Андреевич, как этот поселок образовался?

Он обратился к Сергею, а смотрел при этом на хозяйку и, не дав ответить, продолжал:

— Сам его основал...

«Сам» — это тот, чья смерть оплакивалась не день и не два, а месяцы и даже, можно сказать, годы и чью память он защищал от других и от самого себя, сколько было сил, но силы истощились.

— А вы тоже не знаете, Зинаида Мироновна? — спросил он хозяйку, хотя на сей раз уставился на Сергея, но снова, не дождавшись ответа, приступил к изложению.

— Так вот, значит, как дело было. Наш, значит, основатель и художественный руководитель Имярек за обеденным столом и, следовательно, за рюмкой чая (гримаса, означающая подмигивание) выразил Самому (тот его посещал со своими соратниками) такое пожелание: пусть, мол, люди художества и искусства живут себе на природе, среди петушков, коровок и прочей живности, небольшим сообществом, в дачах, пусть жены готовят пищу, а уж они пусть свой талант, значит, переносят (хлебнул чайку, проглотил) в область конкретного результата. Понятно ли выражаюсь?

Тут пауза затянулась, ибо рассказчик уже не пригубил чашку, а припал к ней, вытягивая влагу, остывшую, насколько это возможно при таком зное. Хозяйка успела заметить:

— Понятно, Мокей Филиппович!

Сергей тоже кивнул, и он действительно понял, что гость рассказал нечто такое, что понятно для хозяйки, а ему, Сергею, и этого довольно.

— Вот, после того, как Сам выказал согласие и согласие это было занесено на скрижали и покрыто лаком, поселение и было основано.

— Любите вы, Мокей Филиппович, высокопарный слог, — заметила Зинаида Мироновна, каким-то чудом найдя в паузе место для себя, на что немедленно последовало:

— Как того требуют, значит, обстоятельства.

Сергей Андреевич не знал всех этих обстоятельств, был уверен, что поселок всегда здесь существовал, столько же, сколько и поля, деревья, птицы, небо с облаками. Но он понимал, что это не так, и иногда вдруг испытывал жгучую потребность узнать историю этого места, почти такую же жгучую, как желание вспомнить все про себя. Да никто вокруг об этом не говорил и не интересовался, а лишь рассказывали разные разности об укладе незнакомой, покрытой таинственным мраком жизни дачников — странных людей с руками, ногами и головами, как у всех, но каких-то иных, каких-то не уверенных в своей уверенности и каких-то нищих в своем богатстве. Мокей Филиппович любил употреблять какие-то странные, запоминающиеся словца. Как-то Сергей по просьбе Мирона Ивановича приделывал к воротам гаража скобы для нового замка. Колокольцев неподалеку стоял. Новая машина поблескивала в сумраке стеклами и никелированной отделкой. Было лето, птицы пели, как они всегда поют воскресным утром часов в десять. И вот, словно бы родившийся из света и тени, возник среди зелени Мокей Филиппович. Тогда он еще не старый был, полный сил.

— Доброе утро, Мирон великий, — громко сказал Мокей Филиппович, подхрамывая к гаражу. — Приветствую вас, Сергей Андреевич.

Здесь он остановился, зажмурился, сделав вид, что смотреть больно, восторженно ухнул.

— Какой аппарат!

— Ах, Мокей Филиппович, что это вы все такими словами пользуетесь! — воскликнул Колокольцев совсем так же, как его дочь Зинаида Мироновна.

Впрочем, тогда Зинаида Мироновна здесь не жила, а лишь изредка навевывалась. Тогда уже Анны Михайловны не было в живых, года два-три как умерла, и Мирон Иванович остался один — вдовый могучий старик, печаль свою глубоко упрятавший в сердце...

Попив чайку, он начал прощаться.

— Да и мне, значит, пора, — поддержал Сергея Мокей Филиппович, и они гуськом, вслед за хозяйкой, вышли с террасы, прошли сумрачную комнату с редкой мебелью, почти пустую, и ступили в коридор, еще более сумрачный, почти темный, где было не только жарко, но и невероятно душно.

Отсюда вверх, на второй этаж, вела узкая, крутая, в два марша лестница, и вместо того, чтобы выйти из дома, Мокей Филиппович шагнул на эту лестницу, чтобы подняться наверх.

— Разрешите?

— Разумеется.

Да, Мокей Филиппович, как и Сергей, чувствовал себя на этой даче хорошо, как в родном доме, и частенько поднимался в верхние комнаты, в библиотеку и в кабинет Колокольцева, являвшийся одновременно и спальней, подолгу (иногда же совсем быстро, мельком) рассматривал многочисленные фотографии в узких простеньких рамках, развешанные по стенам, а то доставал с полки и перелистывал книги, что как-то очень глубоко радовало хозяйку — значит, дом жив и душа Колокольцева здесь жива.

— Эге-ге! — воскликнул Мокей Филиппович. — Не подгнила ли лесенка?

— Не может того быть, — ответил решительно Сергей, шагнул вслед за гостем на лестницу, нарочито грубо ступая сапожищами по зашарканным ступеням, остановился, помолчал, два-три раза топнул и проговорил:

— Очень даже похоже.

— Подгнила?

— Подгнила.

Зинаида Мироновна тоже ступила на лестницу, на нижнюю, самую устойчивую ступеньку, и все вместе немного потоптались, прислушиваясь, а потом все вместе поднялись на второй этаж. Мокей Филиппович со своим интересом, а Зинаида Мироновна и Сергей для того, чтобы, устроившись за библиотечным столом, выписать со склада материал — доски и гвозди.

— Да ладно, гвозди не пишите, я принесу, а вот доски такой у меня нет, — сказал Сергей и, задумавшись, продиктовал количество материала и его параметры — толщину и длину. — Так что, Зинаида Мироновна, ждите, приду лестницу чинить.

— Не знаю, Сережа, как вас и благодарить.

— Знаете, Зинаида Мироновна.

— Ну, конечно, знаю, разумеется, — и хозяйка пожалала крепкую широкую пятерню Сергея своей узкой, невесомо мягкой, но одновременно и твердой рукой.

Рукопожатие и было благодарностью.

II

При жизни Мирона Ивановича дача его привлекала пристальное внимание узкого круга людей, проводящих лето да и другие времена года в этом поселке. Каждый, кто, гуляя, оказывался поблизости, поворачивался к ней, стараясь углядеть какие-то признаки жизни знаменитого хозяина и других обитателей дома, услышать звуки, рождающиеся за зеленым штакетником.

Иногда это были пустые звуки голосов домочадцев или гостей. Иногда же вдруг возникал голос самого хозяина, высокий, напряженный, и тогда любой, кто слышал его, останавливался за забором, точно заколдованный. Этот счастливец потом к месту и не к месту вворачивал в рассказ о посещении поселка впечатления об услышанном голосе Колокольцева, причем не всегда он мог даже повторить слова Мирона Ивановича и отмечал лишь общее настроение услышанного высказывания или восклицания — удивления, гнева, радости.

При жизни Колокольцева кое-кто из его знакомых или даже близких испытывал чувство недовольства, раздражения тем, что дача кажется запущенной, упавшие от ураганов или от старости деревья не вывезены с участка, деревянная, открытая дождям и снегам терраса покосилась и подгнила, крыша проржавела и не покрашена, штукатурка облупилась, оголив, точно ребра, полосы дрانки...

— Можно бы и отремонтировать дом, — говорили они. — Смотрите, как новое начальство свои дачи отделало.

Но были и такие, кто приглядывал эту дачу для себя, ожидая, что нынешний хозяин, человек пожилой и не столь уж здоровый (широко было известно, что Мирон Иванович мучился бессонницей и каждый час сна был для него на вес золота), в не очень-то далеком будущем покинет этот мир.

Когда же это произошло и Колокольцева отвезли на местное кладбище и похоронили рядом с женой, появились реальные претенденты на заселение дачи. Имена их, к счастью для них, не стали пока что достоянием гласности.

Смерть не сразу утвердилась за Колокольцевым. Для этого потребовалось не менее десяти лет. И тогда уже, когда отсутствие в этом мире Колокольцева стало бесспорным и безусловным, люди потянулись к его дому с неутолимой жадностью побывать здесь, подышать этим воздухом, прикоснуться к вещам, принадлежавшим Колокольцеву, и попытаться проникнуть во внутренний мир могучего старика, его глазами взглянув на эпоху или даже на череду эпох. Инте-

рес проявляли люди посторонние, не имеющие отношения к творческому союзу или поселку, тем самым как бы присваивая Колокольцеву статус человека всей страны, а не только лишь арендатора в обособленном поселке.

Частенько вдруг кто-то запыленный, со следами усталости и вдохновения на лице появлялся, словно бы рожденный из летней зелени на участке Колокольцева, перед крыльцом дачи и, волнуясь, спрашивал у удивленного и недовольного домочадца, не здесь ли жил Мирон Иванович Колокольцев и нельзя ли посмотреть дом, ну хотя бы одним глазком.

Как правило, такого посетителя выпроваживали за ворота, и он еще некоторое время стоял в растерянности, и одному богу известно, что думал он при этом о тех, кто встал между ним и Колокольцевым.

Иногда же посетителю (или посетительнице) удавалось все-таки проникнуть в дом, и сквозь кухонные запахи и земные разговоры домочадцев мир Колокольцева оживал в зашторенных комнатах, и каждую минуту ожидалось: вот-вот раздастся голос хозяина, его шаги на лестнице.

Как-то осенним днем, прозрачным, солнечным и прохладным, Зинаида Мироновна сиротливо сидела на узкой лавочке, где частенько Мирон Иванович располагался с кем-нибудь из своих друзей. Все разъехались, дача была пуста, окна распахнуты. Вдруг Зинаида Мироновна услышала голос:

— Зина! — Ее звал отец.

Зинаида Мироновна вздрогнула, сердце ее сжалось: «Боже мой, зачем я ему? Неужели что-то случилось?»

Быстро подышавшись с лавочки и направившись к крыльцу, Зинаида Мироновна уже понимала: то была галлюцинация или даже сон. Могла же она задремать! И тем не менее в ней появилась уверенность: сейчас войдет в дом и увидит отца.

Она быстро поднялась на второй этаж, распахнула дверь в кабинет. Тахта, на которой она ожидала увидеть его, была пуста. Но он был здесь, только что был!

Атеистка, человек далекий также от какой бы то ни было мистики, она сразу же нашла объяснение происшедшему: много думает об отце, часами мысленно беседует, вспоминает его — и вот результат. И тем не менее она знала, что отец где-то здесь, в соседней комнате или же где-то на участке, или же отправился на прогулку и скоро вернется. И возникло непреодолимое желание с этого мига никого не пускать в папины комнаты, сохранить их в том виде, в каком они были при жизни отца.

Тут же, по памяти, она вернула мебель на старые места, разложила книжки на столе и на тумбочке у тахты, как было раньше.

За первым импульсом последовала серьезная, напряженная работа памяти, и очень скоро, через несколько дней, мемориальные комнаты обрели тот вид, какой они имели несколько лет назад (ах, как время летит!), в тот день, когда Колокольцева с инфекционной

желтухой отвезли в больницу, откуда ему уже не суждено было вернуться.

С тех пор дача, по существу, перестала быть дачей, а превратилась в музей.

III

Для тебя Колокольцев много значит, тебе даже кажется, что его душа, вынужденная покинуть тело, тебя выбрала. И ты испытываешь чувство гордости, все внутри замирает от восторга, когда ты думаешь об этом.

А ведь не только в поселке его знают. Как-то много лет назад (теперь уже много) в Сибири, где ты почему-то оказался вместе с женой и детьми (первой, старшей девочкой и младшим, только-только появившимся на свет сынишкой), у тебя был неприятный разговор с учительницей дочери. Девочка первого сентября пришла домой заплаканная, несчастная, а ты прибежал с работы раньше времени, чтобы вместе с дочкой порадоваться ее празднику — все-таки первый раз в первый класс! — ан нет!

— Учительница сказала, что я врушка, — сказала дочка обиженно.

— А что ты такое сказала?

— Ничего не сказала, а учительница все равно сказала, что я врушка, потому что я могу читать и писать...

Ты сразу же понял, что девочку обидели, ты обнял ее худенькие плечики, когда она подошла к тебе и прижалась, — тебе даже обедать расхотелось, всякий аппетит пропал, а вот жена молчала. Она осуждала дочку, а за что — сама не знала. Если учительница рассердилась, значит, в себе ищи причину, а не в учительнице.

Ты сегодня же учительницу встретил на улице, она в окружении детей гуляла, такая красивая, оживленная, а вот когда она тебя увидела, сразу же красота куда-то исчезла, и выражение лица стало вредное, противное, и голос у нее стал какой-то скрипучий, громкий. Она громко с тобой разговаривала, почти кричала, чтобы и дети все, кто рядом с ней гулял, слышали.

— Хорошо же вы ее там у себя, в Европе, воспитали! — начала она выговаривать тебе, как провинившемуся мальчику. — Думаете, здесь все темные живут, медведи, что ли? Можно над нами смеяться?

И тут выясняется: Ирочка рассказала в школе, что ее учил грамоте Мирон Иванович Колокольцев. А ведь действительно учил. Мирон Иванович любил Ирочку и вместе с другими детьми, которые приходили к нему, учил чтению и письму.

— Подумайте-ка, ее Колокольцев учил! — на всю степь кричала учительница. — Да как только язык повернулся!

— А что такого?

— Да он умер давно, еще до войны!

— Да нет же, он жив-здоров.

Потом недоразумение выяснилось, учительница очень смущена была, но все же какое-то недоброе чувство к тебе и твоей дочке у нее осталось, и, может быть, именно это и заставило тебя снова попытаться изменить судьбу.

Проезжая назад по Сибири, пересекая Уральские горы, глядя на зеленый лед Волги под железнодорожным мостом у Казани, чувствуя себя незначительной песчинкой в этой огромной, занесенной снегами стране, под серым небом длинной, бесконечной зимы и стужи, ты понимаешь: есть где-то твой клочок земли. Только неизвестно, где же он. Хотя и догадываешься. Не зря потянуло тебя назад, в поселок. Нет твоей судьбы в Сибири, и зря ты убежал от своей родины, думая, что родина большая, безграничная, размером со страну.

Жена с маленьким усаживается на лавку, люди потеснились, а ты со старшей стоишь в тамбуре возле горы вещей, обнимаешь девочку и чувствуешь, кажется, через толстые зимние одежды ее теплое родное тельце, и она прижимается к тебе, белобрысая и сероглазая, как красавица-мать, но и на тебя чем-то похожая, может быть, спокойствием.

Вид из окна электрички совсем-совсем другой, чем там, в Сибири, — ограды из бетонных плит, расчищенные площадки для транспорта, жилые дома — многоэтажные, ухоженные, как на макете, но главное — тут все обжито и вокруг густонаселенные пространства.

Вечереет, и грустно горят огни пригородов, и душа переворачивается от вида прохожих, которые, как муравьи, ползут в разных направлениях, скопляясь возле киосков, у дверей магазинов, снова разбредаясь. Тебе кажется, каждый из них тебе знаком. Ты чувствуешь, что уже добрался до родины.

И еще ты помнишь, как в сумраке твоя дочь различает темную фигуру человека, бредущего по вечернему поселку.

— Дедушка Мирон! — кричит она, прижимаясь носом к окну почтового рафика. Знакомый шофер согласился подвезти от станции до полуразвалившегося домика твоей жены, где ее родители уже вас заждались.

Живой Колокольцев!

Водитель и не подумал остановиться, да его и не просили, но — о, чудо! — Колокольцев поднял голову и, увидев личико твоей дочери, снял с седой головы шапку и поклонился.

И ты шепчешь:

— Здравия желаю, Мирон Иванович...

IV

От Колокольцевых Сергей отправился на склад, но навстречу ему попался кладовщик на велосипеде — возвращался домой. Рабочий день у него закончился, и против обыкновения сегодня кладовщик не задержался после работы.

Сергей увидел улыбающееся лицо кладовщика, и его губы в ответ

расплылись в улыбке, но тут же Сергей недовольно хмыкнул и спрятал улыбку — кладовщик вовсе не приветствовал Сергея, а просто у него всегда было такое выражение лица, и если взглядеться, то видно становилось, какое оно напряженное и недоброе.

На следующий день Сергей Андреевич поставил в известность прораба о прогнившей лестнице на даче Колокольцева, и прораб ответил:

— Давно ее пора на слом, эту дачу.

Все дачи, если разобраться, пора было пускать на слом, однако их не ломали, а ремонтировали, перестраивали, подводили каменный фундамент, провели в свое время в дом воду, а также канализацию. Раньше, в первые годы, за водой ходили к колодцам, а по нужде — в «скворечники», устроенные неподалеку от домов.

И водопровод, и туалет в даче Колокольцева, как и в других дачах, оборудовали, но на этом все и кончилось, а дача требовала капитального ремонта, иначе рухнет.

— Я там посмотрел, чего надо выписал — можно хорошо укрепить, — сказал Сергей.

— Ладно, посмотрим, — проговорил прораб. — Раз можно, так укрепим.

Все это происходило в настоящем мире, не задевая Сергея, но вот он встретил Зинаиду Мироновну на раскисшей улице дачного поселка, среди наполненных коричневой жижей колдобин. Лето прошло, осень наступила, выветрился зной, и стало промозгло, сыро, мрачно. Хотя зрение у Зинаиды Мироновны никуда не годилось, она издали узнала Сергея, мерно вышагивавшего в своих замызганных сапогах по лужам посреди улицы. Он шел, задумавшись, и так, возможно, и прошел бы мимо, но проезжал самосвал, Сергей ступил в сторонку и тут на обочине столкнулся с Зинаидой Мироновной нос к носу, так, что и не разойтись.

— Сережа, здравствуйте!

— Здравия желаю! — по обыкновению бодро выкрикнул Сергей и затоптался, стараясь на бугристой обочине встать по стойке «смирно». — Лестницу поправили, Зинаида Мироновна?

— Какое там! — Женщина махнула рукой и невесело хохотнула. И рассказала о посещении ее дачи комиссией, о плачевных выводах этой комиссии относительно состояния дома и о нежелании начальства вообще что-то делать с разрушающимся строением.

— По-видимому, хотят, чтобы дача сама собой развалилась, — горестно заключила она.

Сергей не возражал.

— С них станет. — И снова о лестнице: — Держится?

— Кое-как, Сережа.

— Поправим.

И в тот же вечер, уже ни с кем не советуясь и не ожидая ничьей помощи, он принес несколько досок (не таких, правда, как хотел, а какие достать удалось) и часа два-три прилаживал их, подпиливал, приколачивал большими гвоздями. Получилось крепко, хотя и некрасиво.

— Ну, Сережа, спасибо, не знаю, как и благодарить.

— Знаете, Зинаида Мироновна.

— И все же, дорогой Сережа, возьмите, пожалуйста, — она несколько церемонно протянула деньги.

— Премного благодарен.

Он пытается встать по стойке «смирно», потом берет деньги и засовывает их в карман широких солдатских галифе. Он не каждый раз принимает деньги, иногда отводит руку Зинаиды Мироновны с денгами в сторону, точно она мешает пройти, да Зинаида Мироновна не каждый раз их предлагает, но все очень красиво выходит, удобно, и нет между дачницей и рабочим неловкости, а, напротив, чувство приязни только укрепляется. Не на деньгах же строятся человеческие отношения, хотя многие, ой, многие иначе на это смотрят.

— Чаю, Сережа?

— Не откажусь, — сказал Сергей и добавил: — И от другого бы не отказался.

— Другого нет.

— На нет и суда нет.

Сегодня пили чай не на террасе, а в большой комнате с редкой мебелью. Редкой не только потому, что ее было мало и она поэтому была редко расставлена, но и потому также, что и овальный стол из карельской березы, и такой же буфет, и диванчик были какие-то необычные, диковинные, редкие.

Но был и самый обычный стол, придвинутый к окну, за которым плакал осенний вечер.

Зинаида Мироновна угостила Сергея печеньем, предложила чего-нибудь поплотнее, но Сергей отказался.

— Ну, значит, чай! — воскликнула Зинаида Мироновна, близоручко наклоняясь к большой чашке, предназначенной для гостя.

На дворе хлынул ливень и все лил, все лил, ударяя по стеклам.

Любезная хозяйка не забывала повторять:

— Вы, Сережа, берите печенье, берите...

А Сергей Андреевич сидит, попивает горячий чаек из чашки такой большой, что, кажется, в нее целиком голову можно засунуть, и в душе творится нечто такое, что и назвать-то никак нельзя, кроме как ощущением счастья. Такое оно, счастье, и никакое другое, когда ты чувствуешь рядом с собой теплую человеческую душу и через эту душу — огромный мир, сложный, непонятный, но тоже добрый к тебе, готовый открыться и стать понятным — только захоти!

Смотришь на эту пожилую женщину — и видишь в ней одновременно и отца ее, сказочника и мечтателя Колокольцева, и мать Анну Михайловну, женщину очень строгую, прямую (по возрасту дочь ее уже пережила), но, как и дочь, любезную, открытую и жительницу того же мира, что и дочь.

Снова поговорили об истории создания поселка. Зинаида Мироновна, оказывается, бывала здесь давным-давно, в детстве, еще до

революции. Дачного поселка тогда, конечно, не было, а был лес и уже тогда запущенный парк, принадлежавший барской усадьбе с большим домом, хозяйственными постройками, озером, плотиной, дорогой, обсаженной плакучими ивами, деревенькой.

Сюда приезжали из Москвы дачники и просто горожане погулять на природе.

Поблагодарив за угощение, Сергей Андреевич вышел в прихожую, но дом покидать не спешил. Внимательно осмотрел свою работу, топтал по лестничным ступенькам, покачал перила, затем двинул на второй этаж. Зинаида Мироновна последовала за ним.

Вошли в библиотеку.

— Хорошо, Сережа, что вы поднялись, здесь окна надо закрыть на ночь.

— Закроем, Зинаида Мироновна.

Топоча, Сергей захлопнул створки окон, задвинул шпингалеты, но, сделав дело, не уходил, а озабоченно топтался, оглядываясь, всматривался в потолок.

— Вы что, Сережа? — близоруко прищуриваясь, спросила хозяйка.

— Кажется, течет.

— Крыша?

— Ну да!

— Что вы говорите, здесь же книги!

— Да, здесь книги.

Нашелся кусок хлорвинила. Сергей, встав на табуретку, прикрыл угол книжной полки. Штукатурка в углу потолка потемнела, набухла, но вода еще не текла.

— Ах, они, мерзавцы, — возмущалась Зинаида Мироновна. — Ведь были же, все осмотрели — и ничего!

— Ладно, без них обойдемся, — ответил с табуретки Сергей и, когда слез, добавил: — Полезу на крышу, щель заделаю, а может, и лист железа достану.

— Неужели почините? — воскликнула Зинаида Мироновна с надеждой. — Как благодарить вас, Сережа!

— Бутылку поставите — и довольно.

— Нет уж, друг дорогой, бутылки не будет.

— Ну и правильно, — легко согласился Сергей.

На следующий день, в субботу, он залез на чердак и заделал, правда, временно, широкую щель, сквозь которую натекла вода, промочив угол и просочившись через потолок в библиотеку Колокольцева.

Дождь бил по крыше, выбивал утомительную, несмотря на бодрость, мелодию, пугал, пытался усыпить, то вдруг затихая, то с новой силой принимаясь за несусветную ругань, но свое дело ты сделал, и даже лучше, чем сам предполагал, так что крыша переживет осень, выдержит зиму, если, конечно, вдруг какой-нибудь оттепели не случится, но вот к весне нужно будет поправить крышу посерьезнее, капитально, иначе пропадет дом.

Да он и так пропадает. А ремонтировать не хотят. Пусть разру-

шится, что ли? Но нельзя, чтобы он разрушился, никак нельзя, ведь это же не просто старая дача, это ведь дом Колокольцева и его дочери Зинаиды Мироновны. Это же их мир...

V

Часа в три свет в единственном освещенном окне дачи Колокольцева, выходящем в сторону леса, гаснет, и дом окончательно приобретает необитаемый вид, сливается с ночной природой.

Однако случается и по-другому.

Зинаида Мироновна время от времени, чтобы размяться, поднимается со своего кресла, ходит туда-сюда бесцельно по маленькой комнате, но вдруг спохватывается: а закрыто ли окно в библиотеке?

Тогда она выходит из своей комнаты и отправляется в длинное путешествие на второй этаж. Свет вспыхивает сначала в гостиной, затем в прихожей. По зыбкой лестнице она поднимается наверх, во тьму.

— Папа, к тебе можно?

Зинаида Мироновна произносит это нежно и тихо и прислушивается. За плотно прикрытой дверью библиотеки тихо. Мертво.

Она открывает дверь. Комната освещена слабым светом фонаря с улицы. Не включая свет, Зинаида Мироновна подходит к окну и ненадолго останавливается, глядя сквозь запотевшее стекло на чуть видимые в сумраке или даже в полумраке полуоблетевшие яблони и вишни, некогда посаженные Колокольцевым и теперь превратившиеся в крепкие ветвистые деревья. Темными сгустками виднеются оставшиеся на ветвях яблоки.

А может быть, они лишь угадываются?

Слышится шум ночного поезда. Железная дорога километрах в двух, за лесом, но когда проходит поезд, дом чуть содрогается в ритме длинной строки гекзаметра.

— Правда же, это Гомер, папа?

Конечно же, он сидит за столом, склонив седую голову к листу бумаги, освещенному кругом света, падающего из-под зеленого колпака старой лампы, один лишь вид которой способен воскресить эпоху.

Она оглядывается.

Никого. На столе угадываются книжки, лежащие так, как они лежали при хозяине. Зинаида Мироновна тихо плачет, но лицо ее вовсе не горестное, а скорее просветленное, глаза широко раскрыты, как у девочки, руки опущены вдоль тела, и вся она открыта миру, воспоминаниям, любви.

Родственники перестали здесь появляться (уж больно характер неуживчивый у старухи).

По старой памяти дачу изредка навещал директор поселка. Он приходил сюда не как официальное лицо, а как хороший знакомый.

Разговоры велись, как правило, на общие темы, не связанные ни с арендой дачи, ни с ее ремонтом. Зинаида Мироновна превратилась как бы в нового арендатора и регулярно, каждый месяц, вносила плату, хотя никакого документа, определяющего ее отношения с поселком, не было. Впрочем, не было такого документа и у Мирона Ивановича Колокольцева. Некогда подписанная им бумага была утрачена во время войны, когда все документы поселка, помещавшиеся в небольшом неогороженном шкафу, были преданы сожжению.

Как-то директор, взглянув на облупившиеся стены дома, потупился и сказал, что сейчас в поселке нет средств на ремонт ее дачи. В поселке затеяно строительство новых домов для начальства, а сметы там необъятные.

— Очень большие, — проговорил директор, понизив голос, точно их мог кто-то подслушать на пустом дачном участке. Лично он такой роскоши не одобряет, однако же как человек подчиненный вынужден исполнять распоряжения.

— Потерпите, Зинаида Мироновна, и вашу дачу приведем в порядок.

— Надеюсь. Тут, знаете, всякого ожидаешь...

Она замялась.

— Что такое? — насторожился директор.

— Мало ли, какие неприятности могут быть...

— Неприятности?

Директор высоко поднял брови, так, что они чуть ли не слились с седой шевелюрой. Весь невысокий лоб, точно гармошка, сложился в тонкую полоску-складку.

— Что за неприятности, Зинаида Мироновна?

— Погоните вы меня с дачи...

Директор рассмеялся:

— Не думайте, не думайте об этом.

Предположение было настолько диким, что директор опешил, у него даже горло свело. Он откашлялся и повторил:

— И не думайте, Зинаида Мироновна.

Во время ближайшего же доклада председателю творческого фонда, ведающего поселком и арендой дач, директор рассказал о своем курьезном разговоре с дочерью Колокольцева.

Председатель получил должность недавно и слушал директора с большим интересом.

— А вот с этими надо поостороже, — проговорил твердо председатель и, разволновавшись, начал вдруг покручивать перед собой на столе коробочку со скрепками. — И вообще этот вопрос пора отрегулировать. Подготовьте такую бумагу, — и сделал какую-то коротенькую запись на листке календаря.

— Слушайте! — воскликнул директор, с молодым проворством поднимаясь со стула и пятась к двери.

Разговор с председателем заставил директора задуматься.

С тех пор он уже не порывался заходить к Зинаиде Мироновне, догадываясь, что вопрос с дачей Колокольцева вовсе не так очевиден.

А вскоре ситуация окончательно прояснилась. Один из чинов, приехавших в поселок с инспекцией, вознегодовал:

— Приезжают в поселок разные люди, интересуются музеем Колокольцева, а где он, этот музей? Нет его. Любой справочник откройте — музея Колокольцева не существует. И следует присмотреться к тем, кто посещает дачу. Так ли уж наивны или глупы эти люди, не скрывается ли за всем этим что-то более серьезное? Какому здравому человеку придет в голову мысль интересоваться музеем, который, так сказать, не санкционирован начальством?

Что же получается — начальство недоглядело, что ли?

Да, глубоко там наверху копают, так глубоко, что самому лучше в рассуждения не вдаваться, а исполнять пожелания, и точка.

— Рекомендуйте Зинаиде Мироновне освободить дачу, — твердо проговорил чин.

— Но вот как?

— Нажмите-ка в смысле задолженности, — посоветовал чин. — Это, мол, не благотворительная организация... ну и прочее...

— Так ведь в том-то и дело — нет задолженности.

Чин задумался.

— Плохо. Очень плохо. А если с ремонтом?

— Ремонт бы нужен, да средств нет. Все на ближайший год спланировано.

— Это ничего. Ремонт можно и на будущий год назначить, а сейчас пусть с дачи перебирается.

— Хорошо, — согласился директор. — Я ей скажу.

— Вот и скажите.

Зинаида Мироновна обрадовалась известию о ремонте.

— Наконец-то. Дача прямо-таки на ладан дышит. Когда же вы намереваетесь начать?

— Вот год закончится, так сразу и приступим.

— Зимой?

Директор сделал вид, что задумался:

— Да... Где-то к концу февраля. Как смету утвердим, устраивает?

— Ну, хорошо, — помолчав, сказала Зинаида Мироновна. — Что-нибудь придумаем. — И с воодушевлением добавила: — Значит, поживем!

Директор с облегчением вздохнул — все сложности позади.

Но он ошибался.

Согласившись на ремонт, Зинаида Мироновна наотрез отказалась выезжать с дачи.

— Позвольте, ведь тут и фундамент нужно новый подвести, и полы перестелить.

— И отлично!

Зинаида Мироновна начала излагать директору свои соображения о том, в какой последовательности необходимо проводить ремонт и в какой последовательности она будет перемещаться из комнаты в комнату.

Однако в данном случае не ремонт важен: требуется удалить с

дачи мебель и личные вещи Колокольцева, представляющие главный интерес для посетителей незаконного музея.

И вот именно от этого Зинаида Мироновна наотрез отказалась.

— Как знаете, — холодно проговорил директор и, чуть кивнув, удалился. Рука Зинаиды Мироновны, протянутая на прощание, повисла в воздухе незамеченной.

Заключительная часть разговора проходила в комнате Зинаиды Мироновны, и директор, выйдя, хлопнул дверью так сильно, что с потолка посыпалась штукатурка. Видимо, он сам был смущен своим поступком, потому что несколько секунд неподвижно стоял за хлопнувшей дверью, и Зинаида Мироновна подумала, что произошло недоразумение, она чего-то не поняла, директор сейчас вернется и все объяснится. Но пауза кончилась, раздались тяжелые шаги в гостиной, затем в прихожей, и уже с улицы донесся его раздраженный голос:

— А вы что здесь делаете? Работать надо!

И скрип подошв по песку.

Зинаида Мироновна стояла посреди комнаты и растерянно улыбалась. Потрясение было столь сильно, что какие-то защитные силы организма переключили ее сознание на другую волну, иначе бы сердце не выдержало.

Она услышала, как знакомо открылась входная дверь, затем шаги проследовали к ее двери. Еще никто не постучался, а Зинаида Мироновна уже весело крикнула:

— Заходите, Сережа!

Здесь силы оставили Зинаиду Мироновну, она, попятившись, села в кресло и закрыла глаза.

VI

В конце лета серьезно заболел Мокей Филиппович. В больницу его увозили с дачи, Сергей, случайно проходивший мимо на обед, помогал санитарам заносить носилки в кабину. Больной, казалось, никого не узнавал, был в бессознательном состоянии, но когда Сергей на прощанье сказал громким бодрым голосом: «Возвращайтесь, Мокей Филиппович!» — тот прошептал: «Мы еще попьем чайку у Зины».

Но не получилось...

Узнав о смерти Мокея Филипповича (на этот раз не удалось выпутаться), Сергей отпросился с работы и поехал на похороны. Не узнать в том, кто лежит в гробу среди цветов, Мокея Филипповича — чужой, незнакомый человек. Но взглядевшись, ты принимаешь его таким, каким он стал, и вспоминаешь, что и Анна Михайловна, и Колокольцев тоже поначалу показались другими, чем были, однако и они теперь в твоих воспоминаниях живут и тем своим мертвым обликом — емким, многоликим, вместившим в себя тысячи летучих живых обликов, знакомых тебе, в окружении вечно новой природы...

И тебя ждет тот мир, куда они ушли, хотя есть другие миры, куда другие уходят, и чувство неизбежности дает тебе отраду. И хоть сердце нет-нет да и сожмется в тоске, а ты сам всем существом ощутишь себя Спасителем в момент ареста в Гефсиманском саду, а потом смертную муку принимающим на кресте, радость неминуемого соединения с любимыми вдохновляет тебя.

«А если не быть тебе там?» — иногда спрашиваешь ты сам себя, и душа окутывается мраком, и ужас наполняет ее, но это не надолго, на мгновение, потому что ты знаешь: тебе там быть, это твой будущий мир, и ты будешь делить его с любимыми.

...Да, те люди покидают свой настоящий мир, который ты стороной обходишь, и оказываются в том мире, где и тебе суждено быть со временем...

И на панихиде, и на кладбище, и потом на квартире Мокея Филипповича Сергей видел знакомые, казалось бы, навсегда утраченные, а потому и забытые, вычеркнутые из памяти лица дачников и дачниц, уже давно по разным причинам покинувших поселок и для Сергея, следовательно, вообще исчезнувших с лица земли. Но они живы, живы! И слезы заливают лицо (они текут сами собой), солят водку и хлеб.

Подняв рюмку (ты и не пил-то никогда из такой — синяя, на граненой ножке с основанием в виде ромашки и с золотым рисунком в овале: какой-то замок на скале и деревья со стеклянной листвой), ты громко говоришь среди шума застолья:

— Хороший человек был Мокей Филиппович, пусть земля ему будет пухом.

— Пусть будет пухом, — в разных концах подхватывают, и ты выпиваешь рюмку до дна, запрокинув ее вверх основанием, и замок со скалой перевернулся, и деревья с листвой, и ко вкусу водки примешался вкус слез.

— Вы куда сейчас, Сережа?

Откуда ни возьмись — Зинаида Мироновна. А ты-то ее и не видел в числе хоронивших.

— Я спрашиваю: вы куда, Сережа, а? Вы меня не слышите?

— Домой, — отвечаешь, но все вокруг тебя вертится, и хотя ты и порываешься одеться, но никак не получается — руки скользят и снова наружу высовываются, точно рукава в пальто изнутри зашиты. Шапка на глаза лезет, и ничего, кроме собственных ног, не видно.

И потом тебя сильно мутит, и хочется выскочить и бежать, но мутить вдруг перестает, и ты видишь красный огонь светофора, закутанных пешеходов, отворачивающихся от ветра и снега.

— Сидите тихо, Сережа, скоро приедем.

Зинаида Мироновна рядом с шофером на переднем сиденье, и из глаз у тебя текут слезы жалости, умиления и благодарности. И потом машина медленно летит куда-то в ночи, сквозь ветер и снег, кренится, выпрямляется, тормозит, снова рвет вперед, и вот наконец ты выбираешься наружу. Тихо, как в комнате, и кругом все неподвижно, и фонарь освещает твой подъезд — два шага, и ты дома.

— Зинаида Мироновна, прошу пожаловать, — говоришь ты и все никак не можешь голову поднять и шапку поправить — перед глазами сапоги в снегу, и слышишь, как рядом жена твоя повторяет приглашение.

— С удовольствием, в другой раз, — и тебе: — Будьте молодцом, Сережа.

— Он уже молодец, — говорит жена.

— Да, я молодец. — Ты хочешь вытянуться по стойке «смирно», но валишься на жену, и вы вместе идете по сугробу, никак не в силах выбраться на расчищенную дорожку, ведущую к подъезду. Хлопнула дверца, машина заурчала, загудела — и снова тишина.

— И не стыдно тебе, Сергей Андреевич, что соседи скажут, — шепчет жена, и ты очень складно отвечаешь:

— Скажут, что всегда говорят: Сергей Андреевич напился в стельку.

— А то не напивался? — сомневается жена. — Уж больно ты трезво рассуждаешь.

— Случай такой, — говоришь ты и опускаешься в снег.

— У тебя всегда случаи.

Снег за шиворот засыпался, в рукава, зачерпнулся в шапку и теперь тает на голове, стекает по виску. И в сапоги набился и начал подтаивать.

Ты поднимаешься по чистенькой лестнице на четвертый этаж, жена тебя поддерживает, хотя больше мешает, и перед твоими глазами — Зинаида Мироновна со строгим лицом, стоит в снегу не очень уверенно, тянет руку к дверце машины, до машины далеко, и чувство вины в тебе сидит: напился, и из-за тебя пожилой, не очень здоровый человек, вместо того чтобы отправиться домой отдохнуть, поехал не в город, в поселок.

А может быть, ей и самой на дачу нужно?

На следующее утро Сергей специально, отправляясь на работу, сделал крюк, чтобы пройти мимо дачи Колокольцева.

Улица была расчищена, но ворота дачи Колокольцева завалены снегом (бульдозер, сметая снег с дороги, засыпал въезд, надо будет принести лопату и раскидать), и сама дача стояла пустая, заброшенная, занесенная снегом, и тропинка от ворот к дому лишь угадывалась, свежих следов не было.

Выходит, Зинаида Мироновна специально тебя привезла, потратилась на такси в оба конца, а к себе даже и не заглянула, сил, наверное, не было, устала после похорон, и на душе у тебя тяжело стало, неуютно. Вот оно, горькое похмелье.

VII

Новый год наступил, минул январь, февраль заканчивался, а о ремонте и речи не было. Зинаида Мироновна, боясь, что ее все-таки заставят на время ремонта освободить дачу, притаилась и решила не

вмешиваться. В конце концов директор должен отдавать себе отчет: дом рассыплется, а кому это выгодно? Никому — ни Зинаиде Мироновой, ни поселку, ни творческому фонду.

Прошел еще год. Снова протекла крыша, начала отваливаться штукатурка с потолка. Своими силами и с помощью Сергея как-то удалось навести порядок, однако же и с ремонтом ждать уже было нельзя.

Зинаида Мироновна позвонила директору в контору.

Трубку сняла новая секретарша, Галина Николаевна, сменившая прежнюю, которая вдруг неожиданно рассчиталась и уехала из поселка, как говорили, к сыну в другой город.

— Кто его спрашивает?

И когда узнала, что Колокольцева, сухо ответила:

— Виктора Тихоновича сейчас нет на месте.

— Когда можно перезвонить?

— Звоните. Он человек занятой, в кабинете не засиживается. У него много объектов.

— Это я знаю, — сказала Зинаида Мироновна. — Но мне нужно с ним поговорить по важному делу. Относительно ремонта.

— Какого ремонта?

— Ремонта дачи... Колокольцева...

— Подождите.

Довольно долго в трубке было тихо, слышался лишь шорох бумаги и неразборчивые переговоры, наконец секретарша сказала:

— Заявление писали?

— Какое заявление! — воскликнула Зинаида Мироновна. — Виктор Тихонович сам сказал, что в этом году будет смета составлена.

— Вы не кричите, а лучше послушайте, — невозмутимо проговорила секретарша. — Дачи Колокольцева нет в ближайших планах. А они у нас уже на пять лет составлены и утверждены.

— Так дача развалится! — снова воскликнула Зинаида Мироновна.

— Вы сами этого хотите, — спокойно проговорила секретарша.

— Я?! Хочу?! Как я могу этого хотеть! Что вы говорите! — закричала Зинаида Мироновна. — Поймите...

Но секретарша перебила ее:

— Прошу на меня не орать, я на работе, а вы меня оскорбляете.

Зинаиде Мироновне показалось, что у нее сердце остановилось. Не помня себя, она положила трубку и села в гостиной на диван, на который не садилась вот уже много лет, ибо почему-то считала, что этот диван существует специально для гостей. Зинаида Мироновна почувствовала себя здесь, в своем доме, незваной, нежеланной посетительницей, просительницей, получившей отказ.

Через несколько дней ей все же удалось добиться телефонного разговора с директором.

— Я бы хотела зайти к вам в контору.

— А по какому поводу?

— По поводу ремонта.

- Это лишнее, я вам все сказал.
- Простите, но вы мне ничего не сказали.
- Вы сами отказались от ремонта, а вам должно быть известно: у нас сметы, план и прочее и прочее...
- Так как же быть?
- Вопрос будет решаться.

Телефонный разговор с директором не внес никакой ясности, хотя одно Зинаида Мироновна поняла твердо: от нее хотят, чтобы она покинула дачу. Навсегда.

Несколько дней она не выходила из дому, сидя в своей комнате. У нее болело сердце, она не могла работать. Она и читать не могла, мысли путались, и она твердо решила: уехать отсюда, вычеркнуть из памяти и дом, и весь поселок, и от этого решения ей вдруг стало легко, свободно.

«Как хорошо будет сидеть в Москве, за своим письменным столом, и уже никогда-никогда не приезжать в поселок, не видеть ни директора, ни его секретаршу».

Даже Сережу она вдруг вспомнила с неприязнью, как олицетворение этого поселка, вечно существующего вне зависимости от судьбы отдельных дачников, словно каждый человек, живущий здесь, — не личность со своей судьбой, своими представлениями о мире, со своими горестями и радостями, а серое, плоское существо с одинаковой внешностью и одинаковыми неприхотливыми запросами.

Ну, не будет ее здесь, дом перейдет в другие руки, его заселит новая семья, с другим жизненным укладом. Все изменится, и уже ничто нельзя будет узнать.

Сидя в своей комнате, она мысленно покинула дачу и думала о ней со стороны, но приобретенная было легкость оказалась какой-то ненастоящей, какой-то слишком уж горькой, даже ядовитой, и яд этот был, оказывается, не вовне, а внутри, он от нее исходит, и Зинаида Мироновна вдруг отчетливо поняла, как несправедлива, как виновата перед Сережей, взвалив на него ответственность за свои горести.

Как можно ставить Сережу на одну доску с директором, когда он в действительности — олицетворение всего поселка, столь доброго к ней, столь расположенного к ее отцу. Уезжая отсюда, она предает поселок, и груз ответственности за сохранение памяти отца, который она сбросила с души, — это сладкий груз, это ее святой долг, и сама она может существовать лишь рядом и в связи с этой памятью. В этом ее долг и в этом ее жизнь.

Колокольцеву выпала долгая счастливая старость, и его дочери она тоже выпала, и за эти годы Зинаида Мироновна не изменилась — все так же похотывала, все так же много работала, все так же обстоятельно беседовала с Сергеем, угощая чаем. Она заботилась о даче, о памяти своего отца и ничуть не дряхла, а становилась все более бодрой, хотя дача подгнивала и постепенно приходила в негодность.

VIII

Потом началась полоса сильных морозов, даже старшекласники школу не посещали, сидели по домам. Во многих дачах померзли и полопались трубы парового отопления, хотя котлы не выключались — тепла не хватало.

Сергей дозвонился до Зинаиды Мироновны, чтобы сообщить о возможных неприятностях.

— Сережа, дорогой, большое спасибо за звонок, — голос ее был слабый, прерывался. — Я расхворалась. И Нюся тоже лежит пластом. У нас не дом, а настоящий лазарет...

Нюся — это дочка Зинаиды Мироновны. Она очень незаметно, но присутствует в доме своего деда. Ты ее редко видишь, но когда все-таки вы с ней сталкиваетесь, она в курсе всех дел. Если уж и она выбыла из строя, значит, положение крайне плохое.

Сергей самостоятельно договорился с бригадой проверить отопление в даче Колокольцева, но у коменданта второго ключа не оказалось.

— У директора узнаю, — пообещал комендант, но дело застопорилось, и никак не получалось проверить дачу.

Морозы не отпускали, а даже усиливались.

В один из выходных Сергей отправился на электричке в город, к Зинаиде Мироновне, за ключом от дачи. Улицы города точно вымерли, все было покрыто белесым инеем — и столбы, и деревья, и стены домов, и даже редкие прохожие были словно бы посыпаны пудрой. В метро люди были возбуждены, ближние переговаривались, дальние обменивались удивленными взглядами: жить-то, оказывается, и в таких условиях можно!

Зинаида Мироновна с белым, бескровным лицом от слабости еле на ногах держалась, при кашле морщилась от боли. Из Нюсиной комнаты раздавались раскаты кашля, и Зинаида Мироновна пережидала каждый такой взрыв со страдальческим лицом, прижимая к груди сцепленные руки.

Сергею она обрадовалась и сразу начала поить чаем. Сказать точнее — Сергей сам себя поил: ставил на газовую плиту чайник, потом разливал чай по чашкам в комнате Зинаиды Мироновны на низком круглом столике, а хозяйка сидела, укутавшись в теплый халат до пят, и расспрашивала гостя о поселке, о новостях, о работе. Видно было: скучает она в городе, хочется ей в поселок, на дачу, да не может.

— Такой морозище, что экскурсий, наверное, не бывает, — проговорила Зинаида Мироновна и добавила, с облегчением вздохнув: — Но это и хорошо. Музей не действует.

— Бывают, — сказал Сережа.

— Несмотря на стужу?

— Несмотря на стужу, Зинаида Мироновна. И порядочно.

Несколько раз он замечал возле дачи Колокольцева кучки народа, но спешил домой побыстрее оказаться в тепле и к даче не сворачивал.

Сергей рассказал, как однажды автобус с солдатами застрял в сугробе у дачных ворот и он двинулся на помощь. Но когда приблизился, автобус уже вытолкали.

Солдаты, некоторые даже без шапки, точно и стужи-то никакой нет, вытоптали снег перед воротами и пытались открыть калитку, да какое там — сугроб чуть не в человеческий рост. Тогда бойкий сержант перелез через забор и, по пояс в снегу, пробрался к дому — авось все-таки кто-нибудь да есть. Но, увидев заваленное снегом крыльцо, повернул назад.

— Музей что, не работает? — спросил сержант Сергея.

— Потеплеет — приезжайте.

— Обязательно! — пообещал сержант.

— Знают они про музей, интересуются, — прихлебывая чаек, сказал Сергей.

Зинаида Мироновна молча с любовью смотрела на него.

Договорились, что Сергей все на даче проверит и, если в этом есть необходимость, организует бумагу.

Трубы отопления на даче Колокольцева действительно промерзли. Как и в большинстве дач, прихватило морозом в ванной комнате, где трубы шли вдоль внешней стены и были плохо утеплены. Не полагаясь ни на чью помощь, Сергей после работы пришел сюда с паяльной лампой, прогрел трубы в хорошо ему известных по опыту местах. Вода забулькала, водопровод заработал.

Сергей обошел всю дачу и с радостью убедился, что хотя воду кое-где и прихватило, но ни одну трубу не прорвало. К ночи и отопление заработало по всему дому, он начал отогреваться, и Сергей, сняв телогрейку и надев очки с толстыми стеклами, устроился в библиотеке, рассматривая фотографии в книге о жизни и творчестве Колокольцева.

Это была не очень толстая, даже, можно сказать, тонкая книга, но какая-то удивительно вместительная. Не раз и не два Сергею доводилось перелистывать ее и все же каждый раз наряду с уже виденными находил еще одну, ранее не замеченную фотографию, а в уже знакомых различал новые подробности. Его тянуло к этой книге, всякий раз обещающей открытие.

Да и от старого замирала душа.

Морозы кончились, начались снегопады. Казалось бы, никакими силами не расчистить поселок, однако же по улицам проехал бульдозер, сгребая снег с проезжей части в кюветы, которые сейчас превратились в высокие насыпи.

Некоторые дачи, темные, необитаемые, продолжали спать, а может быть, и умерли, другие же вечерами светились огнями. Ожила и дача Колокольцева. В один из воскресных дней на дачном участке появилось много веселых молодых людей с лопатами. Они откидывали снег от ворот и распахнули створки, прочищали дорогу до гаража, отбрасывали снег от дачного крыльца, расчистили перед домом просторную площадку, открыв свету божьему лавочку, на которой в свое время Колокольцев любил посидеть в вечерние летние часы, а потом и Зинаида Мироновна облюбовала ее.

Зайдя в дачу, Сергей обнаружил внутри много молодых людей — точно старшеклассники или студенты на вечеринку собрались. Но это была не вечеринка, а уборка — гремели ведра, слышалось шарканье веников. Смех, переключка, звонкие указания и пререкания.

На Сергея и внимания не обратили. Сняв шапку и тщательное вытерев ноги о сетку, которую сам же прибил здесь, в прихожей, он прошел через большую комнату, ранее называемую гостиной, и постучал в дверь комнаты Зинаиды Мироновны. Он никогда бы не позволил себе такого при обычных обстоятельствах — ведь в эти часы Зинаида Мироновна работает. Но тогда в даче пусто и тихо. Теперь же другое дело.

— Да-да, войдите, — немедленно откликнулась хозяйка и, едва Сергей открыл дверь, начала весело рассказывать о том, что ее племянник оказал на нее нажим и привел сюда своих друзей и коллег по институту, молодых аспирантов и специалистов, а также студентов, которые взялись привести дачу в порядок — сначала чисто внешне, а затем предпринять и кое-что посерьезнее, а именно подправить фундамент, заменить подгнившие балки, отремонтировать крышу...

— Это хорошо, — сказал Сергей. — Только они понимают что-нибудь в этом деле?

— Говорят, понимают, — хохотнула Зинаида Мироновна. Давно Сергей не видел ее такой оживленной. Она даже покраснела от волнения.

— И я что-то сделаю, помогу.

— Ах, Сережа, вы и так столько делаете для меня, не знаю даже, как вас благодарить.

Сергей засмеялся. Зинаида Мироновна тоже засмеялась.

— Да вы, Сережа, садитесь.

— Да нет, я так пришел, с инспекцией...

Сергей потоптался, но все же сел, сложив с табуретки стопку книг на круглый плетеный стол, выслав свободное пространство, — стол и без того был завален книгами, папками, коробками с картотекой — всем необходимым Зинаиде Мироновне для работы.

Ты сидишь в этой единственной комнатке большой дачи, где мир Колокольцева вытеснен миром его дочери, и все же ты не можешь освободиться от мысли, что вот сейчас послышатся шаги за дверью и раздастся знакомый голос, сильный и высокий: «Зина, ты у себя?» И в дверях покажется приземистый румяный старик, почесывающий пальцем висок, заросший белыми волосами.

Ты не только думаешь об этом, не только вспоминаешь, но и ждешь этого, и раздающиеся за дверью чужие шаги, и стук в дверь, и появление какой-то незнакомой девушки в комнате Зинаиды Мироновны расстраивают тебя.

Девушка в растерянности — пришла экскурсия. Как быть?

— Объясните, что сегодня выходной.

Но оказывается, что люди приехали издалека и не согласны уезжать ни с чем, и тогда Зинаида Мироновна проводит экскурсию

по даче. Она провожает в библиотеку и в кабинет своего отца первую группу, человек пятнадцать, ты стоишь в прихожей под лестницей, ведущей на второй этаж, и с тревогой вслушиваешься в ее скрип, даже стон, и прикидываешь, сколько материала потребуется, чтобы ее починить. Уже давно зима.

Ах, какой чудесный зимний день! Сине-розовые снега, плотные сугробики на плюшевых еловых ветках, красные ошметки шишек на снегу под деревом (белка постаралась). Где-то петух прокричал совсем по-летнему. И лазоревое небо, и золотое солнце, слепящее сквозь заснеженные ветви, словно бы спрашивают: а ты помнишь лето?

Да, это настоящий мир, и так хочется быть причастным к этому миру, и под впечатлением от свидания с Зинаидой Мироновной и домом Колокольцева ты видишь самого Колокольцева, весело идущего тебе навстречу (он всегда шел как-то весело, энергично) со сдвинутой со лба шапкой-ушанкой из черной мерлушки, в длинном темном пальто, в серых валенках с галошами. Вот он приближается, вот он сейчас снимет шапку со своей белой головы и поклонится тебе...

Но нет, это не он, это кто-то совсем-совсем другой, сумрачный и чужой, с бледным отекившим лицом идет сквозь зимнюю красоту и праздник зимнего дня, окрашенного воспоминаниями, превращает своим видом в серые будни...

IX

Время от времени молодые люди появлялись в поселке, чтобы поддержать разрушающееся строение. Один из них, инженер, произвел расчеты, а остальные в течение двух или трех месяцев подвели новый фундамент под дачу, способный выдержать пятиэтажный дом. Были заменены прогнившие балки пола, так что он теперь не ходил ходуном под ногами и уже не было опасности для экскурсантов провалиться и пораниться.

Большие трудности у отряда, ремонтирующего дачу, были с крышей — получить кровельное железо со склада поселка не удавалось.

Зинаида Мироновна уже убедилась в том, что ее присутствие в поселке нежелательно, что от нее ждут не дождутся согласия на выезд.

— Видите ли, Сережа, — рассказывала Зинаида Мироновна, — они почему-то думают, что я цепляюсь за этот поселок. Это совсем не так. Я бы прожила и без него, хотя, нет слов, здесь очень хорошо. Не мои личные удобства держат меня здесь. Меня здесь держит память Колокольцева, моего отца. Они не хотят этого понимать. Не хотят. Им нет дела до памяти моего отца, а мне есть...

Понимая в глубине души, что ничего не добиться, Зинаида Мироновна все же отправилась к директору поселка с просьбой выделить на ремонт проржавевшей крыши кровельное железо.

Наступило очередное лето, зеленела молодая трава, пахло теплыми соснами, птицы посвистывали в полуодетых бузиновых кустах.

В распахнутые окна конторы Зинаида Мироновна увидела трех хорошо знакомых женщин — кассира, счетовода и бухгалтера. Одна из женщин, бухгалтер с одутловатым круглым лицом и в круглых очках, взглядевшись в Зинаиду Мироновну, добро ей улыбнулась и склонила голову в приветствии. Другие сделали вид, что не заметили ее.

Не успела Зинаида Мироновна появиться в дверях тесной директорской приемной, как секретарша директора, еще не вполне увядшая, яркая женщина в шелковом платье и с пышной прической, проворно поднялась из-за своего стола и скрылась в кабинете.

С трудом Зинаида Мироновна вспомнила ее. Когда-то это была худенькая девушка, всегда вежливо здоровавшаяся при встрече на дачных улицах, улыбчивая и добрая. Именно этим она и выделялась среди компании молодых людей. Здесь и Сергей был, и его жена, и еще несколько человек. Потом компания распалась, каждый ходил сам по себе, а та доброжелательная девушка вообще исчезла из поля зрения.

— Заходите.

Секретарша глядела в сторону, точно обращалась не к Зинаиде Мироновне, а к какому-то другому присутствующему здесь невидимому человеку.

Зинаида Мироновна даже оглянулась.

Директор поселка Виктор Тихонович, смуглый черноволосый человек восточного типа с заметной сединой, был целиком поглощен неким делом: вглядывался в бумагу так и этак, водил над ней ручкой в поисках пространства, где поставить резолюцию, но такого места не находил.

Зинаида Мироновна поздоровалась, назвав директора по имени-отчеству. Ответа не последовало.

— Разрешите?

Директор положил ручку, двумя руками поднял к глазам бумагу. Из-за бумаги раздалось:

— Да вы садитесь, садитесь...

— Я постою.

Зинаида Мироновна подошла к открытому окну, за которым видна была просторная заросшая травой поляна, за ней — причудливая ограда, состоящая из сложенных из кирпича столбов-башенок, соединенных деревянным, выкрашенным зеленой краской штакетником. Дальше, за рядом высоких разноствольных сосен светило голубизной и золотом позднее подмосковное утро.

Да, иначе встречал их с отцом Виктор Тихонович.

Помнится, приходили они сюда по поводу сторожки, напрочь прогнившей, покрывшейся плесенью, с провалившейся крышей. Колокольцев купил тогда новую машину — большой черный лимузин марки «ЗИЛ», и держать ее в такой развалюхе не представлялось возможным.

Виктор Тихонович сидел, излучая любовь и доброжелательность. — Ремонт? — переспросил Виктор Тихонович с наигранным удивлением. — Иначе поставим вопрос: требуется новый гараж в более удобном месте, верно? А это гнилое снесем назло врагу. Так? И, скажем, клумбу разобьем на том месте.

Все это говорилось легко, весело. Новая сторожка, более основательная, с высоким крыльцом и просторным помещением для автомобиля, была построена в конце того же лета, и Виктор Тихонович, смуглый, в легкой рубашке с короткими рукавами, в холщовой кепке — типичный дачник, — приходил принимать у рабочих готовый объект.

Вместе с Колокольцевым они долго стояли у распахнутых ворот гаража, и директор улыбался, показывая несколько золотых зубов. Зинаиде Мироновне показалось, что губы и язык у директора лилового цвета, и она подумала: будь директор собакой, его следовало бы опасаться. Она неожиданно хохотнула, и мужчины приняли ее смех за реакцию на очередную шутку Колокольцева.

Затем Виктор Тихонович зашепшил: с вами, мол, хорошо, век бы не расставался, да дела, дела, и, уходя, проговорил проникновенно:

— Вы же знаете, Мирон Иванович, я ваши просьбы всегда учитываю в первую очередь. И даже вне всякой очереди. — И добавил чуть тише: — Да не все в нашей воле... — И он поднял взгляд вверх — там, мол, вершатся дела.

Теперь же директор с приходом Зинаиды Мироновны остался сидеть, не пожал руку, даже на приветствие не ответил и, когда наконец приступил к разговору, не поднимал глаз от стола. Он сказал, что кровельного железа на крышу дачи Колокольцева отпустить не в состоянии — в поселке не менее десяти дач с худыми крышами, а вот железа не выделяют. Кроме того, общее состояние дачи столь плачевно, что одной лишь починкой крыши не обойтись, тут требуется капитальный ремонт.

— Да и то неизвестно, поможет ли это... — неопределенно закончил директор.

Зинаида Мироновна попрощалась, и тут, когда она уже переступила порог кабинета, Виктор Тихонович поднялся и проговорил другим тоном — теплым, доброжелательным, проникновенным:

— Вы же знаете, как я относился к Мирону Ивановичу...

И он поднял взор, как некогда.

«Подлец», — подумала Зинаида Мироновна, покидая контору.

Х

На очередном собрании рабочих и служащих ремонтно-строительного управления директор, признав работу за отчетный период удовлетворительной, похвалив кое-кого за особое усердие, в том числе свою секретаршу Галину Николаевну, вдруг сердито заговорил, почти прокричал, что некоторые арендаторы прямо-таки злостно,

если не сказать — преступно, занимают дачи, хотя по всем правилам и положениям им следовало бы эти дачи давно освободить.

— Вот дача Колокольцева... — Директор, как бы с трудом сдержавшись от еще более гневных разоблачений, сделал паузу и посмотрел на Сергея. — С ней подлинное безобразие творится. Тут присутствуют люди, которые не дадут соврать!

Он снова посмотрел на Сергея, но тот отвел глаза в сторону, демонстративно уставившись в угол. Ври, если хочешь, я лично даю тебе соврать, но на меня не кивай. И директор продолжал:

— Стоило лишь Колокольцеву умереть, как его дочь буквально начала нас терроризировать: из дачи не выезжает, не дает присутствию к капитальному ремонту, а время уже давно припело. Хотя тут уже не ремонтом пахнет, а совсем другим. Мы вот здесь внимательно все рассмотрели и пришли к такому выводу: вообще этот дом снести. На какой срок службы он рассчитан? На сорок лет. А стоить сколько, а?..

Все сидели тихо, вроде слушали, в действительности же ждали, когда говорильня закончится. Ни с кем из присутствующих никогда не советуются, кого именно поселят в освобождающиеся время от времени дачи, на каком основании и почему вдруг ни с того ни с сего, когда арендатор умирает, необходимо эти дома бросать людям, которые там живут, и старым, и детям. Ведь не из милости живут, а за большие деньги.

Не успел директор высказаться, поднялась и начала говорить Галина Николаевна — тихим голосом, еле слышно, и лицо такое горестное-горестное:

— Конечно, товарищи, снести дачу Колокольцева — самое лучшее. И по-хозяйски будет.

Директор улыбнулся:

— Вот видите? Что называется, в воздухе идея носится.

— Да как же сносить? А музей?

Это Сергей спросил. Он произнес этот вопрос сам для себя, тихо, но в сонной тишине голос прозвучал отчетливо, всем слышно, и тишина из сонной вдруг превратилась в звенящую тишину ожидания и тревоги. Все словно бы проснулись и насторожились. И голоса начали раздаваться:

— Музей?

— Какой музей?

— Это кто сказал?

— Серегин это сказал, — строго произнесла Галина Николаевна, даже не обернувшись в сторону Сергея. Тут прораб вскочил.

— А вот с Сергиным следует особо поговорить, — прокричал он.

Директор только бровью шевельнул, и прораб сел на место, голову втянул в плечи и снова стал незаметным-незаметным.

— Нельзя нам, товарищ Серегин, заниматься самостоятельностью, — проговорил директор тихо, но так, чтобы всем было слышно. — Вот вы ходите к Колокольцевой, своими силами пытаетесь что-то там подправить, приколотить и прочее и прочее. А ведь дело

это совсем-совсем не такое безобидное, как может некоторым показаться. Ну что там — пришел, помог. Так? Но ведь если наше ремонтно-строительное управление не помогает, значит, причины какие-то есть, а? Может такое быть или не может?

— Отчего не может? Может, — проговорил кто-то смешным голосом, и директор охотно засмеялся. Однако тут же продолжал серьезно:

— Но, допустим, не наше дело, как Серегин время проводит. А вот наше дело — материалы для такой левой помощи. А время? Ведь какой вывод можно сделать? Вы у государства занимаете время для личного обогащения.

Сергей сидел красный. Он взмок от волнения, ему хотелось закричать, объяснить, но он лишь прохрипел:

— Какое обогащение! — и тут же осекся: не надо кричать, не надо внимания обращать. Ведь на это директор и рассчитывает. Но попробуй сдержись, когда сердце начинает ломить, и кровь в голову бросается, и жизнь твоя на ниточке повисает!

— Тише, товарищ Серегин, тише! Это я только предполагаю. Вы, допустим, работаете в ваше свободное время, которое вам отводится для отдыха. Что из этого следует, товарищи? А то, что вы не так хорошо отдыхаете, недостаточно восстанавливаетесь и, значит, ваш труд на основной работе уже не такой производительный. Отдача ваша уже меньше. И порой — значительно меньше, верно же, товарищ Серегин?

Что сказать? Как оправдаться?

Все собрание весело зашевелилось — иначе, как шутку, эти слова директора и не понять, хотя вид у него очень серьезный.

А директор продолжает:

— Спору нет: Колокольцева Зинаида Мироновна — женщина обеспеченная, в состоянии заплатить, и неплохо заплатить, верно? Но ведь, товарищи, должна же быть у нас своя рабочая гордость? И тут приходится с сожалением констатировать: условия дачного поселка на некоторых действуют, прямо скажем, разлагающе...

— А с Серегиным мы еще будем разговаривать...

Из той, настоящей жизни Сергей слышит смехи, кто-то недовольно басит что-то невнятное — то ли поддерживает директора, то ли, наоборот, высказывает недовольство. Да только никого слова директора не тронули, не задели за живое, но дали понять, что ты, Серегин, в чем-то провинился и теперь директор с тобой рассчитывается.

Вместе со всеми Сергей вышел из конторы в осеннюю теплую тьму и зашагал в одиночестве, весь в своих горьких размышлениях.

Нет, невозможно оправдаться!

XI

Ты почти ничего не делаешь на работе после обеда, сидишь на пеньке, благо дождь перестал моросить, даже как-то просветлело, вот-вот солнышко вечернее покажется, думаешь, подремываешь: все равно твоя работа от тебя не уйдет, да и не сделает ее никто за тебя.

Иван Данилович, серьезный мужик, плотник, присаживается на корточке возле тебя, закуривает сигарету «Прима», смотрит перед собой, щурится от дыма, который словно бы сам собой просачивается из его рта и носа и вверх ползет по морщинистому лицу.

— Серчает что-то начальство на Колокольцеву дочку, а?

— А пусть серчают, — отвечаешь ты.

— Да и на тебя что-то шипят...

— А пусть шипят, если шип есть.

Иван Данилович молча сидит, потом вдруг смеется коротко, невесело:

— Шип-то у них завсегда найдется.

— Нам с тобой, Данилыч, на их шип наплюнуть и растереть, — говоришь ты. — Не наше, конечно, дело, как они поступают, но сыплется колокольцевская дача, а это куда не годится.

Иван Данилович соглашается: да, мол, сыплется. И добавляет:

— Может, у них такой план, чтоб рассыпалась.

Теперь уже ты соглашаешься:

— Вполне возможно, вот они и сердятся, что медленно сыплется...

— А почему? — спрашивает Иван Данилович и сам же отвечает: — Народ не дает, понял?

Он пытается сидя извлечь из кармана штанов пачку сигарет, но у него не получается, поэтому он встает, закуривает новую сигарету и снова усаживается на корточке рядом с тобой.

— Вот и люди посторонние стараются, — говорит он.

— Еще как стараются.

— Да и ты тоже, Андреич, свое дело знаешь.

— Помогаю мало-мало, — говоришь ты. — Грех не помочь Зинаиде Мироновне по силе возможности. Память глубоко сидит, Мирон для меня много значил.

Иван Данилович снова соглашается:

— Много-то много, да ты смотри.

— А чего смотреть? Наше дело простое, рабочее. Свою работу выполняю без нареканий, по совести.

— По совести... — задумчиво повторяет Иван Данилович, снимает с лохматой головы толстую кепку, натягивает по самые брови и говорит строго, деловито:

— Пойти поработать, — и отходит.

К концу дня в кабине грузовика с трубами приезжает прораб. Ходит, смотрит.

— Все сидишь? — спрашивает строго. Глазки злобно сверкают.

— Сижу, — отвечаешь.

— А ты не сиди, а работай!

— За мной дело не станет.

— Ну, смотри, Серегин, мы тебя терпеть не будем.

— Ваше дело терпеть, мое — работать, — отвечаешь ты и добавляешь: — Работы везде навалом.

— Вот и хорошо!

Ты чувствуешь угрозу в его словах, в тоне разговора. Видно, настропалили его, может быть, даже Галка, а то и выше бери.

А, ладно, не хочется голову ломать, но тут главное с позиции не сходить. И все же ты пугаешься — не сильно, но тревога все же сидит в тебе, хватает за сердце, сжимает его.

Конечно, ничего сложного в твоей работе нет, просто опыт нужен и немного сообразительности, но это быстро приходит, если голова варит. Правда, другой на твоём месте затырывается, запутает все. Так уже не раз бывало. И все же никакой ты не незаменимый. Уйдешь отсюда — на твое место другой придет. Пусть не так хорошо, не так ловко, как ты, но все-таки работу сделает, и объект примут.

А вдруг действительно что-то задумало начальство? Выгонит с работы, и все. Куда деваться? Работу, конечно, всегда найдешь, может, даже и побольше платить станут, да ведь на новом месте придется ли по душе. А как объяснишь, зачем старое место бросил?..

С этими мыслями ты проходишь через лес, мимо останков твоего дерева. А неподалеку новое лежит. Все никто не распилил его, не вывезет. Да кому оно нужно? Упало и упало.

Жалко, хорошая древесина, полная души...

И вот ты уже на дачной улице.

Один лишь фонарь горит вдали, слабо освещает глянцевую ленту, вернее, ее останки. Черный асфальт, засыпанный мокрыми желтыми листьями. Туман косо висит тонким пластом над дорогой.

Тебе не хотелось бы свидетеля, что ты идешь к Колокольцевым. Пусть ты еще далеко от цели, еще вся улица впереди, да любому ясно, куда ты направляешься.

И свидетель находится. Какая-то мрачная фигура возникает из темноты. Вы сближаетесь. Ты видишь сосредоточенное лицо пожилого человека, погруженного в думы. Оно словно бы из кости вырезано и до блеска отполировано. Неживое лицо, только глаза живые — черные и пронзительные.

Кто это, как попал сюда, в этот глухой вечерний час? Ты оборачиваешься раз, другой: не смотрит ли на тебя незнакомец? Нет, не смотрит и в конце концов вообще исчезает — нет его, и все!

Неужели страх?

С этим чувством ты доходишь до знакомых ворот и сейчас замечаешь, как покосились подгнившие столбы. Калитка, приоткрывшись, уперлась в землю. Ты приподнимаешь ее и отводишь в сторону, затем таким же образом закрываешь за собой.

Дача темная. Совсем как и другие дачи, оставленные жильцами до следующего летнего сезона. Неужели никого? Не может быть, ты знаешь, Зинаида Мироновна здесь, и все же сердце замирает от

грусти, ему больно, пока ты шагаешь по дороге к пустому, давно уже заброшенному гаражу и, лишь свернув за куст, видишь освещенное через тамбур крыльцо, а за ним, на мокром песке, светлую полосу из окна.

Окно высоко над землей, лишь приподнявшись на цыпочки, можно увидеть часть комнаты Зинаиды Мироновны и саму хозяйку. Она сидит в плетеном кресле. Перед глазами у нее дощечка, на которой покоится лист бумаги, освещенный из-за спины какой-то особой лампой. Покойный электрик Миша сам смастерил ее специально для Зинаиды Мироновны — чтобы бумага хорошо освещалась и чтобы лампа не мешала откинуться в кресле.

Одета очень скромно, совсем скромно — в синей вязаной кофте с большими пуговицами, в темной длинной юбке. Белая голова — совсем как у ее матери. Волосы покрыты сеткой. На плечах — серый пуховый платок.

Чуткое ухо Зинаиды Мироновны улавливает звук твоих шагов, она поворачивается к окну, кричит:

— Это вы, Сережа? Заходите, я вам открою, — поднимается и идет к двери.

Откуда она знает, что это ты? Ты знаешь, откуда она это знает, и тебе приятно: сейчас, в этот глухой час, к ней может зайти только близкий человек, а здесь таких нет, в поселке. Кроме тебя...

Зинаида Мироновна задерживает тебя, предлагает чаю, но ты отказываешься, и вы с ней просто, без всякого угощения сидите в уютной комнате и беседуете о судьбе дачи.

Какой там страх!

Чувство признательности наполняет тебя, ты всей душой любишь эту старую женщину, такую живую, как девочка, такую решительную, проницательную и добрую, хотя она очень зло говорит о тех, кто хочет прогнать ее отсюда.

Кресло, в котором сидит Зинаида Мироновна, старое, потемневшее от времени и сырости. Столик рядом с креслом — из того же летнего семейства. Еще один стул, тумбочка перед высокой тахтой, покрытой старым пледом в коричневую клетку. На стенах — фотографии в тонких металлических рамках. Аккуратная работа. Люди на фотографиях не застыли, они живые, и на сердце у тебя теплеет, когда ты случайно взглядываешь на них, на эти бледные изображения, полные жизни. Той настоящей жизни, которая никуда не уходит, а есть всегда и в которой живут и Колокольцев, и теперь уже электрик Миша, и другие.

Очень скромно, даже скудно живет Зинаида Мироновна, но ее это устраивает, она сама этого хочет, и трудно ее представить в другой обстановке, например с полированной мебелью или хрустальными люстрами. Вряд ли в другой обстановке можно так четко мыслить, так весело смеяться, быть такой проницательной и душевной.

Зинаида Мироновна вдруг спрашивает:

— А у вас, Сережа, не будет неприятностей?

Она словно бы мысли твои читает. Ты краснеешь. Ты мог бы сделать вид, что не понимаешь вопроса. Какие неприятности? Почему

неприятности? Но ты отвечаешь, преодолевая неловкость, отчего тебе самому сразу же становится легко:

— Не знаю. Может быть, и будут.

— Какие же? Что они с вами могут сделать?

— С работы прогнать.

— Вы шутите! — восклицает Зинаида Мироновна. Она встревожена.

— Не выгонят, — говоришь ты уверенно. — Хотеть, может быть, кое-кто и хочет, но не выгонят.

— Почему же вы так уверены?

— Не знаю, — отвечаешь ты, но ты не уверен. — А вот что они с вами могут сделать?

— Все что угодно, — говорит Зинаида Мироновна. — Выбросят на улицу вещи, фотографии — все-все. Вот что они могут сделать.

— Не сделают! — решительно заявляешь ты. — Не сделают, потому что народ не позволит.

Сказал — и самому стало неловко: если уж придет милиция, ничего не поделаешь.

— Да нет, — словно бы отвечая на какие-то свои мысли, произносит Зинаида Мироновна. — Я вовсе не цепляюсь за этот поселок. Но куда же мне поместить все эти вещи? Они же бесценны. Вся жизнь моего отца здесь прошла. Нет, не вся, конечно...

— Он здесь долго прожил, — вставляешь ты.

Потом разговор пошел какой-то торопливый, слишком уж взволнованный, и ясно было, что это лишь слова, что никогда не произойдет того, о чем вы говорите как о неизбежном. И все же вы продолжаете это обсуждать, прикидывать, планировать.

— Конечно, надо быть готовыми ко всему, — тихо заключает Зинаида Мироновна. — Нельзя, чтобы нас застали врасплох.

Она замолкает, а ты горячо говоришь:

— Зинаида Мироновна, вы, пожалуйста, можете какие-то вещи у меня держать. Они не попортятся и, конечно, будут в полной сохранности.

И твоя жена, и дети будут очень рады помочь Зинаиде Мироновне, ты в этом уверен...

— Спасибо, Сережа, конечно же, я такую возможность буду иметь в виду. Спасибо большое, даже не знаю, как вас благодарить...

Ты уходишь, и она остается — пожилая женщина одна-одиношенька в большой разрушающейся даче, среди мокрого осеннего леса, в опустевшем поселке.

ХII

Не заходя домой, сворачиваешь к подъезду, где живет Галя, секретарша директора.

— Загляните, Сергей Андреевич, вечером.

Это она тебя утром еще попросила, когда вы столкнулись во дворе: ты из своего подъезда выходил, направляясь на работу, она — из своего.

Как она изменилась, хотя и ты давно не юноша.

— Зайду, Галь, зайду...

— Не забудь!

— Не забуду.

Что-то у нее стряслось — унитаз засорился или с водопроводом неполадки. Может быть, сальник заменить или новый кран поставить.

Она тебе дверь открыла, а сама уже снова в комнату вернулась:

— Заходи, Сережа, чего остановился?

Из прихожей виден накрытый стол, бутылка, закуски.

— Какие проблемы? — спрашиваешь.

— Нет никаких проблем, раздевайся, проходи!

Раз уж тебя не по делу позвали, а так, в гости, не следует здесь оставаться, но ты проходишь в комнату. И вот уже водка вливается в тебя, сначала одна рюмка, потом другая.

— Ну все, хватит, — говоришь ты строго, но и от третьей не в силах отказаться, и продолжаешь сидеть за столом, и нарядная Галя напротив тебя сверкает глазами и серьгами.

— Ах, Сергей Андреевич был парень — ну, парень, влюблена же я в него была! Он и сейчас хорош! — Ее гость, не ты, а второй, оказавшийся здесь же, в комнате, пристально на тебя смотрит. Злая, глупая рожа, хотя и улыбается, делает вид, что добряк. Даже подмигивает в Галину сторону: вот, мол, как женщину развезло.

Да, конечно, Галя и сейчас к тебе неплохо относится, хотя, по-человечески считать, ты ее в свое время сильно обидел. Но ведь сердцу не прикажешь. Да и хотя она и говорила, что к тебе равнодушна, но все как-то легко выглядело, не по-настоящему. Не то что у тебя с будущей женой, ее подружкой.

Что-то особое в Галином взгляде угадывается, из старых времен, вроде еще можно с ней по-человечески поговорить, она поймет. Но весь облик ее — совсем чужой, враждебный, и ты понимаешь: не зря тебя сюда позвали.

— Так ты пей, Сережа, — Галя поднимает бутылку, хочет снова налить, но ты резко отставляешь рюмку в сторону, даже грубо получилось. Но ведь ты же сказал: стоп!

Хмырь подмигнул:

— Пей, пей, еще есть!

— Все... Хватит... Спасибо...

Хмырь тревожит тебя, раздражает. Уж больно он какой-то свойский, уж больно он тебя хорошо знает, так хорошо, что и подмигнуть можно.

Но вот ты-то его не знаешь, тебе он чужд, и, глядя на него, даже какую-то тревогу испытываешь. Чуть ли не страх.

Словно бы он имеет над тобой какую-то власть. А какую он может иметь власть над тобой? Ему бы сидеть да помалкивать!

— Раз уж дела до меня нет, пойду, спасибо за угощение...
— Нет уж, постой, — говорит строго хмырь с улыбкой-гримасой. Он пьян или вид делает. А может быть, и то, и другое. — Ты уж послушай хозяйку, Галину Николаевну.

— Да, Сережа, — говорит Галя. — Как там у Зинки дела?

— Вот именно, чего у нее новенького? — добавляет хмырь.

— У какой Зинки?

— Не понимаешь?

— Он не понимает!

Нет, ты все понимаешь: они интересуются дочерью Колокольцева, Зинаидой Мироновной. Ты и возмутиться не успеваешь, а они уже завели между собой разговор, какая Зинка вредная да хитрая и как она в дачу вцепилась и освобождать не хочет. Придется ее с милицией вытряхивать. Хмырь вскакивает с места, бьет ладонью о ладонь:

— Ну и наглые бывают бабы!

Что они в водку подмешали? Красный туман заливает глаза, гудит в башке, сердце от злобы разрывается.

— Это кто же наглый? Кто же наглый? — шепчешь ты.

В глазах светлеет, сердце отпускает, снова ты все видишь отчетливо, и хмырь снова сидит на месте, а ведь только что чуть ли не с кулаками полез.

— Да ладно, он глупенький!

Галина с издевкой смотрит, зло. Ничего в ней не осталось от той веселой и простодушной девчонки, красавицы.

— Ты пойди к ней и скажи, пусть одумается. Прямо завтра и скажи: съезжай с дачи. Люди все видят, пусть знает!

«Люди все видят, верно», — хочешь сказать, но вместо этого говоришь другое:

— Значит, за этим ты меня и звала, Галина Николаевна?

— Не умничай! — кричит она и уже поспокойнее, словно бы себя в руки взяла: — Дело серьезное. Ты здесь в поселке не простая пьянь болотная, ты здесь рабочий класс, а не дачник какой-нибудь.

— Слушай умную бабу, — громко прошептал хмырь, и снова вместо улыбки гримаса получилась.

Уже темно, дождь поливает — только что начался.

Ты из Галиного подъезда выходишь, а из соседнего, твоего, выбегает женщина, худенькая и озабоченная, и направляется к полотенцу, одиноко светлеющему в сумраке на невидимой веревке.

— Совсем сдурела, память отшибло... — бормочет женщина, и ты вдруг узнаешь в ней свою жену.

— У нее был? — спрашивает жена, когда ты подкрадываешься к ней и начинаешь снимать с веревки высохшее и вновь намоченное полотенце. — Чего она хотела?

— Да так, — отвечаешь ты. — Болтовня. Ля-ля.

— Она просто никогда не болтает. Ей всегда чего-то надо.

— И сейчас ей тоже что-то надо.

— А что ей надо?

— Расскажу.

Вы поднимаетесь домой. Детей нет.

— Садись, поешь.

— Я не хочу.

— Ну ладно, хватит! — с раздражением говорит жена. — Садись и ешь!

Ты садишься и ешь.

Да, ты пришел домой, это твой дом, и ты понимаешь: он всегда такой родной, теплый, хотя не каждый раз это доходит до тебя. И эта постаревшая, увядающая женщина — твоя хрупкая Лиза.

Рассказывая о разговоре с Галей, о водке и о том хмыре, ты сердисься, изо рта у тебя вылетают брызги. Да, тебе противно вспоминать о разговоре, который произошел у Гали, но сердисься вовсе не на них, а на свою жену, потому что к сердцу вдруг подступает ревность. Это чувство распялет тебя, и тебе стыдно от сознания того, что жена понимает твое душевное состояние и лишь из-за какого-то великодушия делает вид, что ничего не понимает.

Но и сам рассказ таков, что может вывести из себя кого угодно, и тем более жену, которая с большим почтением относится к Колокольцевым.

Потом вернулись дети, потом все улеглись.

А вы долго не спите, как в молодости, и разговариваете о Зинаиде Мироновне, о Гале, и вы приходите к выводу, что над дачей Колокольцева сгущаются тучи, что они давно сгустились и теперь начальство готовится к какому-то серьезному действию.

Лицо жены строго, даже зло, когда она вдруг восклицает:

— Вот она, человеческая подлость!

ХIII

На следующий день в обед ты идешь к Зинаиде Мироновне, но вовсе не для того, чтобы передать ей Галино предупреждение. Пусть сами говорят!

У ворот дачи Колокольцева ты еще издали замечаешь толпу. В ней было что-то тревожное, у тебя даже сердце заныло, и ты начал тереть грудь рукой, словно бы боль в сердце можно так победить. Но подойдя поближе, ты с облегчением понял, что это очередная группа экскурсантов пожаловала.

Люди стоят возле калитки, переговариваются, озираются. Странная картина — люди в городских одеждах, туфельках и полуботинках, ждут чего-то на грязноватой улице дачного поселка под морозящим дождем.

Ты проходишь сквозь редкую толпу в ожидании вопроса. Молчание. Ты открываешь калитку и по размокшей дороге со свежими автомобильными следами, наполненными темной водой, шагаешь к дому. На изгибе этого короткого пути ты сталкиваешься с солидным мужчиной в длинном плаще, задранном на высоком животе. Из рукавов плаща выглядывают рукава клетчатого пиджака. Седая

плешиная голова обнажена. От неожиданности он ойкает, потом поднимает руки, словно бы стараясь тебя задержать. Но ты и так останавливаешься.

— Будьте любезны сказать, работает ли музей Колокольцева?

— Музей работает, — уверенно отвечаешь ты.

— Да? — оживляется мужчина. — А мы вот никак достучаться не можем.

Музей работает в том смысле, что существует, действует, но открыт ли он именно сегодня, ты не знаешь, не помнишь расписания.

Ты идешь к дому, поднимаешься на крыльцо, нажимаешь на кнопку звонка под жестяным козырьком (твое изобретение) и в ожидании, пока тебе откроют, проходишь в застекленный тамбур.

Ты слышишь, как солидный мужчина кричит странным для своей комплекции, звонким, высоким голосом:

— Товарищи, скорее сюда, сейчас нас пустят!

И вскоре вся компания уже собирается у крыльца дачи, кто-то уже поднялся на крыльцо, кто-то заходит в тамбур и, отдуваясь, начинает доставать из просторной коробки в углу и приспособливать на собственную обувь музейные тапочки с тесемками. А тебе-то еще никто и дверь не открыл.

— Рано, — говоришь ты.

— Что — рано? — оборачивает к тебе покрасневшее лицо полная женщина в музейных тапках.

— Рано тапочки стали надевать, — отвечаешь ты, потому что тебе уже ясно: в даче никого нет и музей, следовательно, сегодня не работает.

Достав из внутреннего кармана очки с толстыми захватанными стеклами, читаешь расписание работы музея. На половине тетрадного листа, приколотого к дерматику двери двумя булавками, неровными, но разборчивыми буквами рукой Зинаиды Мироновны написано, что «вторник — выходной». Солидный мужчина посапывает над твоим плечом.

— Сегодня вторник, — говоришь ты, снова пряпывая очки.

— Товарищи! Сегодня вторник? — переспрашивает с негодованием мужчина.

— Сегодня вторник. Вторник. Конечно, вторник, — сыплются ответы, и совсем детский голосок:

— Что ж нам делать, товарищи?

— А вот то и делать! — восклицает солидный мужчина.

Они нехотя покидают тамбур, спускаются с крыльца. Кто-то по забывчивости выходит в уже надетых музейных тапочках и чуть не падает на мокрой дорожке, споткнувшись о распутившуюся тесемку.

Да, в доме никого нет, но, раз уж ты здесь, следует посмотреть, все ли в порядке.

Ты снимаешь с тайного гвоздика за котлом в пристройке ключ от дачи,ходишь в темную прихожую, заглядываешь в ванную, затем в кухню, щупаешь батареи парового отопления. Они горячие.

В большой комнате и в комнате Зинаиды Мироновны тоже тепло. Ты решаешь подняться наверх и уже ступил на лестницу (она все-таки пошатывается), как входная дверь приоткрылась.

— А может быть, вы нас пустите? — спросила та самая женщина, что надела тапочки.

Экскурсанты, оказывается, еще не уехали! А, что там, пусть смотрят!

— Только осторожно!

— Конечно!

— И ничего не трогать!

— Как можно! — с испугом воскликнул солидный мужчина, который уже протиснулся в прихожую вслед за женщиной, вот он уже кричит звонко на улицу через открытую дверь: — Товарищи! Идите сюда, нас пустили, но только ничего не трогать!

Сначала ты молча ходишь из комнаты в комнату, показывая посетителям дорогу, но слово за слово — и вот уже рассказываешь все, что помнишь о Мироне Ивановиче, знаешь от Зинаиды Мироновны, и даже вспоминаешь, как Ирочке учительница не поверила, что ее сам Колокольцев грамоте учил.

Эта история всем нравится.

— А Мирон Иванович действительно ее учил? — спрашивает тот самый детский голосок. Он принадлежит пожилой женщине, почти старушке, с маленьким морщинистым личиком и большими навыкате глазами — добрыми, но одновременно недоверчивыми, сомневающимися.

— Вот она, всенародная слава, — высоким голосом восклицает толстяк; победно оглядываясь, словно Колокольцев именно ему обязан этой славой.

Экскурсия заканчивается. Ты выпроваживаешь из дома посетителей, но они еще долго не уходят с участка, осматривают потрескавшуюся штукатурку внешней стены, и в разговорах их смешивается восхищение Колокольцевым и его дочерью, которой удается поддерживать дом, и неприязнь к тем, кто не хочет привести дачу в порядок. А ты возвращаешься на работу.

Оставшись один, ты установил трубу отопления в дальнюю от котла комнату, хорошенько затянул муфты, пустил воду. Проверил тщательно. Вода нигде не сочится. Маляры могут приступить к работе. Все уже давно разошлись по домам, и ты закрываешь объект, запрытываешь ключ во внутренний карман, чтобы утром передать его малярам, складываешь инструмент в чемоданчик и отправляешься вояси.

Смеркается, дождь снова полил, вокруг стоят мокрые деревья с потемневшими стволами, и очень одиноко, грустно. В конце мокрой улицы, которая словно бы сама по себе излучает свет, а не отражает небо, ты видишь женскую фигуру — высокую и стройную.

«Ах, как хороша!» — думаешь ты, но вдруг тебя что-то острое ударяет в сердце, так, что дух захватывает, ты даже не успеваешь чемоданчик поставить — он сам вырывается из рук и стучается об асфальт.

Если сейчас не отпустит, ты умрешь.

Нет, ты не умрешь, боль отпускает, притаившись где-то в тени, за грудной клеткой, готовая снова наброситься на сердце. Главное — не бояться. Ты поднимаешь тяжелый чемоданчик и тут видишь дочку, в которую превратилась та стройная женщина.

— Что, папка, что?

— А что? — переспрашиваешь ты. — Вот инструменты уронил, и все. Ручка оторвалась.

— Ничего подобного, она не оторвалась.

— Я хотел сказать — выскользнула... Ничего, все в порядке.

Дочка пытается взять у тебя из рук чемодан, но ты не даешь. Она все-таки ухватывает часть ручки, и ты чувствуешь облегчение. Теперь тебе уже совсем хорошо.

Вы идете с дочкой по лесной дороге, и ты рассказываешь ей об экскурсии, которую провел на даче Колокольцева.

— О чем ты им говорил?

— Обо всем, что знаю.

— А ты им рассказал об учительнице, которая мне не поверила?

— Конечно, сказал.

— Молодец! — И прижимает к твоей колючей щеке свою щеку, нежную и прохладную.

XIV

Как-то вечером на дачу Колокольцева позвонила секретарша директора:

— Нет ли у вас Сергея Андреевича?

— Сергея Андреевича? — переспросила Зинаида Мироновна, не сразу сообразив, что речь идет о Сереже. — Нет, его здесь нет. Если он вам нужен, я могу дать его адрес.

Секретарша рассмеялась:

— Какой там адрес — мы же с ним соседи и вообще старые друзья.

— Очень приятно.

— Так он заходил к вам?

— Нет, не заходил. Что-нибудь случилось?

— А что могло случиться? — в свою очередь спросила секретарша.

Разговор складывался какой-то странный, непонятный. Зинаида Мироновна не могла сообразить, в чем его смысл, и, как всегда в таких случаях, начинала сердиться:

— Но вы же его разыскиваете, не так ли?

— Почему вы решили, что я его разыскиваю? Я просто хотела узнать, не был ли он у вас. Ведь он же у вас бывает?

Зинаида Мироновна спросила холодно:

— Так что же вам угодно?

— Ах, вы так заговорили! — в голосе секретарши послышалась

злоба. — Но мне лишь нужно узнать у вас, не передал ли вам Сергей Андреевич совета — по-хорошему съехать с дачи, не доводить дело до суда!

— До суда?! — воскликнула Зинаида Мироновна. — До какого еще суда?

— А то вы не понимаете! — с издевкой проговорила секретарша и тут, словно бы вся злость вышла из нее, проговорила мягко: — Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

— Какое дело? Что вы имеете в виду? — заволновалась Зинаида Мироновна, но в трубке уже раздавались короткие гудки.

Через несколько месяцев после того странного разговора по почте пришла официальная бумага. Гражданке Колокольцевой Зинаиде Мироновне предписывалось к определенному дню выехать с дачи со всеми своими вещами, в противном случае к десяти часам утра выселение будет проводить судебный исполнитель с помощью милиции.

Да, дело приняло серьезный оборот, и хотя Зинаида Мироновна в глубине души была уверена, что все это чья-то нескладная шутка, может быть, даже проделки секретарши директора, все же решила подготовиться к выселению. Договорилась с Сережей, что именно из мебели он поместит в своем сарае. Московские знакомые тоже разобрали кое-какие вещи. Так что под открытым небом ничего не окажется. Что делать со всем этим обилием вещей потом, после выселения, где их хранить — об этом думать не хотелось: сердце не выдержит!

Настал означенный в официальной бумаге день выселения.

Зинаида Мироновна, ночевавшая накануне в Москве, с восьмичасовой электричкой приехала в поселок и принялась ждать.

Ничто в доме не сдвинулось с привычных мест, ибо было решено начать складываться и выносить вещи лишь с приходом судебного исполнителя, и никак не раньше.

К десяти часам на даче Колокольцева собралось не менее десяти человек, которые, прослышав о намечающейся акции, явились, чтобы выразить свое возмущение, а также при необходимости помочь Зинаиде Мироновне с переездом.

К назначенному времени ни судебный исполнитель, ни милиция не появились. Прождали час. И всем стало ясно: выселения на сей раз не будет.

Все собравшиеся были люди достойные.

Зинаида Мироновна знала о том уважении, которое к ним питал ее отец, и теперь нравственная ценность этих людей в ее глазах еще более возросла, ибо отца уже не было в этом мире, а люди продолжают его любить и дорожить его памятью.

Был здесь и один подозрительный человек — суетливый седой старичок, который двигался с живостью школьника и возникал то здесь, то там, пылко поносил начальство, однако же немедленно ступшевывался, лишь только его случайный собеседник подхватывал разговор. Он слушал столь внимательно, с таким почтением, что,

казалось, готов прилечь у ног говорящего, чтобы показать свою безграничную собачью преданность и в то же время не пропустить при этом ни одного слова.

Все кипели от возмущения, не поздоровилось не только директору поселка, но и начальству творческого фонда, уличенному в нечистоплотности, взяточничестве, кумовстве, а также во всепоглощающей занятости своим материальным устройством и полнейшей непричастности к народной культуре.

И суетливый старичок был тут как тут.

Несколько раз на него наталкивались в темной прихожей, где он, пытаясь пристроить очки к своим подслеповатым глазам, заносил какие-то записи в большой блокнот. Потом он с трудом запикивал свой блокнот в наружный карман поношенного пиджака неопределенного цвета и фасона.

Зинаида Мироновна, обменявшись с гостями недоуменным взглядом, подошла к любопытствующему старичку:

— Простите, не припомню вас — кто вы такой?

Человечек засуетился:

— Да, да, не мудрено, что вы меня не знаете, я же вас знаю чудесно. Мы частенько встречались с Мироном Ивановичем в свое время. Да и в последние годы я как-то сюда приезжал, именно в поселок, сопровождал одного иногороднего гостя к Миرونу Ивановичу. Да вы вряд ли меня запомнили.

— Что-то не очень...

— Да вас, кажется, тогда и не было, если не ошибаюсь.

— Пожалуй, не было, — согласилась Зинаида Мироновна.

— Гоните вы его отсюда, не стесняйтесь, — громко прошептала Зинаиде Мироновне один из учеников Колокольцева, теперь уже сам человек пожилой, но все еще очень привлекательный — высокий, с пышной сединой, смуглым худым лицом и длинными руками игрока в теннис.

— Помилуйте, — сказала Зинаида Мироновна, однако же готова была так поступить, попадись ей незнакомец на глаза. Но тот исчез, растворился. Больше его никто не видел в доме Колокольцева. Но присутствие его здесь в столь странный день было подозрительно и придавало всему какой-то грязный оттенок, оставляющий на душе осадок.

Все рассматривали пришедшую по почте официальную бумагу с неразборчивой подписью и без печати. Уж не фальшивка ли? И сошлись на том, что происходит нечто странное, почти фантастическое. Если суд был, почему же на судебном разбирательстве не присутствовала Зинаида Мироновна, или ее дочь, или кто-то из родственников Колокольцева?

— Да и вообще никакого суда не может быть, — сказал сосед Колокольцевых, взлохмаченный и плешивый человек лет сорока, скептически осмотрев официальное уведомление. — Подумайте сами: как можно выселить человека из арендуемой им дачи, за которую регулярно платятся деньги?

— И немалые, — вставил кто-то.

До вечера никто из собравшихся не расходился.

В кухне на плите кипел чайник, из холодильника были съедены все запасы, заготовленные на неделю.

За все это время никто из представителей администрации не заглянул на дачу и даже по телефону не позвонил, словно в этот день ничего не ожидалось.

А ведь и действительно ничего не произошло — бумажка не подействовала.

Но приходили экскурсанты — целый автобус солдат из какой-то недалекой воинской части, группа отдыхающих из сердечно-сосудистого санатория, несколько отдельных посетителей, специально выбравшихся из Москвы, чтобы побывать в знаменитом поселке, известность которого за последние годы сильно возросла, посетить могилу Колокольцева на местном кладбище, а также дом, где прошли десятилетия его долгой легендарной жизни.

Дача кряхтела от напряжения, лестница шаталась, однако не рухнула, и все остались довольны.

XV

И суд состоялся.

На сей раз были соблюдены все полагающиеся формальности. Зинаида Мироновна даже наняла адвоката — худенькую пожилую женщину с прокурорным голосом и большими глянцевыми глазами, в которых одновременно уживались плутовство и младенческая наивность.

Впрочем, это первое впечатление в следующий же миг развеивалось.

По повадкам она была опытным специалистом и сразу же дала понять (правда, не впрямую, но достаточно ясно), что дело крайне трудно выиграть — формально никаких прав на аренду дачи Зинаида Мироновна не имеет. Что же касается поселка, то он может делать с домом что пожелает, хоть вообще развалить. По проекту он рассчитан лет на сорок, а простоял значительно больший срок.

На пылкое восклицание Зинаиды Мироновны, что это не просто дом, не обычная дача, а музей, заметила со смешком:

— Да, музей, но об этом знаем только мы с вами. Формально же это арендуемая у поселка дача, ни больше ни меньше.

Районный суд находился в небольшом подмосковном городе, районном центре, километрах в сорока от столицы.

Зинаиду Мироновну и сопровождающих лиц вызвался отвезти на своей машине сосед по даче, тот самый, кто в день несостоявшегося выселения так горячо и убежденно говорил о невозможности подобного суда.

Ехать было трудно. Машины скользили и буксовали. Дело осложнялось тем, что за ночь навалило много снега и сейчас его убирали снегоочистительные машины, создавая на перекрестках пробки.

У автомобиля резина была лысая, кроме того, левое крыло, про-

давленное в столкновении еще осенью и кое-как выправленное, покрылось ржавчиной.

Стекла запотели изнутри, что затрудняло видимость, и сосед уже раскаивался, что взялся везти Зинаиду Мироновну с компанией за город. Он прислушивался к работе двигателя, к шумам, стукам, и сердце у него обмирало: вот-вот машина сломается, вот-вот застрянет посреди улицы. Если же ее остановит, не приведи господь, инспектор, неприятностей не оберешься: снимут номер, машину арестуют. Что тогда делать?!

Нет, думать об этом не хотелось.

— Будем надеяться, кто-то из истцов не явится, — говорила своим каким-то очень аппетитным хриплым голосом адвокат. — Они хоть и уверены в успехе, да уж больно глуп их юрисконсульт. Он и сам не прочь отложить слушание дела. И при этом не понимает, кому это на руку.

— Ну вот, кажется, влип, — воскликнул водитель и чертыхнулся. — Остановили... Прошу прощения...

— Этого еще нам не хватало, — проговорила адвокат. — Хотя волноваться нечего. Мы успеваем.

— Ой, не зарекайтесь!

Сосед подогнал автомобиль к тротуару и вышел объясняться с инспектором, а Зинаида Мироновна откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза.

Могло показаться, что она задремала, в действительности это была не дрема, а отрешенность. Она видела своих родителей, слышала их дивные голоса, а сама была девушкой, потом молодой и уже не очень молодой женщиной. Молодость осталась там, за бесконечно длинной чередой лет, живущих в памяти по минутам, даже по секундам, — бесконечный, утомительный путь, нескончаемый разговор с любимым, которого видела в последний раз — не зная, что в последний, — в расстегнутой на тонкой, почти мальчишеской шее рубашке.

Ну как поверить, что он уничтожен, что его нет в живых, что все ее передачи и деньги уходят в никуда!..

Удивительно слилась ее судьба с судьбой дачи Колокольцева, и никак эти судьбы не разделить.

Тем временем вне машины шла какая-то своя напряженная жизнь.

Вернулся сосед, доставал, сопя, какие-то бумаги, напустив в кабину зимнего холода. Затем к машине приблизился инспектор — высокий капитан с красивым усатым лицом, перетянутый ремнями и с коробкой переговорного устройства на груди, откуда с треском и шумом вылетали какие-то резкие реплики, указания, милициские свистки.

Зинаида Мироновна вздрогнула и вдруг с ужасом подумала, что их специально остановили, чтобы не дать возможности явиться в суд.

Однако обошлось, и через несколько минут смущенный и одновременно разъяренный сосед уже отъезжал от инспектора, приговаривая:

— Ну вот, все в порядке, успеваем.

— И даже раньше приедем, — сказала адвокат.

Суд располагался в двухэтажном строении новой архитектуры с мутными от грязи и изморози большими окнами, что делало этот дом каким-то запущенным и стародавним.

Отопление, однако, работало хорошо. В просторном темноватом коридоре было тепло, почти жарко, и все расстегнулись. Зинаида Мироновна распустила узел платка, и он упал с ее белой головы на плечи.

Она с интересом осматривалась, пытаясь запомнить в подробностях окружающие ее лица, обстановку, собственные ощущения, но вся картина, только что такая отчетливая, яркая, вдруг распалась, вытесненная обретшими реальность воспоминаниями.

Приехали истцы, директор Виктор Тихонович и юриконсульт — большоголовый мужчина с упрямым голубоглазым лицом и с палкой. У него не гнулась нога в колене, и он переносил ее вперед, точно ножку циркуля.

«Ранен на фронте», — решила Зинаида Мироновна, когда, тронув за плечо, ее адвокат показала на адвоката обвинения. И тут же этот человек вызвал в ней чувство уважения. По крайней мере он способен к справедливым суждениям. А вот адвокат называет его идиотом. Неприятно.

— Ну, как он вам? — услышала у самого своего уха аппетитный шепот Зинаида Мироновна. — Хорош? В пьяном виде упал и покалечился.

И на душе у Зинаиды Мироновны снова стало мутно, тяжело. Скорее бы все началось и закончилось.

— Прошу пройти в зал заседаний.

Это сказала пожилая женщина с обликом принарядившейся технички (секретарь суда) и раскрыла дверь зала заседаний, оказавшегося не слишком просторной, вытянутой комнатой с Т-образным столом и тремя или четырьмя рядами стульев, где все и расположились: Зинаида Мироновна, ее дочь, сосед, директор, еще несколько незнакомых женщин и мужчин (любопытствующих судейских).

Заседание началось.

На своих местах сидели судья, народные заседатели, секретарь, представители истца и ответчицы.

Происходящее скользило по сознанию, не оставляя следов, точно поземка по старому насту. И все же судью Зинаида Мироновна запомнила, а уж теперь-то, разумеется, вовек не забудет.

Могло показаться, что этой тоненькой женщине с гладкими белесыми волосами и прыщиками возле губ не более восемнадцати лет, этакая старшая пионервожатая в лагере — поджарая, загорелая, веснушчатая. Судья, правда, не была загорелой, во всяком случае, к весне от загара мало что осталось. Остались мелкие коричневые веснушки, да зеленые глаза словно бы выцвели от летнего солнца.

Говорила она мало, короткими фразами, и так как с первых слов стало ясно, что она — сторонница быстрого и эффективного разбирательства, исход не вызывал сомнений.

По существу, шел диалог судьи и адвоката ответчицы, которая продолжала гнуть свою линию: рассмотрение дела прервать и перенести на другой день, ибо, по глубокому убеждению адвоката, еще осталось много невыясненных обстоятельств («Все выяснено!» — выкрикнул юрисконсульт), и вдруг, наскоком выяснить их без подготовки не удастся.

— Времени было довольно, — с сухой усмешкой заметила судья, а юрисконсульт, решительно ударив палкой с резиновым наконечником об пол, заявил, что тут и разбирательства-то никакого не требуется.

— Все ясно! — повторил он. — Надо сейчас решать, и дело с концом.

— Вот именно, — заметила судья, и сосед шепнул Зинаиде Мионовне саркастически, имея в виду судью:

— Уж эта своего не упустит...

Да, действительно, судья, кажется, уже все наперед расписала.

Потом был перерыв, потом заседание снова возобновилось, и в тот момент, когда, казалось бы, все было решено, а адвокат ответчицы всплеснула руками, в очередной раз не добившись перенесения разбирательства на другой срок, судья поднялась, дождалась тишины и объявила:

— Суд остается на совещание, прошу всех посторонних удалиться.

Зинаида Мионовна вышла в коридор, где возле двери в зал заседаний на двух стульях сидели молодые люди, мужчина и женщина, вызванные судьей Симаковой (такова была фамилия судьи) по делу о разводе.

Мужчина был явно с похмелья, женщина же, с темным нездоровым лицом и сильно располневшая, отчего казалась побитой жизнью, с отрешенной твердостью смотрела перед собой. Вся ее поза выражала упрямство: как, мол, я решила, так и будет! Непонятно, правда, что именно она решила — добиваться во что бы то ни стало развода или же, напротив, бороться за сохранение своей семьи.

— Скоро у вас? — спросил у Зинаиды Мионовны молодой человек и тут же, не дожидаясь ответа, обратился к жене: — Пойду покурю!

Жена пропустила его слова мимо ушей, он же снялся с места и поплелся по коридору к выходу.

В другом зале заседаний также шло разбирательство какого-то дела, видимо, серьезного, так как вдруг в коридоре появилась тревожная группа: высокий стриженный парень в сером пиджаке поверх черного свитера и по бокам два конвоира — крупные милиционеры с веселыми румяными лицами. С полной отрешенностью они не спеша, но быстро приблизились к приоткрытой двери и скрылись за ней.

Эта короткая сценка вдруг со всей наглядностью показала Зинаиде Мионовне, что она не где-нибудь, а именно в суде, и именно здесь каждое дело должно найти справедливое решение. Здесь не может быть полутонов — или да, или нет, и пропасть лежит между справед-

ливостью и несправедливостью, и твоя справедливость проверяется какой-то другой, общей, государственной.

И, подумав так, Зинаида Мироновна вдруг представила себе судью Симакову, эту непонятную ей женщину, которая сейчас за закрытой дверью зала заседаний что-то говорит, что-то доказывает и что-то решает, что должно нести в себе справедливость.

— Суд постановляет прервать заседание и выехать на осмотр места... Чтобы иметь представление, о чем идет речь.

— Какой осмотр? — с негодованием воскликнул юрисконсульт и стукнул палкой об пол, но Симакова столь выразительно взглянула на него, что тот потупился и начал торопливо складывать в «дипломат» кучу разложенных перед ним справок, бланков, заявлений.

Он покраснел и выглядел смертельно обиженным.

Что же касается адвоката Зинаиды Мироновны, то она сквозь кашель, который мог показаться смехом, проговорила:

— Все правильно.

Она вела себя со сдержанностью победительницы.

Однако ни она, ни кто другой не поняли, что же имела в виду Симакова, когда заявила о перерыве в заседании суда. А имела она в виду следующее: не откладывая дела в долгий ящик, сейчас же, немедленно всем составом суда отправиться в поселок и осмотреть дачу Колокольцева.

— Есть на чем ехать? Транспорт найдется? — спросила Симакова уже не как судья, а просто как решительная женщина.

Транспорт нашелся — два автомобиля, какой-нибудь час-полтора назад доставивших в районный суд истцов и ответчицу.

Все кое-как разместились, тем более что юрисконсульт, недовольный оттяжкой, ехать отказался. В коридоре он громко воскликнул, чтобы Симакова услышала:

— Не видел я этой дачи!

— А вот мы не видели, — задорно сказала Симакова.

XVI

Мартовский день посветлел, за поредевшими тучами угадывалось солнце, и хотя время от времени начинал падать снежок, света не убавлялось.

Дорога была трудная, плохо расчищенная. Было скользко, и требовалась особая осторожность на спусках и подъемах, недостаточно посыпанных песком или шлаком.

Но природа была прекрасна. Живописные холмы, волнистые поля, покрытые глянцевым настом, на который больно смотреть, хотя и не было открытого солнца, как бы засахаренные березы среди поля.

Весна!

Иногда на спуске дорога делала несколько петель, одну за другой, словно ты не в Подмоскowie, а где-нибудь в горах, на Кавказе или в Крыму, в небывало снежную зиму.

Промышленные сооружения. Фермы. Грузовые автомобили с прицепами. Строительные краны. Разных видов трубы: кирпичные, железные с растяжными тросами, напоминающие корабельные мачты, да и просто домовые трубы с торчащими из них дымами. Поселки. Деревеньки. Засыпанный снегом подмосковный пейзаж, восхитительный в своей скучноватой и пустоватой будничности.

И как-то сразу возникла пышная красота и, казалось бы, ничем не нарушаемый покой дачного поселка, куда два автомобиля — с ответчицей, истцом и полным составом народного суда — один за другим въехали через час после того, как заседание было прервано.

Машины остановились возле ворот с высокими, какими-то боярскими снежными шапками на покосившихся столбах. Пласты снега лежали также на поперечинах штaketника. Было тихо. Прилетел дятел с красной грудкой и в пушистой черной пелерине. Оглядываясь, точно спросонья, он начал с шорохом карабкаться наверх по стволу ели, время от времени останавливаясь и принимаясь долбить трухлявую кору. Промерзшее за зиму дерево отдавало гулом.

Калитка была приоткрыта, и в сугробе виднелись полузасыпанные свежим снегом следы.

«Сережа?» — подумала было Зинаида Мироновна, но в следующий миг отметила, что следы чужие. На сердце набежала тревога, день померк, но нужно было открывать дом, а затем показывать посетителям музей, и тревога развеялась, уступив место волнению, которое Зинаида Мироновна всегда испытывала, знакомя посторонних людей с домом своего отца.

Следы вели к входу в пристройку, где находится котел. Следовательно, кто-то проверял отопление.

В застекленном тамбуре посетители надели оледеневшие музейные тапочки и вошли вслед за хозяйкой в нетопленную дачу.

В районный суд вернулись под вечер, и заключительная часть заседания прошла очень быстро. После короткого совещания все ожидавшие в коридоре были приглашены в комнату, и судья Симакова объявила, что суд в таком-то составе отклоняет иск и по предложению помощника прокурора обязует директора поселка продлить гражданке Колокольцевой Зинаиде Мироновне аренду дачи на срок не менее трех лет.

— Безобразие, — громко сердился юрисконсульт, стуча палкой в коридоре. — Мы подадим на пересмотр! Ни в какие ворота не лезет!

Лицо его было красно, и он никак не мог попасть в рукава пальто, которое любезно придерживала адвокат ответчицы.

— Все правильно, все правильно, — покашливая или посмеиваясь, повторяла она, и неясно было, что она имеет в виду — правильность решения суда или правильность решения юрисконсульта подать на пересмотр.

Что же касается Зинаиды Мироновны, то она была очень печальна, чтобы не сказать, что убита.

Еще в поселке, когда все выходили из дачи Колокольцева после блестяще проведенной экскурсии, у крыльца Зинаиду Мироновну

ждал плотник Иван Данилович. Он некоторое время молча топтался, пытаясь вытащить сигареты из кармана толстых штанов. Потом, всхлипнув, проговорил, что теперь он будет помогать следить за дачей вместо Сергея Андреевича, который вчера умер в лесу от разрыва сердца.

Вместо эпилога

Вскоре областной суд, рассмотрев апелляцию истца, отменил решение районного суда, а судью Симакову за незапланированную объективность и профессиональную добросовестность грубо выругало начальство...

1988 г.

Михаил ДУДИН

Грешные рифмы

(Записи о нашем времени)

1.

Бардак идет по всей Земле,
На все четыре стороны.
Вороны каркают в Кремле,
А на Лубянке — вороны.

2.

По утверждению молвы,
В согласие с общим мнением,
Селедка тухнет с головы,
И тухнет с ускорением.

3.

У нас в судьбе времен разъятой,
Где стал оратором оратай
И болтуном интеллигент,
Грядет критический момент.

4.

Родная Партия распалась,
С Победой Мировой рассталась

Под вылинявшим кумачом.
И от когорты гениальной
Остался только Генеральный
Вдвоем с Егором Кузьмичом*.

5.

Любовь чужда расчету,
В ней осторожность спит.
А резвому Эроту
Прислуживает СПИД.

1990 г.

Ленинград

Юрий АНТРОПОВ

Наедине с вождем в антракте

Вариация к роману

В старое доброе время, говорил Зэк с ухмылкой, за этот приборчик ему бы любой царь не раздумывая отвалил полцарства да еще и царевну в жены, а может, просто в любовницы.

Бээн слушал Зэка с недоверием и неприязнью, отмечая про себя, что с некоторых пор, когда пошла мода на демократию, лагерный раб вдруг осмелел и даже стал кривить усмешками рожу.

Впрочем, Бээн лишь мельком поглядывал на Зэка. С той минуты, когда этот бывший смертник шарашки вошел к нему в Глобус и выложил на стол черную коробочку не больше электробритвы, Бээн почти не сводил с нее глаз.

И вдруг Зэк позволил себе не только сесть в кресло напротив стола, но еще и достать пачку сигарет, хотя знал, что курить в кабинете Бээна не решались даже секретари обкома. Конечно, Глобус — это не обкомовский кабинет в сибирской вотчине Бээна, Глобус был всего-навсего московской его резиденцией. Однако и тут субординацию никто не отменял, Бээн оставался Бээном, да и Зэк, хотя и был тепер академиком, всегда помнил о том, кто вытащил его

* От редакции: читай — «Вдвоем с Иваном...», далее — по тексту.

из шарашки, человеком сделал, а мог бы и прихлопнуть на месте, как последнюю тварь.

Может, подумал Бээн, этот еврей успел пронюхать про то, что его благодетеля турнут не сегодня-завтра на пенсию?

Бээн хищно оскалился, и два ряда золотых зубов огненно блеснули, как если бы хозяин Глобуса обернулся Змеем Горынычем. Может, он бы и проглотил тщедушного Зэка в мгновение ока, но в эту секунду Бээн уловил запах тройного одеколона. И тотчас прикрыл огнедышащий свой рот, вжав голову в плечи, сам сделался вроде как маленьким и худым, в испуге откинувшись на спинку кресла. Ему показалось, что сейчас Зэк схватит его за нос, как делал когда-то Сталин, и крутанет до крови. Именно с этим ненавистным запахом тройного одеколона, смешанным с запахом табака «Герцеговина Флор», было связано давнее унижение Бээна...

Он замер, настороженно поводя носом.

Да, сомнений не было — от Зэка несло тройным одеколоном.

Бээна передернуло. Как бы напрочь забыв про таинственный прибор, который сделал наконец-то Зэк, он ждал уже не чуда, которое обещал показать этот хитрый еврей с помощью черной коробочки, а самого простого движения пальцев Зэка: достанет ли тот сигарету из пачки, закурит ли здесь, в Глобусе, или все же не посмеет?

А сигареты были, как отметил Бээн краем глаза, «Герцеговина Флор»...

Между тем Зэк произнес все с той же вызывающей усмешкой: а зачем, дескать, думать тирану, если новый прибор может запросто вывить без традиционных допросов с пристрастием, на кого можно ему полагаться, а на кого — ни в коем случае.

Бээн тоже стянул губы набок, словно пытаюсь улыбнуться. Надо же, до чего обнаглел Зэк! Рядом с каким-то тираном он без всякого ставил его, первого секретаря обкома партии, члена ЦК, ну и все такое прочее. Бардак, а не перестройка!

И это еще хорошо, разглагольствовал Зэк, будто между прочим выколупнув сигарету из пачки, если как раз половина челяди, какая ни на есть в рабовладельческом государстве, с чадами и домочадцами, была бы преданна диктатору до гроба. Следовательно, вторую половину, в том числе, может, и царевну, так и так пускать в расход.

«Наверно, случайно встретил внизу Нику, эту стерву, — нахмурился Бээн. — И решил, что это моя дочь. Уж не хочет ли он, старый мудака, заполучить Нику вместо награды за свое изобретение?»

Бээн рассмеялся неожиданно для самого себя, скаля золотые зубы. Его позабавила эта мысль. И даже увлекла. Он представил, что это было бы совсем неплохо, если бы Ника исчезла вместе с Зэком. Заодно прихватив и Кима, законного мужа. Бээн терпеть не мог свою невестку и давно хотел, чтобы Ким ее бросил. Проститутка отпетая. Но и Ким, сыночек чертов, тоже хорош — давно сидит на игле, хотя уже сивый. Того и гляди будут неприятности. А эти говняные прорабы перестройки только и ждут, на чем бы поймать порядочных людей...

В Глобусе стало мертвяще тихо. Зэк боялся пошевелиться. Он осекся при смехе Бээна, странном внезапном смехе, похожем на клеток при удушье. Битый и тертый, знавший Бээна как свои пять пальцев, Зэк не мог взять в толк, что рассмешило хозяина и какой теперь поворот примет их тайная встреча.

Казалось, все шло хорошо. Прибор был сделан, доставлен в Глобус, и Зэк с облегчением рассказывал Бээну об уникальных возможностях своего детища. Долгожданное освобождение! И вдруг с Бээном случилась как бы истерика. Хотя Бээн и сдержал себя, не наорал, не запустил в Зэка чем ни попадя. Мутные, навывкате, слезящиеся глаза Бээна словно остекленели и могли вот-вот выкатиться из орбит. Большое рыхлое лицо побагровело. Реденький чубчик был как нашлепка на коротко стриженной голове — косо прилип к маленькому потному лбу.

— Мой прибор способен уловить любое движение мысли, — как бы предостерег Зэк, слегка расслабляясь. — Причем даже на расстоянии. А может и без визуального контакта. При этом дает соответствующую картинку на экране дисплея...

И в руках своего раба, который и без лагеря оставался лагерником, Бээн увидел зажигалку.

— Кто бы что ни подумал? — усомнился он ехидно, прищуриваясь.

— Да! — твердо сказал Зэк и сунул в рот сигарету.

Бээн опять издал хриплый клеток и замер. Он просто ошалел от этой выходки Зэка. Со стороны могло показаться, что хозяина хватил удар и теперь его грузное тело никакая сила не вырвет из кресла. Неподвижность Бээна, вечно ерзавшего в кресле, была до того неожиданной, что Зэк, уже поднося к своему лицу горящую зажигалку, напряженно скосил глаза на хозяина.

— Вам плохо? — спросил он в испуге.

Бээн молчал. Только беззвучно открывал и закрывал большой рот.

Зэк струхнул и свободной рукой безотчетно потянулся к прибору.

Бээн вздрогнул. В его белкастых, с красными прожилками глазах мелькнул испуг: уж не хочет ли Зэк прямо сейчас угадать с помощью этой пластмассовой хреновины, о чем он тут успел подумать — и про Нику, и про Кима, и про говняных прорабов перестройки? И Бээн сделал судорожное движение — быстро положил на прибор свою пухлую руку, накрыв его на столе. Теперь он смотрел на Зэка в упор, и старый лагерник спасовал — заерзал в кресле и спрятал в карман сигареты и зажигалку.

— Собственно, я ведь не требую вознаграждения... — пробормотал он.

Ага, так-то лучше! Зэк и сейчас, много лет спустя после выхода из шарашки, терялся перед Бээном. И не только потому, что все может вернуться на круги своя, к твердому порядку, без всякой там демократии, гласности, ну и всего прочего. Уж кто-кто, но Бээн был уверен, что рано или поздно так оно и случится. Точнее — все может измениться в любой момент. И снова появятся шарашки. И Зэку всегда

найдется местечко в этих замечательных заведениях. Но дело даже не в этом. Если бы Зэк и знал наверняка, что шарашка никогда не повторится, в нем до самой смерти останется прежний страх. Шок в генах, как говорят умники. Духовные ценности социализма, как любил приговаривать Бээн по любому поводу. Борьба и единство противоположностей. И вся тут диалектика.

Бээн передернул губами, словно хотел улыбнуться, но раздумал.

— Значит, не требуешь вознаграждения... — Он все же улыбнулся, стягивая большие губы на одну сторону. — А ты бы у Сталина мог потребовать вознаграждения, если бы оказался среди тех ученых из шараги, которые сделали по заданию вождя прибор для подслушивания?

Зэк вжал голову в плечи.

— Тогда мало кто знал об этом задании... Меня бог миловал! — Зэк вдруг улыбнулся, как ребенок, хотя лицо его при этом стянулось глубокими морщинами. — Только много лет спустя... — Лицо Зэка исказилось в судороге, взгляд скользнул куда-то вдаль. — Мне довелось прочитать обо всем этом в романе Солженицына.

Бээн понимающе усмехнулся:

— Ну и как?

— Страшно, конечно!

— То-то и оно! — Бээн весело оскалил железные зубы. — У меня в шараге ты был как у Христа за пазухой!

— Еще как страшно-то... — повторил Зэк тихо, словно не слыша Бээна. — Впрочем... — он быстро глянул на Бээна, и глаза маленького Зэка остро блеснули: — Страшно — это не то слово! Страшно и сейчас. И я не знаю, в каком круге мы теперь находимся...

— Пока что ты находишься в моем Глобусе, — не без угрозы напомнил ему Бээн. — И я еще не знаю, что за фуёвину ты принес. Может, и не стоило тогда вытаскивать тебя из шараги...

— Прибор уникальный! — с жаром сказал Зэк, словно именно сейчас и решалась его судьба. — Да, я делал этот прибор долго, много лет... но зато результат превзошел самые смелые ожидания! С помощью этого прибора можно зримо представить себе, что за событие происходит и где именно.

— А прошлое? — как бы между прочим спросил Бээн.

— Даже самое отдаленное!

— Интересно...

— Это как раз просто. Человек вспоминает. Или птица. Например, ворон...

Бээн вздрогнул и быстро глянул в окно. По странному стечению обстоятельств как раз в это время на ветку березы, почти касающуюся окна, шумно уселся матерый старый ворон. Зэк удивленно уставился на птицу, которая заглядывала к ним в Глобус, кося кроваво-красным глазом.

— Ну, а если, допустим, будущее? — Бээн повернулся к окну спиной.

— Тоже воссоздается. В зависимости от того, каким было у человека прошлое.

— Выходит, что всякий раз надо хорошенько покопаться в прошлом? — Бээн хищно оскалится, как бы загнал Зэка в угол. — Это уж не для меня, а для говняных прорабов перестройки, которые любят ворошить прошлое... Хлебом их не корми, только дай порыться в дерьмовой истории!

Зэк пожал плечами.

— Ничего не могу поделать! Прибор учитывает социопсихологию индивидуума...

— Не понял... — насторожился Бээн.

— Естественно. Этого не понимали даже вожди...

Бээн прищурился на Зэка.

Ворон каркнул прямо в окно. Бээн схватил со стола прибор и замахнулся на ворона. Тот и не подумал; однако, улетать, будто зная, каким сокровищем теперь он владеет.

— Словом, это почти как глобус Воланда, — сказал Зэк и пошелестел в кармане пачкой сигарет. — Но только со звуком. И видение можно проецировать на экран телевизора. Хотя в цвете показывал и глобус Воланда.

— Опять не понял... — с вкрадчивым раздражением произнес Бээн. — Воланд... это кто? — Он подозрительно уставился на Зэка. — Тоже еврей из шараги?

Измученный Зэк не успел ответить, как Бээн словно впал в прострацию, вяло пробормотал:

— Это все происки... вон и ворон опять прилетел...

Никто не знал, даже Зэк, что именно в этот момент и возникло странное видение.

Держа в руке диковинный прибор, Бээн вдруг явственно представил себе, как по улице Горького, прямо с Манежной площади, от Кремля шла по тротуару негустая, но подвижная толпа молодых людей. Они шли молча, но так напористо, что, казалось, их не остановит никакая сила. В руках передних был транспарант. Белые на кумаче слова, какие Бээн видел разве что в кино, да и то давным-давно:

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

Бээну стало не по себе.

Он вернулся взглядом назад, на минуту оставив без внимания эту странную демонстрацию, и сначала спасительно увидел на башнях Кремля рубиновые звезды, коих не было в начале века, в те годы, когда возник этот лозунг, революционный по той поре. А потом уже, успокоясь, Бээн поглядел и на крышу здания рядом с гостиницей «Интурист», где много лет маячил совсем другой лозунг — огромный, предназначенный не только иностранным туристам, этим врагам идеологическим, но и всему миру — почитай, тоже враждебному:

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!

Хороший лозунг, правильный.

С ним Бээн шел по жизни вот уже больше полувека.

И уж кому-кому, но Бээну, может, давно уже светили эти самые вершины-то сияющие.

Значит, все было на месте. Как и при других вождах. И Бээн еще попутно проследил за длинным, зловеще-черным лимузином, ко-

торый стремительно выкатил из ворот Кремля в сопровождении охранных машин с мигалками и помчался по перекрытой улице. Ретивый гаишник ему козырнул. Как и пять, и десять лет назад козырял. А десятки, сотни — а хоть бы и тысячи! — разных прочих машин будут покорно ждать на перекрестке, пока проедет черный лимузин. Хотя, может, его хозяин всего лишь посрать поехал домой. Такие выезды и царю не снились. Даже по великим праздникам. А теперь любой бээн, как называли зэки большое начальство еще во времена Зоны, при Сталине, и шагу не сделает без почетного эскорта.

Рассказывали, как профсоюзная чиновница, баба как баба, которую по разнарядке выдвинули наверх, на другой же день явилась к своему парикмахеру с охраной. Да кому она нужна, такая деятельница?

Бээна все это и раздражало порой, он считал себя не хуже и Суслова, и Брежнева, и Черненко, даже Хрущева с его дуболомством ставил невысоко, не говоря о многих нынешних вождях, но в то же время и тайно радовал, надежду вселяло: перестройка перестройкой, а родимая власть стоит непоколебимо, все порядки сохранились, и никто менять их не собирается, и пусть хоть и не на самом верху, не на трибуне Мавзолея его собственное место, но все же среди избранных, в том кругу, откуда и наверх можно выскочить при счастливом раскладе, и уж во всяком случае на всю оставшуюся, как говорится, жизнь ему обеспечены эти самые высоты сияющие. Как английскому лорду наследное место в парламенте. На то и социализм. Поэтому Бээн готов был глотку перегрызть любому говняному прорабу перестройки, который вкал принародно, что совсем не тот социализм в нашей стране построили. Для кого, может, и не тот, а для Бээна — тот самый. Лучше не бывает...

И Бээн, проводив затуманенным взором черный лимузин и совсем успокоив растревоженную было душу, уже со строгим лицом блюстителя порядка поспешил вслед этим смутьянам с диковинным транспарантом, этим экстремистам, агентам ЦРУ, которые для отвода глаз называли себя неформалами. Они между тем разворачивались на площади Пушкина, образуя нечто вроде каре. Тоже мне, декабристы! Бээн передернул губами. Вроде как хотел снисходительно улыбнуться. Но тут же нахмурился. Речи смутьянов оскорбляли его слух. Сопливые перестройщики требовали каких-то еще гарантий демократии, каких-то еще прав и законов... Ну не происки ли жидомасонов! Бээну тошно было их слушать. Да разве же все это, чего тут они требуют, не записано в Советской Конституции? Еще при Сталине записали. И про демократию, лучшую в мире, и про разные там права, которых нет и в помине у забитых, угнетенных народов стран капитализма, ну и про все такое прочее. Бээн с немим упреком смотрел на генерала милиции, который как ни в чем не бывало слушал всю эту галиматьку и не думал отдавать приказ об аресте этих злостных антисоветчиков, которые вышли с наглым лозунгом прямо в центр Москвы и принародно, вслух говорили все, что на ум взбредет. **ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!** Этого еще не хватало. Вся власть, милые вы мои, у партии. Потому как она

у нас руководящая, направляющая, вдохновляющая, ну и все такое прочее. Так было, так есть и так будет! На то он и социализм...

Бээн вздохнул. До чего же мы дожили! И все это называется перестройкой?

Он вздохнул и услышал, как Зэк произнес:

— Словом, я хотел сказать, что ваше задание выполнено...

Зэк затравленно смотрел на Бээна, как смотрел на него почти при каждой встрече, как смотрел он и сорок лет назад. И эту фразу, как бы последнюю в своем докладе, Зэк произнес глуховато, словно опасаясь, что их может кто-то подслушать.

Бээн опять передернул губами. То ли потому, что ему приятно было видеть это минутное замешательство Зэка, его страх, да, страх, ничто иное. То ли потому, что в свою очередь угадал опасение Зэка — не подслушает ли их кто-нибудь. Здесь, в Глобусе? Это невозможно. Глобус был своеобразным бункером, точнее — надземной частью особняка. Железобетонная крепость, какая не снилась владельцам средневековых замков. И уж кто-кто, но Зэк это знал. Именно Зэк отвечал за техническую часть Глобуса еще в начале шестидесятых годов, накануне Карибского кризиса. Лифт мгновенно мог опустить Бээна в бетонированное подземелье с автономным, как уверял Зэк, жизнеобеспечением. А позже Зэк оснастил Глобус компьютерами, в которых Бээн ни черта не понимал. Тоже все жидовские штучки, но эти хоть полезные. Зэк учил его пользоваться разной такой хреновиной. Было даже занятие. Стоило нажать кнопку — и на дисплее появлялась картинка. Мало ли какая. Бээн втихаря теперь наблюдал то за Никой, то за Кимом, а то и за Дятлом. Старый сексот был его преданный раб до гроба, раб из рабов, но все же догляд за Дятлом не помешает.

Никому верить нельзя! Особенно так называемым соратникам. Друг друга сожрать готовы. Правда, теперь соратники вроде как и в самом деле объединились. Нет, вовсе не идея Вождя их объединяла, какая там, к черту, идея! Люди из круга Бээна, не говоря уж о том, который выше, давно не верили ни в какие мифы. Хотя и талдычили о них с разных высоких трибун. Светлое будущее... Коммунистическая идея... Мифы оказались мыльными пузырями. Это и дураку теперь понятно. И соратники выступали единым фронтом против перестройщиков. Борьба не на жизнь, а на смерть! Перестройщики, если уж на то пошло, били как раз по мифам, с которыми люди жили столько лет, а значит, удар приходился по бээнам, пудрившим народу мозги. Такие дела.

Уж кто-кто, но Бээн это понимал. И ему хотелось бы знать, на кого теперь можно положиться, а на кого — ни в коем случае нельзя. Хитрым еврей, этот Зэк, ошибался в своем подсчете. Вряд ли сейчас половина челяди верит в идею Вождя. Не те времена. И сменилось несколько поколений. Даже школьники высмеивают идею в анекдотах. Старики выступают с покаянием. Так что Дятел, стукач с тридцатых годов, знал обо всем этом не хуже Бээна и мог теперь вести двойную игру.

Вообще Дятел был человек увлекающийся. Своих внуков, детей Ники, старый энкавэдэшник учил шпионить за кем ни попадя. Чего доб-

рого, и сам Бээн у них на крючке. Дятел считал, что профессия секста — самая важная для нашего государства. И натаскивал ребятшек в Нулевом Отделе. С виду вроде как сарайчик, а внизу и картотека, и фонотека, и кабинет для диалога с пристрастием, как по-новому называл Дятел место для пыток. Большой знаток своего дела! Можно сказать, артист. И за долгие годы своего творчества Дятел собрал большую коллекцию костюмов — от наряда прокуратора, белого плаща с кровавым подбоем, до кителя и галифе. Бээн бурчал иной раз: «Не по Сеньке шапка!» — и даже запретил Дятлу появляться при нем в любимом наряде вождей. На экране дисплея Бээн частенько видел, как Дятел в Нулевом Отделе сидит за столом в картузе и кителе — точно таком же, какой был на Сталине, изображение которого многократно повторялось на стенах Нулевого Отдела. Что и говорить, старая гвардия! И вроде бы не утратил человек своей сути, по сей день остается нашим, советским, правильным, а все же Бээн Дятлу не доверял. И следил за ним из Глобуса. А теперь еще и главный прибор появился, с помощью которого можно будет, как уверял Зэк, прочитывать и чужие мысли...

— Значит, говоришь, задание выполнено? Ну, это еще проверить надо! — И Бээн, слегка приподняв руку, лежавшую на приборе, опустил ее тяжело, с нажимом, будто вовсе не подмывало его тут же опробовать прибор.

Ему хотелось теперь помариновать Зэка, этого чертова умника. Скорее всего, прибор получился, Зэк врать бы не рискнул. Такое дело! Но Бээн отнюдь не спешил выражать свою радость. Может, он бы и порадовался, но его насторожило, что Зэк положил перед ним этот прибор не без юродивой торжественности, будто решил напоследок посмеяться над своим хозяином.

Вон какие теперь нравы! Все вдруг захотели справедливости, равенства, свободы, ну и всего такого прочего. Вошла в моду привычка митинговать и даже бастовать, но ведь так можно растерять все духовные ценности нашего социализма, самая главная из которых была — покорность вождям. А как без этой покорности? Разве можно построить социализм, тем более развитой, зрелый, гуманный ли там? Без покорности будет бардак, а не диалектика.

Нет, сколько волка ни корми — все равно смотрит в лес. Этот бывший враг народа, кибернетик чертов, будто забыл, что именно ему, Бээну, обязан жизнью. Где бы он сейчас был, последователь американца Винера? Мало их разве, этих самых кибернетиков, разных там светил, осталось за колючей проволокой, сгнуло бесследно? Вот она, черная неблагодарность.

А ведь Зэк с этим прибором сам напросился, по своей доброй воле затеял работу над прибором по угадыванию чужих мыслей. Бээну такое и в голову бы не пришло — дать своим зэкам задание переоголять зэков, которые работали на Сталина, делали ему прибор для подслушивания. Бээн вообще не имел отношения к науке ни тогда, ни теперь. Ни в зуб ногой. Сорок лет назад он знал про кибернетиков только одно: враги народа. Как говорил товарищ Сталин, как говорили и другие вожди. Они знали, что говорить. Сам Ленин, великий Вождь,

определил, кто есть враг народа. И тогда еще молодой Бээн твердо усвоил одно: все, кого сажал НКВД, были врагами народа. Он сам тогда служил в органах. Это были его университеты. Можно сказать, школа коммунизма. И ему было все равно, кого сажали — писателей, разных там космополитов, или рабочих, крестьян, ученых, врачей. Это не имело значения. Его дело было — проявлять классовое чутье, которым он отличался еще в юности, в двадцать восьмом, когда из нагана уполномоченного, будучи комсомольцем, застрелил своего отца, попармироода, как говорил еще Ленин. Мальчишкой был, пацаном, а рука не дрогнула!

И вот это его бесподобное классовое чутье, за которое сам Сталин привечал вплоть до своей смерти, учеником своим считал, сделал бээнном, в люди вывел, и было тогда, в сорок восьмом, когда ему выпало заниматься наукой, дороже всяких там ученых степеней. Сталин как ему сказал? «Постройшь в Сибири военный завод, каких нет у американцев. наших лучших ученых возьми. Светил науки. Они все умеют, если их заставить...» И как это понял молодой Бээн? Он пропустил задание вождя через классовое чутье. И тут же поехал в шарашку.

О, это учреждение было куда лучше, чем нынешние разные НИИ! В шарашке даром хлеб никто не жрал. И вот в шарашке ему говорят: этот — светило науки, и этот светило, и этот... Хрен их разберет! Светила так светила. Бээн махнул рукой: берет оптом! Чего там гадать? Кого попало, тюху-матюху, у нас в тюрьгу не кидали. Про это и Сталин знал. Недаром же сказал: «Наших лучших ученых возьми...» Возьми! Как товар на базе. Может, их потому и собрали по шарашкам, этих светил, чтобы все на виду были. Вроде как для инвентаризации. Чтобы сразу ясно стало, каким научным потенциалом владеет первое в мире социалистическое государство. Не тюрьма — Академия наук. Бээн так и пошутил, когда приехал в шарашку. Но светила вроде как даже обиделись. Хрен их поймет, этих светил и разных там кибернетиков! Что у них на уме. Он знал про этих светил одно: враги народа.

И вот когда он толкнул свою речь, намекнув, что товарищ Сталин, отец и учитель, поручает им важное дело в Сибири, в новой Зоне, где надо создать такое, чего нет у американцев, тут и получил он записку. Молодой замухрышка в очках, совсем еще парнишка, зэк № 18701917, тоже небось светило, как успел подумать Бээн, протянул ему четвертушку листка. Бээн прочитал — и обомлел. Мать честная! В записке говорилось, что податель ее, кибернетик, смог бы создать прибор, с помощью которого удастся читать чужие мысли. Даже на расстоянии...

Бред? Издевка? Но Бээн поймал затравленный взгляд кибернетика и сразу поверил ему. Опять сработало классовое чутье. Он забрал немедля этого замухрышку с собой. Не оставил в шарашке ни на час, увез его к Дятлу, в Подмосковье, где тайно от всех, на подставное имя, уже тогда отстраивал себе особняк — на месте нынешнего Глобуса. Прибежище на всякий случай. Тоже ведь классовое чутье подсказало, что надо и себя обезопасить...

И вот едва лишь Бээн вернулся в Москву, оставив зэка № 18701917

на попечение Дятла, как Берия тут же позвонил ему и спросил без всяких околичностей, что за бумажку сунул ему кибернетик. Бээн соврал: «Здравица в честь товарища Сталина». — «За что?» — удивился Лаврентий Павлович. «А разве не за что? — удивился и Бээн. — За великую заботу о советской науке!» — «Где же эта записка?» — «Передал товарищу Сталину». — «А зэк?» — «Отправил в новую Зону...»

Бээн рисковал, но отступать было поздно. Бээн понимал, что даже Сталин, опекавший его, не поможет и не спасет, если Берия узнает содержание записки. Прибор по угадыванию тайных чужих мыслей!.. Следовательно, можно было выведать и сокровенные думы самого Сталина. Хотя Бээн и без прибора знал, что Сталин денно и нощно размышляет о том, как победить, извести классовых врагов. Бээну пало на сердце одно: чудодейственный прибор может сыграть решающую роль в классовой борьбе, которая, как учил великий вождь, будет все время нарастать по мере продвижения общества к сияющим вершинам. Лучшего подарка Сталину нельзя было и придумать.

Впрочем, если самому себе признаться, Бээн вовсе не собирался отдавать прибор Сталину, если бы Зэк успел сделать его при жизни усатого деспота. Прибор был нужен Бээну как тайное оружие против своих явных и скрытых врагов, соратников Сталина. Бээн хотел стравить их между собой — всю камарилью, окружавшую Сталина. И дать усатому палачу доказательства их неверности ему, коварства, двуличия. Хотя разве сам Сталин был не таким же?

Вот где шла классовая-то борьба! Не на жизнь, а на смерть. Борьба за власть. Любой ценой. И всем им, начиная с вождя, было начхать на коммунистическую идею и на тот народ, ради которого якобы они творили свою политику. Бээн и без всяких приборов давно это понял и тайно возненавидел всех вождей, а больше — колчурюкого Сталина, от клешнястой пятерни которого нестерпимо несло тройным одеколоном. В молодости Бээн плакал порой по ночам, жалея отца, которого застрелил за идею — за идею липовую, как выходило, стоившую не дороже ржавой копейки.

Так что с помощью прибора Бээн мог бы, как ему представлялось, встать во главе государства. Каким бы уж оно ему ни досталось. Он понимал, что это была страна рабов. Нищие рабочие, живущие в бараках. Закабаленные крестьяне. Забитая интеллигенция. И лагеря, лагеря по всей стране, тысячи километров колючей проволоки... Однако самое непостижимое состояло в том, что все эти рабы — или почти все — продолжали верить в коммунистическую идею, славословили всех вождей и доносили друг на друга! Страна была гигантским рассадником добровольных сексов. Вот что делало с человеком постоянное чувство страха. И все же Бээн, как бы уже и не удивляясь самому себе, мысленно готов был к тому, чтобы стать новым вождем этой страны. Совсем ничего в ней не меняя. Он думал, что это уже невозможно да и никому теперь не нужно. Раб, родившийся в рабстве, не сможет жить на свободе.

Словом, Бээн спешно переправил зэка № 18701917 в сибирский городок Сталинск, в новую Зону, в свою вотчину, где являлся полным хозяином. Бээн подчинялся только Сталину. Даже Берия не часто со-

вал свой нос в дела Зоны. Сталин, похоже, и Берии не доверял. Но все же Бээн глаз не спускал с этого зэка. Бээн так и окрестил его, нарек Зэком. Коротко и ясно. И вся охрана знала, кого имеет в виду Бээн. Остальных зэков из КБ, таких же светил, Бээн вовсе никак не называл. По объекту они проходили же под номерами. А замухрышку в очках величал Зэком как бы даже с оттенком уважительности. Бээн велел держать его отдельно от остальных светил и кормить от пуза. Зэк был заядлый курильщик, надсадно кашлял, и Бээн приказал привозить Зэку из обкомовского буфета самое дорогое курево. Бээн с детства не дымил, в отца пошел, и знал только одно курево — «Герцеговину Флор». Он частенько видел, как Сталин трубку свою набивал именно этим куревом. И от пальцев Сталина, когда он вдруг хватал ими Бээна за нос, пахло не только тройным одеколоном, но и табаком. Этой самой «Герцеговиной Флор». И Бээна передергивало, когда он замечал, что кто-то курит сталинский табак. И обкомовцы это знали, при Бээне в рот никто не брал папироску, а в буфет Бээн и не заглядывал сроду, всю жратву, какую надо, и выпивку приносили ему в комнату для отдыха и домой, как полагается, и Бээн поначалу опешил, когда увидел в руках молодого Зэка «Герцеговину Флор». Самое первое желание было — немедля отобрать, размять в кулаке и швырнуть в еврейскую морду, чтобы не дразнил, не напоминал. Но потом Бээн подумал: а пусть курит Зэк именно «Герцеговину Флор»! Он же Бээна за нос не хватает. Зато всегда будет напоминать, против кого перво-наперво надо использовать зэковской прибор...

Словом, Бээн дал тогда молодому Зэку возможность оклематься, а потом вызвал в свой кабинет и спросил с глазу на глаз: «Ну и когда же ты сделаешь этот прибор?» Зэк молча протянул ему тетрадку. Бээн раскрыл ее, полистал... Ничего такого сроду не видывал. Какие-то расчеты, графики, формулы. Китайская грамота! С его церковно-приходской школой-то... Правда, были еще разные курсы. Сначала — комсомольских работников, потом — служащих НКВД, а позднее окончил еще и ВПШ. Вот и все его университеты. Филькина грамота, как понимал Бээн теперь. Но тогда он сильно смутился. «Ты мне скажи, чего тебе конкретно нужно? — грубовато спросил он Зэка. — Станки там какие, материалы, инструменты... ну и кадры, конечно... чего там еще, чтобы сварганить эту фуёвину?» Зэк вышел в приемную Бээна, сам натюкал на машинке две страницы. «Это для начала», — сказал он Бээну. «Будешь доставать все сам, — Бээн даже не взял в руки эти страницы. — Но, конечно, моим именем». В тот же день Зэку выдали паспорт. У Зэка была теперь совсем другая фамилия. А тот заключенный № 18701917 был списан по акту... И Зэк создал свою лабораторию, куда потом перешли и другие светила, какие выжили в Зоне. Точнее, Бээн перевел их в лабораторию Зэка, когда Зону закрыли после ареста Берии, этого матерого агента империализма и вражеских разведок, как писали о нем советские газеты. Сам Бээн остался в Сталинске и после закрытия Зоны. Уже первым секретарем обкома. Еще на девятнадцатом съезде партии Сталин сделал его членом ЦК. Это был триумф Бээна. Вся необъятная Сталинская область стала его Зоной, где он был владыкой, абсолютным хозяином

всего живого и мертвого. Осенью 1953 года Маленков звал его в Москву на ответственную работу в аппарат ЦК, но Бээн отказался. Под благовидным, конечно, предлогом. Он боялся Маленкова. Как и прочих соратников. Он знал их как облупленных. Каждого можно было расстрелять вслед за Берией, назвав агентом империализма, ну и все такое прочее. В этой своре Бээн поначалу не выделял и Хрущева. Такой же двуликий. Послушный танцор на сталинских попойках. Вождь частенько заставлял его плясать гопак. Бээн был уверен, что Хрущев затеял разоблачение культа личности только в отместку Сталину. Хотя уже и мертвому. А потом спохватился, дал задний ход. Потому что по сути своей был таким же, как и остальные соратники.

Впрочем, если спросить себя как на духу: а сам-то Бээн чем от них отличался? Он был в другом, на голову ниже, круге — только и всего. И делал то же самое, что и остальные. Бойцы партии — как называли они себя. Да, Бээн боялся и Маленкова, и остальных соратников мертвого вождя. Боялся и ненавидел. И сказал Маленкову, что хотел бы употребить свои силы в Сибири, на родине, он лучше других знает местных людей, кержаков, старообрядцев, среди них еще много скрытых врагов советской власти, а классовая борьба должна еще разгореться с новой силой, как учили великие вожди, и Бээн даст ей здесь, на своей родине, новый импульс. Маленков согласился. Скорее всего, он тоже боялся Бээна — как возможного претендента на главный пост в стране. Пусть не сегодня, но завтра. Маленков не мог не знать, что Сталин считал Бээна своим учеником. Как и самого Маленкова. Но Бээн был моложе — поэтому как бы на втором плане. В резерве партии. Маленков не мог не помнить об этом, и он хотел держать Бээна под рукой, на виду. И если бы Хрущев не спихнул Маленкова, Бээна убрали бы одним из первых — в той новой волне репрессий, которая не могла не начаться рано или поздно.

Диалектика жизни, усмехался Бээн. То есть бардак. И ему дозарезу нужен был прибор Зэка, чтобы вовремя распознать, раскусить эту самую диалектику. Дабы спасти свою шкуру. И оказаться наверху... Работа над прибором шла в глубочайшей тайне. Все эти годы. И ни один вождь не пронюхал про этот прибор. И сам Бээн оказался как заговоренный. Он пережил всех вождей. Уцелел. Не загремел. И даже на пенсию не ушел. И это было самым большим чудом — не меньшим, чем то, которое Зэк обещал показать с помощью своего прибора.

Черная коробочка вращалась теперь на столе под пальцами Бээна, как рулетка. Он подождал, когда она остановится, передернул губами, скаля золотые зубы.

— Ну, показывай свою фуёвину... — сипло сказал Бээн, плохо скрывая волнение. Он словно тоже хотел теперь посмеяться, но только над Зэком, и небрежно катнул по столу приборчик в сторону Зэка. — Содрал небось у американцев?

— То есть как? — удивился Зэк.

— А помнишь, был у них такой прибор, наши газеты часто про

него писали... это когда железный занавес был... на своих коммунистах американцы его применяли, помнишь? — Бээн хотел показать свою осведомленность, мол, не лаптем щи хлебаем, он запомнил, что уже спрашивал об этом Зэка. — Они тот прибор использовали во времена охоты на ведьм, при Эйзенхауэре... Да ты знаешь, как называли американцы свой прибор! — Бээн даже озлился, побагровел, ожидая подсказки Зэка, этого грамотея.

— Детектор лжи.

— Во, он самый!

— Нет, — покачал головой Зэк. — Мой прибор — это нечто совсем другое. Мой супериндикатор...

— Не понял! — перебил его Бээн.

Это прозвучало как окрик: «Разговорчики!» Зэк сбился, мысленно ругая себя, что дал маху. Он давно знал по своему опыту, что мудреная речь, особенно с использованием научных терминов, сердила Бээна, выводила его из себя, когда Зэк иной раз, увлекаясь, начинал говорить о работе своей лаборатории так, как если бы перед ним были члены ученого совета, а не первый секретарь обкома. Бээну казалось, что все ученые говорят между собой на жидомасонском жаргоне. Однажды он так и ляпнул. И добавил, что при случае отправит этих приспешников мирового сионизма туда, куда Макар телят не гонял. Зэк понимал, что это вовсе не шутка, что такая возможность у Бээна может появиться снова в любой момент. Даже теперь, во время так называемой перестройки, которая, по мнению Зэка, была похожа на перегруппировку определенных сил под эгидой патриотов России, носивших черные рубашки.

Зэк мелко покашлял, прикрывая сморщенный рот по-детски маленькой сухонькой ручкой. Ему хотелось курить, это была его давняя слабость, но сейчас на него снова нашла оторопь, от которой, казалось, наконец освободила его эта маленькая черная коробочка, лежащая на столе хозяина.

— Словом, если для наглядности сравнить мой супериндикатор... или как там его ни называй... — Зэк быстро сунул в рот сигаретку, щелкнул зажигалкой и жадно затянулся, глядя сквозь прищур на Бээна. — Сравнить с американским детектором лжи...

Бээн откинулся в кресле. Рыхлое лицо его снова набрякло красной. Он тоже смотрел на Зэка сквозь прищур. Зэку надо бы тут же отвести от Бээна взгляд, от греха подальше, но Зэк будто засомневался напоследок: а надо ли отдавать Бээну этот супериндикатор? Тщедушная фигурка Зэка вяло подалась к столу, однако Бээн шустро накрыл прибор своей пухлой ладонью.

— Собственно, мне и сейчас ничего не стоит, — сказал Бээн как бы с ленцой, — сунуть тебя за колючую проволоку...

Другой рукой, покачивая согнутым пальцем, Бээн поманил к себе Зэка, и когда тот, как под гипнозом, подался близко к нему, Бээн лег животом на стол и щелчком ловко выбил сигарету. Ноздри Бээна хищно вздрагивали.

— С каких это пор ты стал брызгать тройным одеколоном на морду свою лагерную, а?!

Но Бээн тотчас обмяк. Левая рука его лежала на приборе, и он снова, как и несколько минут назад, будто впал в бессознательное состояние. Он только и пробормотал:

— Это все происки жидомасонов...

И опять возникло новое видение.

Там, на площади Пушкина, где Бээн уже успел сегодня побывать — правда, мысленно, — появилась часть особого назначения. Новинка перестройки. Бравые ребята в черной униформе. Орлы! Вóроны. Опричники. Это сравнение больше всего понравилось Бээну. Силу он уважал. Ну как без такой силы? Кто будет защищать духовные ценности социализма от говняных прорабов перестройки, от этих экстремистов с плакатами?

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

Фуя вам, а не власть.

Вся власть принадлежала, принадлежит и будет принадлежать нашей партии — руководящей, вдохновляющей, ну и все такое прочее.

И партия еще скажет свое веское слово, еще проявит себя.

А пока что опричники высыпали, как марионетки, из спецавтобусов с зарешеченными окнами — не то что прежние «черные воронки», эти, новые, куда вместительнее, как бы даже с комфортом, — и в мгновение ока оцепили демонстрантов, этих оголтелых антисоветчиков, которые, впрочем, рядом с опричниками выглядели ну просто пацанами. Все, конец разгулу анархии, этой самой демократии, гласности так называемой! У Бээна от радости даже пульс участился.

— Так их, милые вы мои, всыпьте им как следует! — приговаривал он, как во сне, уставясь куда-то в пространство немигающими, навывкате глазами с красными от напряжения прожилками.

Его рука по-прежнему лежала на таинственном приборе Зэка, с ужасом наблюдавшего за Бээном. Но Зэк не видел и не мог видеть, как опричники сжимали толпу демонстрантов. Метровыми резиновыми палками они сшибали с ног сопливых антисоветчиков и волокли их в автобусы. Несколько минут — и все было кончено. Ничего отраднее этой картины Бээну видеть не доводилось за всю свою жизнь. Средь бела дня! Прямо в центре Москвы! Даже при великом Вожде всякая работа такого рода шла по ночам, по подвалам, за городом, подальше от свидетелей.

Генерал в сторонке тихо докладывал по рации невидимому начальству, своим бээнам:

— Порядок восстановлен, жертв нет...

— А жа-аль... — вслух пропел Бээн. — Тут церемониться нечего, когда возникает угроза социализму, его духовным ценностям...

Он жадно смотрел на эту картину. На сером асфальте была кровь. А рядом валялся истоптанный опричниками лозунг:

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

Из автобуса с зарешеченными окнами кричала девчонка с косичками. Она истошно орала на всю площадь, на всю Москву:

— Фашисты, что вы делаете?!

— Что надо, то и делаем, — буркнул Бээн. — Охраняем завоевания Октября...

Но картинка уже погасла. Возбуждение проходило. Бээн заметил, что прибор Зэка лежит на виду, не под ладонью, как в самом начале.

Бээн шумно вздохнул.

— Ну, не тяни, давай, давай показывай! Как эта фуёвина действует...

Скуластое лицо Зэка, серое, как у язвенника, заострилось еще больше. Он покашлял в ладонь.

— Возьмите этот карандаш, — Зэк достал из кармана блестящий металлический стерженек.

— Это еще зачем? — Бээн повертел его в руке.

— Для резолюции.

— Не понял...

— Ну, это вроде игры. Под каким-то предлогом вы даете человеку, чьи мысли хотите прочитать, эту мини-антенну. Чтобы она указала супериндикатору вашего реципиента... — Зэк испуганно откачнулся от Бээна. — То есть объект вашего интереса.

Бээн бросил карандаш-антенну на стол:

— А почему ты решил начать именно с меня?

— А как я еще могу убедить вас в том, что мысли прочитаны и переведены правильно?

Бээн замялся.

— Ну хорошо, — Зэк вроде как нашел соломоново решение. — Сделаем иначе. Другой вариант. Напечатайте на листке бумаги три слова — фамилию, имя и отчество человека, чьи мысли вы хотите узнать. Должность не надо. Это будет, вероятно, и без того известный деятель, и супериндикатор не перепутает его с другим советским гражданином, однофамильцем.

— Что, даже так умеет твоя фуёвина? — оживился Бээн. — Это совсем другое дело! — Он полез в карман за своей авторучкой.

— Нет, написать надо именно этим карандашом, — Зэк указал взглядом на антенну.

Бээн заколебался, как бы прикидывая, нет ли здесь подвоха. От этого ученого жида всего можно ожидать. Любых происков. Он хоть и светило, академик, Герой Соцтруда и все такое прочее, а все же по натуре своей, как ни крути, классовый враг. Чутье Бээна не подводило.

А Зэк между тем для чего-то включил телевизор. Это был особый телевизор. Гордость Бээна. Экран занимал почти полстены. Стереоскопический эффект и все такое прочее. Это уж военное ведомство расстаралось. Не хуже японцев умели делать. Такие же светила, как и Зэк. Одна команда. Им сотворить любую технологию — раз плюнуть. Но не для молочной промышленности, не для овощной, не для мясной! Это все бредовые идеи перестройщиков. Как ни старайся, а всю страну не накормишь. Каждому свое. Это и есть зрелый социализм в действии. Точнее — реальный. У кого есть реальная воз-

возможность достать — тот и живет. Ну разве же это не гуманно? Поэтому Бээн и ратовал теперь за гуманный социализм. Форма новая, содержание старое. Борьба и единство противоположностей... Все по Ленину. И этот социализм, наследие вождя, надо беречь как зеницу ока. Без армии как его сбережешь? А говняные прорабы перестройки вообще без армии готовы обойтись. Разве настоящие патриоты так рассуждают? Это все жидомасонские козни. Происки наших классовых врагов. Один из них сейчас и разглагольствовал на экране телевизора. Темные пятна истории... Сталин — палач народов... Партия коммунистов не может быть руководящей силой общества... Ну и все такое прочее. Ахинея, одним словом. Антисоветские бредни. За которые надо прятать если не в тюрьму, то в психушку.

Бээн поморщился и отвернулся от экрана. Он взял со стола карандаш-антенну и черкнул на листке бумаги три слова, как просил Зэк. Фамилия, имя, отчество... Зэк смотрел в это время на экран. А прибор свой держал в руках. И вместо обычных очков надел какие-то странные, массивные. И с экрана глаз не сводил. Нашел что смотреть и слушать! Какой-то экстремист, говняный прораб перестройки поливал грязью социализм с его духовными ценностями, с его великими достижениями... Вздернуть бы этого прораба на фонаре! В центре Москвы, у стен Кремля, вдоль улицы Горького и на площади Пушкина, чтобы все видели. Гласность так гласность!

Зэк засмеялся, но засмеялся как-то желчно.

— Ты чего? — удивился Бээн, он как раз не видел в передаче ничего смешного, скорее, наоборот.

— Все получилось! — сказал Зэк и азартно потер свои маленькие ладони одну о другую.

— Не понял...

— И картинка, и звук.

— Опять не понял... — еще более вкрадчиво произнес Бээн, и этот голос его был предвестником взрыва.

Зэк поспешно снял очки и протянул Бээну:

— Наденьте! Это световой и звуковой фильтр супериндикатора. На экране телевизора с помощью этих очков я видел совсем не то, что видели вы, и слышал совсем не то...

Бээн помедлил, настороженно вертя в руках очки.

— Впрочем, и без очков можно, — сказал Зэк.

Он раздвинул черную коробочку, и Бээн увидел маленький матовый экран величиной со спичечный коробок. Зэк нажал кнопку. На экране возникла отчетливая картинка в цвете. У Кремлевской стены, вдоль улицы Горького, на площади Пушкина висели трупы людей на фонарных столбах... А властный лающий голос уже возник из коробочки и гремел на весь Глобус:

— Прямо надо сказать, идет демонтаж социализма. Какие-то экстремисты, говняные прорабы перестройки поливают грязью социализм с его духовными ценностями, с его великими достижениями...

Бээн оцепенел. Зэк усмехнулся и, подойдя к телевизору, нажал клавишу «видеозапись». На экране телевизора возникла та же картина,

только с пугающе явственными подробностями. И голос партийного вождя рокотал уже как бы над всей Москвой, над всей страной, над всем миром, и этот голос был голосом Бээна, и казалось, что вождь стоял на трибуне Мавзолея и выступал со своей программой речью.

— Выключи! — закричал Бээн в бешенстве. — Ты же мне сказал, фуй ты моржовый, что я смогу прочесть мысли вот этого деятеля! — Он ткнул карандашом-антенной в бумажку, на которой минуту назад написал три слова. Ткнул — и тут же накрыл бумажку ладонью.

— Накладка вышла, гражданин начальник... — озадаченно сказал Зэк. — А может, совпадение мыслей! — добавил он, будто и сам еще не знал обо всех диковинных способностях своего прибора.

— Совпадение, говоришь?

Бээн, как в картежной игре, осторожно заглянул под свою ладонь, будто усомнившись, те ли слова он черкнул. На листке было записано полное имя одного из тех, кого принято называть верхним эшелонном власти. И Бээна удивило не то, что этот деятель относится к перестройке точно так же, как и сам Бээн. Уж кто-кто, но Бээн про это знал. Его поразило, что этот человек использует те же слова и предлагает те же средства! Хотя и в своей стилистике. Что значит заединщики! Как называет их всех Ваня Анатолев, классик соцреализма, певец великой темы раскулачивания, темы классовой борьбы, духовный наставник всех бээнов и мээннов.

Ничего не скажешь, хороша штучка, этот самый... как его... супериндикатор. Да за такой прибор не только полцарства можно отдать. Сколько именно — прибор же и сумеет определить.

— Супериндикаторизация! — четко произнес Бээн и поднял над головой кулак. — Супериндикаторизация всей страны плюс советская власть!

Зэк посмотрел на Бээна как на сумасшедшего, устало откинулся на спинку кресла и сомкнул глаза. Но тут же он вскинулся. Его поразили слова лозунга, которым была опоясана верхняя часть Глобуса — окружье под потолком. Зэк видел этот лозунг и раньше, но воспринимал его как идиотскую бутафорию Глобуса. Театр Бээна. И только теперь Зэк осмысленно вчитался в белые слова на красном полотнище, слегка вылинявшем от времени:

ЖЕЛЕЗНОЙ РУКОЙ ЗАГОНИМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В СЧАСТЬЕ!

— Слушай, ты же обещал, что прибор можно будет подключать и к телефону! Правда, подключаться к телефону мы и без тебя умели... — Бээн подмигнул Зэку, — но если говорить об этой, как ее... супериндикаторизации всей страны... и если дешифрование мыслей нашего населения сосредоточить в одном месте, скажем, в Глобусе...

Заметно волнуясь, Бээн придвинул к себе один из телефонов с гербом. Это была «вертушка». Кремлевский телефон. Рука Бээна дрожала. Подержав трубку на весу, он положил ее на рычаги и придвинул к себе другой телефон — обычной московской связи.

— Давай, подключи сюда! — приказал он Зэку.

Тот молча сделал свое дело, и Бээн опять подмигнул ему.

— Сейчас мы узнаем, что думает про нас инженер человеческих душ, писатель тут один, фуй моржовый...

— Жетон? — спросил Зэк.

Бээн, уже набирая номер, покосился на него:

— А ты откуда знаешь про Жетона?

— Вы приезжали с ним в наш институт.

— Но этого писателя зовут вообще-то иначе...

— Вы мысленно сейчас назвали его Жетоном. Смотрите! — И Зэк указал на экран телевизора.

Бээн сбился, не глядя приткнул трубку на рычаги. На экране была изображена большая круглая бирка. Возможно, из цинка или другого металла. Как инвентаризационный номер на казенной мебели. Как жетон, который табельщик перевешивает с гвоздика на гвоздик у проходной.

— Ну ты и молодец! — только и сказал Бээн, смутившись. — Все же не зря вытащил я тебя из шараги...

Хотя это и было на него не похоже, но Бээн все-таки смутился. Удивил его умный еврей, удивил. Расколочил, можно сказать. Про Жетона без всяких слов узнал. Ох, уж этот Жетон...

Бээн вспомнил, как однажды зашла речь о трилогии Брежнева. Тогда много шума о ней было. Ну прямо новый Лев Толстой! А писатель этот самый, которому Бээн хотел сейчас позвонить, возьми и брякни, что трилогию написал вовсе не генсек. Мол, куда ему! Двух слов связать не может. И этот опус написали за него три подставных журналиста. «Ты ври, да не заворачайся», — мрачно сказал Бээн, покосившись на телефоны. Тогда писатель этот самый назвал имена журналистов. Люди в газетном мире были известные, даже Бээн их знал, хотя не жаловал газетчиков. И Бээн промолчал, как бы не желая продолжать этот разговор. Молчание было тяжелым. Бээн понимал, что надо бы как-то одернуть, осадить этого писателя, чтобы не болтал чего не надо. Тем более в кабинете первого секретаря обкома партии. Но, с другой стороны, этот писатель был нужен ему дозарезу как автор будущей книги. Может, такой же трилогии. О нем, о Бээне. Бойце партии. Такое название могло быть у книги. Бээн сам и предложил его. Хорошее название, правильное. И тут же, когда в первый раз у них зашел разговор о такой книге про земляков этого писателя, точнее — про одного только земляка, про Бээна, он вручил этому писателю прямо в кабинете канцелярскую папку красного цвета. Вроде как обложка будущей книги. Под материалы, значит. А писатель этот самый сдуру возьми и скажи ему, Бээну, что книгу надо бы назвать иначе, проще — **КРАСНАЯ КНИГА**. Очень, говорит, отвечала бы содержанию. Бээн артачиться не стал, хотя при случае спрашивал у этого писателя одно и то же: дескать, ну как там продвигается работа над книгой про **БОЙЦА ПАРТИИ**? И писатель чего-то бубнил в ответ. А сам выпустил какую-то странную книгу. **ГОМО ПРЕКАТАСТРОФИЛИС**. Если по-русски произнести. Хотя написано на обложке не по-нашему. Может, как раз на жидомасонском языке. Хотя писатель этот вроде бы русский и женат на русской же.

Словом, большой умник этот писатель. Хотя, конечно, классовое

чутье Бээн подсказывает совсем другое... Короче, не стал он тогда брать за холку этого писателя. И даже не оборвал, когда писатель, не на шутку разойдясь, вдруг сказал, что ради генсека и обмен членских билетов у них в Союзе писателей затеяли, генералы литературные расстарались, чтобы отблагодарить генсека за свои золотые звезды Героев Соцтруда — номер первый дать косноязычному генсеку. Бээн обомлел и снова покосился на телефоны. «А у тебя какой номер?» — только и спросил он. Писатель пожал плечами, достал из кармана красную книжечку и назвал номер. И Бээн запомнил его — как бы на всякий случай. Бээн по старой привычке лучше запомнил того или другого по его порядковому номеру. А в разговоре с Дятлом, которому Бээн дал задание разузнать, что именно пишет в своей Красной книге номер такой-то, под каким углом зрения пишет, они успелись называть этого писателя Жетоном, чтобы непонятно было непосвященным, о ком идет речь.

— Молодец! — повторил Бээн. — Полцарства не полцарства, а вот орденок я тебе, пожалуй, дам. У тебя какой последний-то был? — Он снова снял трубку.

Зэк не знал, куда теперь хочет звонить Бээн — то ли Жетону, то ли в отдел награждений, или как уж он там называется, этот отдел.

— Никакого ордена больше не надо мне... — сказал Зэк, собравшись с духом.

— Вот как? Вторую звезду Героя, значит, хочешь...

— Нет.

— А! — Бээн повеселел. — Царскую дочку...

— Мне нужен загранпаспорт.

— Не понял...

— Чего же тут непонятного? — Зэк осмелел и снова достал сигареты. — Хочу уехать.

— Куда уехать?

— Куда-куда! — с неожиданным раздражением сказал Зэк. — К черту на кулички! — Он спохватился и тихо добавил: — Куда глаза глядят... — И покосился на лозунг. — Я больше не хочу, чтобы меня загоняли железной рукой...

Бээн тоже посмотрел на потолок. Потом долго разглядывал Зэка, похлопывая себя по губам телефонной трубкой, как бы напоминая себе, что звонить нужно совсем в другое место.

— Ишь ты, как заговорил... — пробормотал Бээн. И презрительно скривился: — Инфузория...

Зэк вздрогнул и в ужасе уставился на Бээна, как если бы в его рукава был пистолет, а не телефонная трубка.

Бээн усмехнулся...

Судя по всему, они оба вспомнили сейчас один случай, который произошел в Зоне. Кто-то из светил вдруг отказался работать в шарашке над проектом нового оружия массового уничтожения. Именно так оно называлось. Как бы с легкой руки Сталина. Ему особенно понравилось в этом оружии то, что оно способно было, как уверяли ученые, уничтожить в один момент миллионы людей. У американцев нечто подобное уже было, но там счет шел на десят-

ки, в крайнем случае на сотни тысяч человек. А наши светила обещали сделать такую бомбу, которая ускорит проблему уничтожения всего живого на Земле в несколько раз. Престижная работа! А один из светил взял и отказался. Наотрез. Хотя в шарашке была совсем другая жизнь, чем в Зоне на строительных работах. Там — крошечный ад. А в шарашке и кормежка получше, и курево, и даже постель как у людей. Вам только борделя не хватает для полного счастья, шутил иногда Бээн, заходя к светилам в КБ. Но это уж вы сами виноваты, пожимал он плечами. Почему ученых баб светилами не сделали? Трудились бы теперь здесь вместе. Вот вам и бордель. Причем бесплатный. И некоторые светила, представьте себе, посмеивались. Правда, хрен их знает, что они хотели выразить своими усмешками. А один из них, который отказался работать над секретным проектом, бросил им, своим коллегам, прямо в лицо: «Вы инфузории!» Так и сказал. Коротко и непонятно. Причем презрительно. Слово это Бээну понравилось, хотя сам поступок зэка возмутил его до глубины души. И прежде чем прихлопнуть саботажника, Бээн расспросил, что бы оно значило, это диковинное слово. Похлеще матюга. Похоже, совсем не жидомасонское. И кто-то из светил ему объяснил, что оно означает. Бээн засмеялся. Хорошее слово! И правда, все они были инфузориями, эти светила. Большие люди — а маленькие. Вроде микроба. Бээн даже по плечу похлопал того зэка, светилу, который отказался работать над проектом. И тут же поставил его к стенке. Прямо в КБ. И прикончил одним выстрелом. Ворошиловский стрелок был, что и говорить. Опыт с малолетства. Светила были в ужасе. Воспитательное мероприятие, какое надо бы и теперь использовать. В эпоху этой самой перестройки. Чтoб не было никаких забастовок, никаких митингов и демонстраций — кроме первомайских и в день Великого Октября, с портретами вождей. Хрущев, новоявленный реформатор на час, это быстро понял. И расстрелял рабочих в Новочеркасске. Вот где истинная сущность этого вождя проявилась! А не тогда, на двадцатом съезде. Соратник Сталина, он им и остался до конца своих дней. Хотя распустил сопли в своих мемуарах. Если пьянствовал со Сталиным — зачем об этом всему миру рассказывать? Бээну это не нравилось. Вот почему он всегда считал Хрущева балаболкой. А теперь из него героя делают. Как же, разоблачил культ личности Сталина! Да чего же его было разоблачать? И так разве непонятно было? Кто наверху — тот и правит бал. Того и славословят инфузории. Бээн был уверен, что и новый генсек, тоже реформатор, придет рано или поздно к тому, к чему неизбежно приходит вождь в этой стране. Теперь уж это колесо не остановить. И разве в Тбилиси, девятого апреля, не первая проба была? Неужто сам генсек ни сном ни духом не ведал про то, что затевают его опричники?!

Бээн снова хрипло хохотнул, оскалив железные зубы.

— Инфузо-ории... — протянул он презрительно, и Зэк понял, что Бээн сейчас не о нем думает, не о его последних словах.

— Собственно, я ведь... — промямлил Зэк.

— Помолчи! — одернул Бээн. — Ты мне все сказал. И я это ценю.

Твою прямоту. Редко от кого услышишь... Хотя давно уже я никого не ставлю к стенке... — Бээн словно хотел усмехнуться, но щека его исказилась в гримасе, губы стянулись на сторону, и он жестко растер лицо ладонями. — Устал я... — тихо сказал он, как бы прислушиваясь к своему голосу. — Надо бы тоже уйти, уехать к черту на кулички... но это невозможно. Обратной дороги нет! — Он вдруг повеселел, такая перемена всегда пугала Зэка. — И надо, милые вы мои-и, — нараспев сказал Бээн, как если бы ехидно распекал он своих соратников там, в Сталинске, — идти до конца-а...

— Но вы же сами тогда, в шарашке, сказали... помните? Когда застрелили того ученого...

— А что я тогда сказал? — насутился Бээн.

— Вы сказали всем ученым там, в КБ, что они сами себя рабами сделали...

— Это я так сказал?

— Да.

— Я не так сказал. Я сказал им, что они, и правда, инфузории.

— Вы сказали им, что лучше вообще не жить, чем так жить, как жили они, узники шарашки, — твердо напомнил ему Зэк.

Бээн помнил, конечно, как сказал тогда этим светилам, инфузориям. И про рабов он им сказал, и про все остальное. У Зэка тоже хорошая память. Но Зэк не вспомнил сейчас вот чего — как Бээн сказал им там, в шарашке: «Вы рабы и рабами останетесь, и у вас не хватит духу поступить так, как поступил этот человек, — он кивнул на расстрелянного. — А если бы духу у вас хватило... — Бээн выдержал паузу, — тогда бы и нам, вашим вождям, всем крышка. Вот почему я сам, своей рукой прихлопну любого и каждого, кто заартачится!»

У Бээна опять щека задергалась в тике. Нервы стали ни к черту. Собственно, если уж признаться самому себе, он еще в тот день, когда хлопнул зэка-светилу в шарашке, впервые подумал о том, что рано или поздно появятся и другие отчаянные головы, смертники, а инфузорий, как ни крути, станет меньше, хотя их и развелось видимо-невидимо. И тогда вся железная система, подумал он, которую построили великие вожди на костях и крови народа... точнее — врагов народа, пойдет прахом. Вон еще когда он подумал об этом! Когда еще Сталин был живой. Когда ни в каком сне было невозможно увидеть, как жидомасоны демонтируют социализм.

Бээн с тоской посмотрел в том направлении, где могла находиться площадь Пушкина. Вся надежда на опричников.

— Значит, сначала я дал тебе советский паспорт, сделал свободным гражданином первой в мире страны социализма, — с печалью в голосе сказал Бээн, — а теперь ты уже хочешь и загранпаспорт заиметь, чтобы улизнуть, значит, на Запад... — Бээн буравил Зэка исподлобья ненавидящим взглядом. — Что-то я не уловлю смысла твоей идеи...

— Смысл самый простой, — понуро сказал Зэк. — Я устал. Смертельно устал от постоянного, каждодневного, ежечасного страха...

— Какого еще страха? Теперь-то чего тебе бояться?

Зэк усмехнулся и снова достал из кармана пачку сигарет.

— Допустим, — сказал он язвительно, — в нашей нынешней жизни вовсе нет ничего такого, что возбуждает в нормальном человеке постоянное чувство страха... Допустим! — Зэк уставился прямо в глаза Бэна. — Но я вовсе не уверен, что завтра, послезавтра, а может, и сегодня ночью не вернется старый порядок, не появится новая Сильная Рука, — произнес он с нажимом, — которая сразу же возьмется за топор палача! Нет никаких гарантий того, что этого не произойдет. Законы, которые обещали принять народные депутаты на очередной сессии?.. Даже если это и будут законы, похожие по своей букве на законы правового государства, все равно гарантий нет, потому как механизм старой власти, диктаторской, тиранической по своему существу, еще не сломлен и, похоже, до этого дело никогда не дойдет.

— Во-он ты как запе-ел... — протянул Бэн зловеще. — Не-ет, милый ты мой, ты вовсе не инфузория, как я погляжу, а матерый классовый враг!

— Я уже старик, — продолжал Зэк, будто и не слушая Бэна. — Я не вынесу пыток. Недавно я прочитал в газете о том, как следователь НКВД бил Мейерхольда резиновым жгутом... — Зэк в ужасе передернул плечами. — В свое время, выходит, мне еще повезло, меня так не били, жгутом. И вообще я почти сразу все подписал, что внушал мне следователь...

— Но ведь ты же не был шпионом! — вдруг заорал Бэн, и Зэк, словно очнувшись, глянул на него и понял, что Бэну тоже стало страшно.

— Конечно, никаким шпионом я не был, о чем говорить. Но представьте, что следователь сказал вам, физически крепкому человеку, что если вы добровольно не назовете себя шпионом все равно какой разведки, ее можно выдумать по ходу дела, то вас превратят в нечто бесформенное, окровавленное, искромсанное...

Теперь передернуло и Бэна. Он снова глянул на лозунг. Ему пришла в голову странная мысль. И страшная. А что если бы в те годы ему самому выпала совсем другая роль? Не та, какую он исполнил. Он был загонщиком. Одним из них. И по указанию Вождя загонял за колючую проволоку десятки, сотни тысяч людей. И убивал их. Всеми способами. Как врагов. Хотя это были самые обычные люди, ни в чем не виноватые. Миллионы загубленных судеб... И он, Бэн, загонял этих несчастных людей якобы в счастье. Так говорил сам Сталин. Бэну довелось беседовать с Вождем не раз и не два. Сталин говорил, что какая-то часть осужденных, если только это не классовые враги, сможет выжить. Если искупит свою вину перед советской властью. Самоотверженным трудом. А Бэн знал, что это за труд. Вряд ли в каком рабовладельческом государстве умели так выжимать из раба все силы. Зато первая в мире страна социализма сумела создать индустрию, какой не было у царской России, построить новые города, железные дороги, каналы. Вождь знал что к чему. Самый дешевый в мире труд! И вот если кто из этих рабов умудрился бы выжить, Сталин даровал ему возможность умереть при комму-

низме. Хотя и за колючей проволокой. Потому как нельзя было разобраться, кто из них враг, а кто, может, и не враг. Так что уже сама мысль, что ты умер при коммунизме, на его сияющих высотах или где-то неподалеку, хотя и за колючей проволокой, должна была, по замыслу вождя, сделать ээка счастливым. Вот в чем был смысл этого замечательного лозунга. И ему, тогда еще вовсе не бээну, а деревенскому парню Борьке Тихомирову, и выпало быть загонщиком.

Тут ведь как: или с той стороны проволоки, или с этой. Как говорится, в рубашке родился. Но рубашка рубашкой, а пришлось Борьке убить своего родного отца. Чтобы проявить классовое чутье и сознание. В двадцать восьмом году, когда Сталин приехал в Сибирь громить кулаков, отца Борьки загребли одним из первых. Мало того, что Тихомиров был зажиточным, дом под железной крышей, скотина в хлеву, своя пасека и воскобойня, но он был еще и попом. Разговор с ним короткий. Как тогда было? Этого — к стенке, этого — на телегу. Чтобы отправить неведомо куда. Вместе с малолетними детьми. Никого не щадили шустрые типы в черных кожаных куртках. И по всему выходило, что попа надо хлопнуть посреди села. Принародно. Для пущей остротки тех крестьян, коим велено было сливаться в колхоз. Вождь ловко придумал! Он решил свернуть нэп, и самый сильный удар пришелся по крестьянам. Низкими, ниже некуда, стали закупочные цены, а кому хотелось отдавать хлебушко задарма? Крестьянский труд едва ли не самый тяжелый, и мужики решили временно придержать зерно. Вождь объявил их саботажниками, врагами народа и сам возглавил кампанию по заготовке хлеба. Кара последовала жестокая. Это был геноцид, иначе не назовешь, хотя сам Бээн слово это недолюбливал и даже боялся его — как если бы оно прозвучало на судебном процессе, где жертвы судили бы своих палачей, в том числе и вождей.

Загонщики в черных кожанках вывели на площадь всю семью попа Тихомирова. Может, всех бы и не убили, но главный подозвал к себе Борьку и сказал: «Ты парень, я вижу, смысленный... Жить хочешь? По глазам вижу — хочешь... Тогда решай, — сказал он ему тихо, почти прошептал: — или ты сам, из этого вот нагана убьешь своего отца... и тогда мы отпустим на все четыре стороны и мать, и брата, и сестренку, а тебя наградим и в город отправим на учебу... или же мы расстреляем вас всех как врагов народа». Борьке показалось, что отец глядел на него не то что осуждающе, но с презрением. Неужели отец уловил в его лице решимость, про которую сам Борька еще не знал? Борька любил отца, но этот презрительный взгляд был непереносим, Борька плохо понимал, что он делает, и не помнит, сам ли он взял наган из рук уполномоченного или тот сунул его Борьке. Может, он бы и не выстрелил, если бы мать не закричала истошно: «Выродок!»

Почему она так назвала его? Он и мать любил. Хотя и замечал иной раз, как она с тяжелой пытливостью смотрела на него исподтишка, словно был он подкидышем или, того хуже, пасынком. Борька выстрелил, не целясь. Толпа вокруг охнула и затихла. Борька

видел как в тумане, что отец неловко заваливается набок, и выстрелил снова. Он целил как будто в младшего брата, но не то промахнулся, не то чекист успел ударить по руке. Борьку кинули в телегу, и один из чекистов погнался на лошадь в город. Так было задумано. Какое-то время Борька трясся в телеге, как полоумный, потом, уже за селом, соскочил, но возница догнал его, исхлестал плетью и снова швырнул в телегу.

В городе Борьку несколько дней держали взаперти, а потом, когда убедились, что никуда он теперь не убежит, вдруг представили Сталину. Это уж Николай Иванович расстарался, Ежов, он был тогда в тамошних местах секретарем крайкома. Хитрая бестия! И подлая. Он привез Борьку в пульмановский вагон, где был штаб Сталина по коллективизации.

«Убил своего отца?» — переспросил Сталин как бы с недоверием, колючими глазками вприщур уставясь на перепуганного Борьку.

«Да, товарищ Сталин, своего родного отца убил», — сказал с готовностью Ежов, подталкивая вперед Борьку, и тот молча кивнул, как его научил Николай Иванович.

«Отец был кулаком-мироедом?» — вроде как уточнил Сталин, издали пыхнув в сторону Борьки дымом из трубки.

«Ага, — несмело сказал Борька, еще больше растерявшись от того, что Сталин назвал его отца не попом, а кулаком да еще и мироедом. И, помолчав, Борька добавил вдруг с неожиданной твердостью: — Он был моим классовым врагом».

Николай Иванович сзади покашлял тихонько, выражая свое удовлетворение. Сталин долго смотрел на Борьку, все так же прищурившись и попыхивая трубкой. Потом он подошел совсем близко к нему, пугая Борьку, схватил его за нос. Борька на всю жизнь запомнил удушливый, как ему показалось, запах табака и одеколona. Он крутнул головой, но Сталин держал его цепко.

«Сопляк, — сказал Сталин совсем незлобиво и отпустил нос, горевший, как после удара. — Ведь нехорошо стрелять в родного отца, а? — спросил вождь, обращая свой вопрос, казалось, совсем не к Борьке, а ко всем чинам, которые были в это время в штабе. — Но, с другой стороны, если отец — классовый враг... — Сталин строго посмотрел на Ежова. — Шумиху по этому поводу не поднимать! Не надо...» — произнес он уже вяло, как бы даже со скукой в голосе, отходя к столу.

Ежов выпихнул Борьку за дверь. Но вечером привез ему кавказский кинжал в богатой оправе.

«Подарок товарища Сталина!» — сказал Николай Иванович, сияя плоским лицом, как если бы это был подарок ему, а не Борьке. Вскоре Борьку отправили в Москву, на учебу. С тех пор он и пошел в гору. Как было не полюбить вождю? И впрямь как отец родной. Всем народам отец. Хотя и зря придушил крестьян. Зачем — этого Борька не мог понять. Ни тогда, шестьдесят лет назад, ни теперь. Правда, вслух об этом он даже и не заикался. Он всегда был послушным проводником линии партии. Оттого и страдал теперь, места себе не находил, наблюдая за тем, как новый генсек в угоду пере-

стройщикам искривляет эту линию. С одним Бээн был согласен: раскрестьянивание допустили зря. Что и говорить, великий вождь всех времен и народов спорол дурничку. Дались ему эти кулаки-мироеды!

Впрочем, это пошло еще с восемнадцатого года — с легкой руки Владимира Ильича. Вон еще когда крестьянину объявили войну не на жизнь, а на смерть... Читал Бээн совсем недавно тридцать седьмой том Вождя и диву давался: до чего же не жаловал Ильич крепких крестьян! Какими только ругательствами он их не награждал: «самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплуататоры»...

Неужто и это все происки жидомасонов? Признаться, уж чему-чему, но этому верить Бээн не хотел. Как ни убеждали его друзья-заединщики. Среди которых вроде как и философы были. Патриоты. Ну и все такое прочее. Какие же они тогда вожди, спрашивал себя Бээн, если позволяли каким-то кукловодам, как называли заединщики разных там сионистов, околпачивать их, великих вождей? Не вязалось, не вязалось одно с другим. И Бээну тем сильнее хотелось заполучить заветный прибор Зэка, чтобы узнать всю правду: неужто эти новоявленные философы, патриоты и впрямь так думают, неужто нет в их словах коварного расчета? Жетон — тот прямо бухнул: «Провокаторы они, а не патриоты!» Бээн возмутился. Они схлестнулись. Но потом Бээн, поостыв, подумал, что есть, все же есть своя логика в словах Жетона. «Почему тогда Сталин уничтожал евреев, причем самых талантливых, известных, — спрашивал Жетон, зная про себя ответ, — если Сталиным, как говорят ваши заединщики, управляли жидомасоны?» И Бээн ответить ему не смог. Бээн и сам не понимал, что тут к чему. Зачем Сталин велел уничтожить и режиссера этого, еврея, как его... Майер... Муйер...

— Мейерхольд, — подсказал Зэк.

Бээн вздрогнул и быстро глянул на экран. Там было странное изображение. Как декорации в театре. И посредине сцены стоял эшафот.

Оказывается, все это время, пока Бээн молчал, вспоминая, как он стал загонщиком, телефонная трубка была в его руке. А прибор Зэка был подключен к аппарату. И Зэк втихаря расшифровывал всю эту муру, которая появлялась на экране телевизора. Ну и дела!

Бээн покрякал от досады, бросив трубку на рычаги.

— Ты мне, мудака старый, не пудри мозги-то, — сказал Бээн с глухой угрозой. — Давай ближе к делу. Прибор сварганил? Молодец! Теперь покажи все возможности этой штуковины, пользоваться научи. А потом уж потолкуем о вознаграждении.

— Нет! — вскинулся Зэк и ловко схватил со стола прибор. Ворон встревоженно каркнул. — Я в два счета выведу его из строя!

— Тихо, тихо... — Бээн поднял руки, будто сдаваясь, и насмешливо кивнул Зэку на ворона. — Ты чего благородную птицу пугаешь?.. Ну хорошо. Допустим, говорю, я дам тебе загранпаспорт, сделаю тебя счастливым... Допустим! — Бээн усмехнулся, глядя на Зэка, словно на чокнутого. — И билет в любую часть света достану. Кати! Так, хорошо... Ты уехал. А мне что прикажешь делать? — как бы даже с печалью в голосе произнес Бээн.

— То есть как что... — Зэк растерялся, как и всегда, от этой непоследовательности своего хозяина. — Вы будете осуществлять эту... как ее... индикаторизацию всей страны...

— Вот мудака! — восхитился Бээн этой наивностью Зэка. — Да чего ее осуществлять, если и без всяких приборов давно уже ясно, что половина челяди, если не больше, в этом самом царстве-государстве превратилась в полных дебилов за годы советской власти. Дебилы вступают в брак с дебилками и дают новое поколение дебилов. Это и есть строители коммунизма...

Зэк сидел, как оглушенный. Он знал, что Бээн порой бывал цинично откровенен, высмеивал и вождей, и всю систему, произнося даже свое любимое слово «диалектика» с таким оттенком, как если бы слово это означало весь мыслимый и немыслимый бардак. Ничем, казалось, нельзя было удивить Зэка. Но такого юродства Бээна по поводу строителей коммунизма он еще не слыхивал. Впрочем, Зэк знал и другое: здесь, в Глобусе, не было подслушивающих устройств. Зэк сам это проверил по приказу Бээна, и система электронной блокировки экранировала любой возможный зондаж снаружи. Бээн в Глобусе был без маски, вот в чем дело. А Зэка не принимал в расчет как свидетеля. Бээн знал, что Зэк никогда не был стукачом. И не будет. Все это так. Но тем не менее слова Бээна потрясли Зэка. Таким откровенным Бээн еще не был. И Зэк подумал, что это не к добру. Теперь, когда прибор был готов, Бээн мог и не выпустить Зэка из Глобуса.

— Индикаторизация, — пробурчал Бээн, следя за Зэком, вертевшимся в руках прибор. — Поздно, пожалуй... Индикаторизация — дебилизация! — хрипло хохотнул он, оскалась. — Вряд ли, ми-илые вы мои-и, — нараспев произнес Бээн, обращаясь как бы не к Зэку вообще, которого видел и не видел, а к своим соратникам, обкомовцам, так называемому активу, — вряд ли теперь хотя бы половина челяди верит в Идею Вождя-а... даже школьники высмеивают Идею в своих анекдотах... А вторая половина челяди — это дебилы! — Бээн обескураженно развел руками. — А дебилам вообще никакая идея не нужна, у них одна забота — украсть, пожрать, посрать, поебаться и срам свой дефицитными тряпками прикрыть. Чтобы обязательно дефицитными! Вот ведь недоноски что делают... Правда, и дебилам втолковать можно, что такая их жизнь будет вечной, незыблемой, на халяву, как говорится, если они будут верить в Идею Вождя, не только верить, но защищать ее от перестройщиков, которые не хотят, чтобы дебилы воровали, а стало быть, жили припеваючи, не работая, по сути дела. Как думаешь, можно дебилам втолковать это? — Бээн с насмешливой пытливостью посмотрел на Зэка. — Впрочем, нет, верить в Идею даже дебилы теперь не будут... но драться за Идею, воевать с этими прорабами перестройки они, ясное дело, станут! Вот где наша опора!.. — Бээн пристукнул кулаком по столу. — Да, но если только воровать... а больше ничего толкового, путного дебилы не умеют... то недолго и в трубу вылететь, все духовные ценности социализма растерять... — Бээн был озадачен. — Как бы еще и работать заставить этих дебилов?

«Он вроде как издевается надо мной... — тоскливо подумал Зэк. — И не отпустит он меня... заставит делать новый прибор, что-нибудь для принудительного стимулирования производственной деятельности дебилов...»

Зэк вздрогнул, когда на столе Бээна вдруг затрезвонил телефон. Бээн тоже поначалу опешил, он как будто и не ждал сегодня, в воскресенье, никаких звонков и скользнул взглядом по телефонам — какой же из аппаратов звонит? Он потянулся рукой к «вертушке», преображаясь лицом в это короткое мгновение. И не только лицом. Вся фигура Бээна, все движения его тела выражали сейчас крайнюю степень подобострастия к невидимому абоненту. Бээн все же знал, видно, кто может позвонить ему, и даже из кресла пытался встать в знак уважения. Точнее, это было проявление субординации — как житейский навык того же дебила, связанный с физиологическими отправлениями.

Бээн вовсе не говорил — он пел. Это было верноподданическое пение номенклатурного соловья крупного ранга птице куда более крупной, может, секретарю ЦК или даже члену Политбюро. Бээн бережно прижимал трубку к щеке. От волнения он стал пятнисто-красным. И было такое впечатление, что Бээн без всякого труда приподнялся в кресле, невесомо над ним воспаря, хотя был весьма тяжел и обычно выбирался из кресла, опираясь обеими руками о подлокотники.

— Я тоже прямо скажу! — Бээн как присягу давал. — Что я от своих принципов не отступлю.

Зэк уловил, что Бээн обещает невидимому бээну, вождю, приложить все свои силы — именно так он и сказал — для борьбы с теми врагами социализма, которые под видом перестройки заносят руку на партию Ленина. И Зэк понял, что речь идет о чем-то важном в судьбе Бээна, точнее, в его карьере. Кажется, Бээна переводят сюда, в Москву. И Глобус, его временная резиденция на тот период, когда он бывал в Москве наездами, станет отныне постоянным штабом Бээна. Центром супериндикаторизации страны...

Бээн бережно пристроил трубку на рычажки телефона и плюхнулся в кресло.

— Ну что, фуй моржовый... — Он глянул насмешливо на Зэка. — Давай это дело устаканим!

Глядя на Бээна, Зэк пытался угадать, какой новый поворот может принять их сегодняшняя встреча, уже донельзя затянувшаяся. Бээн кнопку на мини-пульте нажал, дверцы бара в стенке открылись, и столик на колесиках мягко выкатился оттуда.

Это была скатерть-самобранка. Сладкий миг алкоголика. Мука тяжкая для Зэка. Застарелая язва мучила его со времен шараги, и не было от нее никакого спасения. Врачи говорили: «Брось курить!» Но курение было последней для него отрадой. Горькой отрадой. Дым табака помог ему выжить, дотянуть до конца работы над прибором. Именно дым табака. Хотя сам по себе он разъедал язву желудка. Одно губил, другое врачевал. Он врачевал его душу. Глубокая затяжка дымом словно уносила Зэка в далекое прошлое — туда,

когда еще не было шараги, когда будущее представлялось молодому кибернетику далью и впрямь с сияющими вершинами. Он был тогда счастлив. И это давнее ощущение счастья, пусть так и не сбывшегося, давало силу ему и теперь, как ни странно.

— Давай подходи, наливай!

— Но вы же знаете...

— Не пудри мне мозги, — отмахнулся Бээн, беря большой бокал. — Язву только спиртом и надо лечить... Ни фуя вы, евреи, не знаете! — хохотнул он, обнажая золотые зубы, как если бы это была и впрямь смешная шутка. — С народной медициной не имеете дела, потому как оторвались от своего народа... — Он опять оскалился. — Дам, дам я тебе загранпаспорт! И кати в свой Израиль. Да нет, ты не обижайся! К евреям я хорошо отношусь, кхм... Как интернационалист. Коммунист-интернационалист! — поправил он себя с пафосом. — А теперь к тому же моя новая работа в Москве... — Бээн маслеными, слезящимися глазами посмотрел на «вертушку».

Значит, Зэк угадал. Бээна можно было поздравить с повышением. В рубашке родился. Других, таких же, как он, потихоньку на пенсию отправляют, на заслуженный, дескать, отдых после трудов праведных — вместо суда народного. За геноцид. За развал экономики. За уничтожение в человеке человеческого. А Бээна двинули наверх. Может, как раз тот самый бээн и звонил Бээну, чье имя он тайно вывел на бумажке?

Бээн ухмыльнулся, будто эти мысли Зэка угадал, и свободной рукой взял со стола бумажку, глянул украдкой на имя своего благодетеля.

— Совпадение, говоришь? Давай выпьем за совпадение! — Он сунул бумажку в стол и взял бутылку водки. — А ну, подставляй! Сначала выпьем за твой прибор, потом — за мое новое назначение.

Бээн протянул в сторону Зэка бутылку с водкой, готовый налить, и тот, не сводя с хозяина остановившегося взгляда, на ощупь взял со столика бокал и подставил к бутылке. Хрусталь в руке Зэка тонко позванивал. Бээн плеснул, как меркой, точно до краев. И налил себе. И выпил одним крупным глотком, не выпил — опрокинул содержимое в рот.

— Давай, подклучи фуёвину к этому телефону, — сказал он, даже не глянув на столик с закусками.

Зэк только сейчас и спохватился, что прибор был у него в руке. С той самой минуты, когда он схватил его со стола Бээна.

— Потом, потом поговорим про вознаграждение... — буркнул Бээн с легкой насмешливостью, торопя Зэка взглядом. — Вот молодец, правильно! — похвалил он, когда прибор был подключен. — Сначала Жетон! — как бы напомнил Бээн сам себе, набирая номер. — А потом уж и Дятлу звякнуть надо... Хотя нет, стоп! — Он бросил трубку на рычаги. Его лицо набрякло краснотой, глаза утонули в прищуре. То ли хмель брал Бээна, то ли вдруг пало ему на душу какое-то новое желание. — Ты вот что... ты говорил, что твоя фуёвина все может... а если, к примеру, было видение, вроде как наяву... его можно перевести на экран телевизора?

— Можно, — кивнул Зэк. — А какое именно вас интересует?

— Их было два, — покорно сознался Бээн.

— Я так и предполагал...

— Давай второе, где разгоняли демонстрацию экстремистов... — неожиданно смутившись, тихо сказал Бээн, словно хотелось ему посмотреть нечто непристойное, вроде порнофильма.

Зэк нажал кнопку прибора, и на экране телевизора быстро замелькали знакомые кадры. Как если бы он перематывал теперь кассету с видеозаписью. Вот это прибор так прибор! Бээн в азарте потер ладони одну о другую. Мелькнула толпа... звезды Кремля... лозунг в руках сопливых перестройщиков: «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!», потом другой лозунг, на крыше здания: «ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!», и тут резанула по глазам вспышка милицейской мигалки... Ага! Вот они, опричники.

— Стоп, стоп! — крикнул Бээн.

Зэк нажал кнопку, и Бээн, волнуясь, ерзая в кресле, еще раз посмотрел всю картину до конца. Точнее, до того момента, когда растерзанная девчонка вот-вот должна была закричать из автобуса с зарешеченными окнами: «Фашисты, что вы делаете?!» Бээн опередил ее, приказал Зэку:

— Все, хватит!

И голос девчонки так и не прозвучал в Глобусе. Но зато Бээн спокойно подвел итоги:

— Что надо, то и делаем. Охраняем завоевания Октября...

Зэк был бледен. Почти как в обмороке. В его руке дрожал прибор, и на экране телевизора было изображение слабо пульсирующего сердца в кровавом разрезе грудной клетки.

— Ну ладно, — поморщился Бээн, — хватит лирики! Давай-ка все же узнаем, как там у нашего Жетона идет работа над книгой... Про бойца партии, которая...

Он по памяти набрал номер телефона. В трубке раздались долгие гудки. На экране телевизора, подключенного к телефону через индикатор, замерцала звезда. Индикатор готов был работать с реципиентом.

«Охота на ведьм началась...» — тоскливо подумал Зэк.

Стрелецкая бухта

...И вопрос, который я осмелилась
задать Музе...

Анна Ахматова

А мне-то непотворной все было невдомек,
Все было я надеялась на одну себя.
И дар мой беспризорный был дик и одинок,
Выщелкивая дробь, в сопилочку трубя.
А кто в ту дудку дует, я не умела знать,
И кто на камышине налаживал лады,
И смуглую подругу не смела я узнать,
На херсонесском плесе ронявшую следы.
Я думала, для Анны она — не для меня,
А я сюда не званна, и ей не до меня,
Я думала — пустыня, а то была гордыня,
Обутая в смиренье вела меня, маня.
Сандали из сандала сама носила я,
Сама себе вязала дырявые платки.
Она мне не являлась, свой белый свет лия,
Не снилась мне в те ночи, что были коротки,
Перстами не касалась, не глянула в лицо..
По гальке — не по галсам скрипел мой парусок.
Само собой ронялось с худой руки кольцо
Под колесо гудрона, а не в морской песок.
И лишь когда сковало тупою немотой,
Вдали я увидала затылок золотой.

Утром

Опять проснусь на первом этаже.
И свет сквозь сеть бумажного гипюра.
Готовый день — хрустящая купюра,
Копейка, запеченная в корже.

О, только бы помедлить,
потомить
Себя — не сразу в кубатуру эту.
Не подобрать червонную монету,
Блаженной дрожи нить не обломить.
Не обронить свой неуклюжий груз —
Бесформенный еще,

Еще невнятный,
Оплаченный кровинкой неоплатной...

О Господи, я, кажется, согнусь
Под ним,

паду,
Я не возьму твердыню...
Уже течет на голову смола...
А я карабкаюсь...

Я не смела
И никаким оружием не владею.
Ни ловкости, ни лука, ни пращи...
Я не штурмую крепость.
Я радею.
Одни вериги, Господи прости,

Да бубенцы — прости мою гордыню.
И помоги хоть шаг ступить за страх
С неведомым, что на хребте несу я.
В миру,

в позоре,
в схиме,
во грехах,

В бессменной муке —
Только бы не всуе.

1968 г.

* * *

В. Г. Ш-к

Платочек белый в крапинку носить.
Завязывать платочек в узелок
И приносить в луга, куда косить
Ты ходишь, шей коричневый горшок...

Такой первопрестольной простоты
Я не молю — наследовать не смею,
Такой исход не по моим грехам.

Но, Господи, пошли нам, беднякам,
Ту тропку, что петляет вслед за нею
По вымощенным насмерть площадям,
По белокровной пригородной травке,
Где вертишься козявкой на булавке
Над тумбами развесистых столов
В полуподвалах вымученной плоти,
Позволь дрожать росинкой на болоте...

1970 г.

Город все еще не изнемог,
Попираемый тяжело нами.
Он еще костями не полег
Под колесами и ногами.
Даже кажется, что притих
В этом гуле, гоньбе, снованье,
В перекрестном слепом миганье
Красно-желто-зеленых шутих.
С этой яркостью вперевой
С каждой голой стекает ветки —
Не зеленый, не голубой
И не белый, а тихо-светлый.
Принимая смиренно гнет,
А быть может, не замечая,
Угловатость свою смягчая,
Весь куда-то плывет, плывет...
Все, что взгляд мой окинуть смог,
За прозрачными парусами.
То ли марево, то ли смог,
То ли стала слаба глазами.

Шахматово

Инне

Только камень.
Только лес —
Тот же все, зубчатый.
Только тот же свет с небес
С тучей непочатой.
Только внуки тех цветов
Расцветают ало,
Что Офелия-Любовь
В песенки вплетала.
Только эта тишина
Надо всей округой
Дышит — быть или не быть? —
Гамлетовской мукой.
Только ветер над травой,
Бором и дубравой
Тот, что плыл над головой,
Молодой, кудрявой.
Тот же голубой огонь
По верхушкам елок.
И как будто тот же конь
Вышел на проселок.

Учитель музыки

Новый учитель музыки прибыл позднее осенью и сменил Голубова, военрука и преподавателя труда, который совмещал эти занятия еще и с уроками пения: в назначенный час, подкрепившись стаканом разведенного спирта, он распевал вместе с будущими учителями, студентами Анадырского педагогического училища, свои любимые песни — «Бежал бродяга с Сахалина», «Ноченьку», «Когда б имел золотые горы...»

Звали нового учителя Иосиф Федорович Донин. Для только что научившихся русскому местных ребят произнесение чуждых звуков все еще было довольно затруднительно, особенно эти два «фэ».

На вопрос эскимоса Тэюна, откуда он прибыл, новый учитель ответил коротко: с Колымы. Скорее всего, Иосиф Федорович Донин приехал с юга Колымы, потому как в его речи несколько раз упоминался город Магадан.

Директор училища Ланкин, выпускник Хабаровского педагогического института, как-то намекнул, что новый учитель музыки — человек трудной судьбы. Человеком трудной судьбы в училище до этого считался эвен Дулган, сирота и эпилептик, время от времени обворывавший кухню.

В училище в самом большом классе стояло пианино. Оно было закрыто на ключ, хранившийся у директора Ланкина. Донин первым делом открыл этот загадочный инструмент, пробежал пальцами по клавишам, поморщился, словно съел что-то кислое. Несколько дней он возился с инструментом, окруженный нетерпеливо молчавшей толпой студентов. Новый учитель выстукивал пианино, как врач больного, что-то в нем подкручивал, и струны в глубине черного ящика отзывались странным обнадеживающим стоном, удивительно похожим на человеческий.

Настал день, когда Донин заиграл на пианино по-настоящему. С первыми же звуками ожившего инструмента во всем длинном деревянном здании училища воцарилась тишина. Стал слышен приглушенный вой зимней пурги.

Звуки завораживали, и слушатели переставали замечать грязную рубашку Донины, потрепанную куртку странного покроя.

Да, это была доселе не слыханная и никогда не звучавшая не только в этих стенах, но, быть может, на сотни и тысячи километров окрест музыка, и новый учитель захватывал не только самими звуками, но и именами великих композиторов, которых он называл с особым благоговением: Бетховен, Лист, Шопен. Когда начинался

очередной урок, все училище замирало и даже в классе Ланкина, учителя истории, студенты застывали в напряженном внимании.

Толстые, грубые пальцы Донина резво, как тундровые мышцы, бегали по черным и белым клавишам, словно пересекая пласты подтаявшего снега на весенней тундре. Возможно, музыкант иной раз и фальшивил, да неискушенные слушатели не замечали этого.

Но однажды Ланкин сделал замечание Донину:

— Все хорошо... Но надо учить студентов и революционным песням... Надо, чтобы музыка, как говорится, помогала строить и жить, звала вперед, в светлое будущее... А то все Бетховен да Бетховен...

— Извините, гражданин... то есть, товарищ директор, но это сочинение Людвиг ван Бетховена любил слушать сам Владимир Ильич Ленин... Об этом можно прочесть в воспоминаниях Крупской.

— Ленин любил и «Варшавянку», — многозначительно напомнил Ланкин, подавляя учителя музыки своей эрудицией.

Донин вздохнул, взъерошил свои седые волосы, положил заскорузлые, совершенно немзыкальные пальцы на клавиатуру пианино, и класс заполнили бравурные звуки старой революционной песни.

Казалось, среди молодых людей, собранных со всей Чукотки в это длинное здание в окружном центре Анадыре, не осталось ни одного, кто бы не полюбил музыку.

Но, пожалуй, сильнее всех привязался и к музыке, и к новому учителю эскимос из Наункана Тэюн, получивший по тогдашним обычаям имя и отчество: Василий Иванович. Ему нравилось напоминать кстати и некстати, что именно так звали героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. При этом держал себя Тэюн так, словно состоял в близком родстве с героем. А когда в стареньком клубе, где до революции размещалась единственная на всем северо-востоке Российской империи православная церковь, показывали кинофильм «Чапаев», Тэюн считал своей обязанностью, пропуская занятия, посещать все сеансы.

Тэюн буквально ходил по пятам за новым учителем музыки, готов был исполнить любую его просьбу, старался громче всех петь революционные песни на уроках Донина, вытирал пыль с зубастых клавиш и замирал в оцепенении, едва из чрева музыкального ящика вырывались полнзвучные аккорды. Он быстро запоминал не только простые песни, но и довольно сложные.

Всем был хорош этот рослый парень, рожденный быть отважным китобоем, но волею судеб осваивающий профессию школьного учителя, если бы не русский язык... Он хуже всех успевал по этому главному предмету и сам страдал от своего неистребимого акцента и неправильного употребления времен и падежей.

Эти злополучные два «фэ» в имени и отчестве обожаемого учителя музыки были для бедного Тэюна непреодолимыми. Он мучился, искал выход и, как ему показалось, нашел. Он стал звать Донина «Иосиф Виссарионович», что, безусловно, выражало его безграничное восхищение и уважение.

Когда Тэюн с сияющими глазами впервые после очередного концерта обратился к музыканту «Иосиф Виссарионович!» — тот неожиданно вздрогнул, словно его ударили. В те годы имя великого вождя, отца и друга всех народов, включая и эскимосский, надлежало произносить только совершенно правильно. В противном случае, во избежание всяческих неприятностей, лучше было промолчать.

Донин вобрал свою седую голову в воротник, глухо кашлянул и сделал вид, что не слышал.

— Иосиф Виссарионович! — взволнованно повторил Тэюн. — Сегодня вы играли такое... Очень хорошее... Кто это сочинил?

— Шопен, — глухо отозвался музыкант. — Польский композитор.

— Какой хороший человек! Откуда он родом?

— Из Польши, разумеется, — ответил Донин. — Разве ты не помнишь, среди освобожденных Красной Армией от фашизма есть и польский народ.

— И этот Шопен, значит, теперь тоже на свободе?

— Нет. Шопен умер своей смертью, задолго до фашистов...

— Как жаль! — вздохнул Тэюн. — Немцы замучили?

— Нет. Шопен умер своей смертью, задолго до фашистов...

— А тоже хорошая музыка, — одобрительно заметил Тэюн. — Иосиф Виссарионович! Но Шопен несколько не хуже Бетховена!

И снова было заметно, как вздрогнул Донин, как испуганно огляделся вокруг.

Он дождался, пока ребята разошлись, и сделал знак явно польщенному Тэюну остаться.

— Дорогой Василий Иванович! — музыкант, кроме всего прочего, отличался отменной вежливостью и даже своих учеников если и не называл на «вы», то обычно присовокуплял к обращению что-нибудь ласковое и уважительное. — Дорогой мой, — умоляющим голосом сказал музыкант, — прошу тебя, не называй меня так...

— Но мне очень трудно произносить два «фэ», — огорченно признался Тэюн.

— Но все-таки...

— Вам не нравится Иосиф Виссарионович?

— Нет-нет, — испуганно мотнул головой музыкант. — Мне очень нравится Иосиф Виссарионович! Очень! Но ведь это имя великого вождя! Разве можно другого человека называть чужим именем?

— Почему нет? — искренне удивился Тэюн. — Меня же назвали в честь героя гражданской войны Василия Ивановича Чапаева... На третьем курсе у нас учится парень из Энурмина — Илир. Еще в первом классе ему дали добавочное имя — Карл Маркс. Недавно получал паспорт, там так и написали — Карл Марксович Илир. А у меня, значит, будет Василий Иванович Тэюн...

— Но у меня уже есть свое собственное имя и отчество — Иосиф Федорович, — напомнил Донин.

— Но Иосиф Виссарионович лучше! — с торжествующей улыбкой произнес Тэюн. — И легче произносить!

— Конечно, лучше! — согласился учитель музыки. — Я понимаю... Но все же не зови меня так, пожалуйста...

— А как же мне вас называть?

— Зови, если уж на то пошло, гражданин Донин.

— Гражданин Донин, — медленно и отдельно произнес Тэюн. — Это не очень хорошо... Но если вам неприятно называться именем великого вождя...

— Нет-нет! — запротестовал музыкант. — Я не сказал, что мне неприятно... Понимаешь, как бы тебе объяснить? Я не достоин этого имени. Вот! Не достоин!

Лицо Тэюна вытянулось, а на лбу пролегли две морщинки.

— Скорее Карл Марксович Илир не достоин называться именем основоположника коммунизма, — задумчиво произнес он. — Но вы — такой музыкант! Наверное, не хуже товарища Сталина играете на пианино.

— Знаешь, Василий Иванович, наш разговор, по-моему, становится несколько отвлеченным, — осторожно проговорил Иосиф Федорович. — Думаю, что такому занятому человеку, как товарищ Сталин, совершенно необязательно самому играть на рояле.

— Наверное, ему играют! — догадался Тэюн. — Вот уж он всласть и вдоволь слушает музыку! Когда хочет и сколько хочет!

До того, как он познакомился с музыкой в исполнении Иосифа Федоровича, Тэюн думал, что самое большое счастье на земле — это наестись вдоволь сгущенного молока, обмакивая в него свежий белый хлеб.

— Я бы тебе посоветовал, дорогой Василий Иванович, — произнес учитель музыки, — так просто не говорить о Сталине. Это не предмет шутливого и легковесного разговора.

— Я не шутливо, а серьезно, прямо разговариваю с вами, — возразил Тэюн. — Я честно говорю: никогда до вас такой музыки не слышал! И такого человека, волшебника-музыканта, не видел. Пианино я видел раньше, в Уэлене, на полярной станции. Тамощный доктор играл танцы для женщин и помогал певцам на концертах в честь революционных праздников. Но чтобы Бетховена, Шопена или Брамса — такого он не умел. Другую музыку я знал только с гармошки да с патефонных пластинок... Нет, Иосиф Виссарионович, вы, наверное, такой же великий человек, как и сам Сталин!

— Тэюн! Замолчи! — учитель в отчаянии схватился за голову. — Что ты говоришь! Ты погубишь себя и меня! Прошу тебя, дорогой Василий Иванович, оставим этот разговор... И давай договоримся: не называй меня так... Ну, зови как хочешь, пусть даже чертом, я не буду обижаться.

Тэюн ничего не понял. Смятение его усиливалось тем, что музыкант упорно называл его по имени и отчеству, что, как знал Тэюн, было признаком величайшего уважения: не каждый взрослый чукча, получивший имя и отчество, удостоивается такой чести, если не считать нескольких земляков, достигших высоких постов.

Но Тэюн понимал и чувствовал, что просьба Донина отнюдь

не связана с умалением себя как музыканта, но с чем-то иным. Ибо, как полагал Тэюн, чтобы играть так и такую музыку, надо самому быть большим человеком, крепко уважать свое мастерство, гордиться им.

Тэюн продолжал быть среди первых слушателей Донина. Он сидел тихо, порой зажмурившись и раскачиваясь в такт, вспоминая серую череду студеных волн в Беринговом проливе, крик чаек на ближайшем птичьем базаре или зимний шелест сухого снега по черным промерзшим скалам... Сквозь радугу зажмуренных глаз он видел облака над высоким берегом, слышал крики птиц, различал остров Имаклик и прильнувший к нему второй скалистый островок Иналик. Из Наукана казалось, что это один остров, одна земля. Вспоминал песни собственного народа, исполняемые под звон бубна, мысленно видел звериные и магические танцы вернувшихся с охоты на кита сородичей.

Тэюн размышлял, отдаляясь в своих думах не только от приятных созвучий музыки, но и от всего окружающего, как бы уходил из этой комнаты, ограниченной деревянными стенами из запузырившейся фанеры, покрытой зеленой краской, чиненными и перечиненными столами и такими же старыми скрипучими скамейками, на которых сидело уже второе поколение студентов Анадырского педагогического училища. Первые студенты приехали сюда в тридцать девятом году. Теперь они работали в дальних селах и стойбищах, обучая своих земляков родному языку и другим новым наукам.

Приезжие люди всегда интересовали Тэюна. Они были и в родном селении Наукане. Прежде всего учителя. Учитель физики и математики Сериков женился на одной из первых выпускниц училища — Кыгак, дочери Кэргитагина, морского охотника и китобоя. Русский учитель даже переселился в ярангу и поставил в меховом пологе двuspальную никелированную кровать. Где-то за горами, за тундровыми пространствами, пересекавшимися большими и малыми реками, испещренными озерами и озерцами, располагались иные земли с другим населением, другими языками, другими обычаями, другими песнями... Там прошла война, оттуда пришли грамота и учебники, напечатанные на родном языке, оттуда приезжало самое разнообразное начальство, начиная с секретаря окружкома партии и кончая главным поваром только что построенной на краю окружного центра столовой.

Среди приезжего начальства как-то чужеродно гляделись земляки-выдвиженцы, но иные достигали очень больших высот, как, например, председатель окружного Совета, уроженец Уэлена, хромой Отке, совсем недавно избранный в Верховный Совет. Отке быстро приучился пить спирт вместе с русскими начальниками. Тогда это не считалось большим грехом, ибо в то время в Анадыре спирт был обычным напитком, порой даже более распространенным, нежели чай.

Но не это интересовало Тэюна в поведении пришельцев из другого мира. Ему хотелось проникнуть в их душевное состояние,

в их сокровенные помыслы, которые, как он полагал, отличались от дум человека, рожденного в хижине на берегу Берингова пролива.

Тэюн много читал. Но на страницах, испещренных волшебными значками, он чувствовал какую-то подспудную недоговоренность. Почему учителю музыки так не хочется, чтобы его звали Иосифом Виссарионовичем? Что в этом плохого? Почему он не то что обижался, когда слышал от Тэюна имя великого вождя, но даже как-то пугался... Странно... Почему? Может, это у них грех? Тогда почему приезжие учителя так любят называть русскими именами своих чукотских и эскимосских учеников? Как вот его — Василием Ивановичем или же Илира — Карлом Марксовичем. А сколько Владимиров, названных в честь другого, правда, умершего вождя — Владимира Ильича Ленина!.. Только вот Иосифов не было. Ни разу. Кроме самого Иосифа Федоровича Донина, ни один Иосиф Тэюну больше не попался.

Быть может, это особенное, редкое, многозначительное имя, которое давалось в исключительных случаях особо отмеченным людям? И между именем великого вождя и именем учителя музыки загадочная связь, недоступная пониманию простых людей? А что значит само имя Иосиф? Большинство чукотских и эскимосских имен имели какое-нибудь значение, смысл. Например, имя самого Василия Ивановича — Тэюн. Оно было чукотского происхождения и означало «солёный». Почему именно так назвали родители Тэюна, он об этом как-то особенно и не задумывался... Видно, это было связано с каким-нибудь обычаем, поверьем, а то и просто случаем... Или же кто-нибудь из родичей или же предков вновь появившегося человека носил такое или похожее имя. В Уэлене проживал дальний родственник Тэюна — Тэюттын, что означало «солёная собака». Должно быть, имелось нечто затаенно значительное в смысловой связи имен...

Зима как-то незаметно повернула на весну, сквозь метельные мглистые тучи все чаще пробивались солнечные лучи, неожиданно, непривычно ласково касались обожженного морозом лица.

Длинная крыша педагогического училища ощерилась ледяными сосульками, и порой в тихой паузе, когда умолкал голос преподавателя истории Ланкина, с мокрым звуком от сырого, прогретого сухим теплом дерева отрывалась толстая мутноватая сосулька и смачно, сладострастно, с легким шелестом вонзалась в подтаявший сугроб под окном.

Вечера стали светлыми. Электростанция подолгу молчала, и в неожиданной весенней тишине далеко разносились звучные аккорды старого пианино.

От зорких глаз студентов педучилища не укрылось изменение в поведении учителя музыки: не было сомнения — Донин влюбился.

Ксения Морозова, выпускница Костромского зооветеринарного техникума, появилась в Анадыре почти одновременно с Дониным, на последнем пароходе. Конечно, никаких оленей она сроду не видела, но это не помешало директору школы колхозных кадров отставному майору Лобову уцепиться за единственного дипломированного

специалиста. И Ксения Морозова начала преподавать оленеводство.

Впервые Ксению Морозову, всю зиму закутанную в ватное пальто, хорошенько разглядели в окружном Доме культуры на первомайском концерте. На девушке было пестрое ситцевое платье, чулки, туфли, благо жила она рядом с ДК и ей не грозило потерять обувь в непролазной грязи весенней улицы.

Иосиф Федорович Донин играл в этот вечер как никогда.

Тэюн сидел во втором ряду (первый занимало местное начальство — секретарь окружного комитета партии, чекист Петренко, редактор газеты и другие значительные по местным масштабам лица).

Ксения Морозова не сводила восторженных глаз с музыканта.

После торжественного вечера и общедоступного концерта избранные лица и местное начальство уединились в закрытой для широкой публики столовой. Эта часть праздника называлась банкетом, на него был приглашен и Донин.

Для студентов педагогического училища еще одним праздничным развлечением была возможность, прильнув к мутным стеклам поселковой столовой, с любопытством наблюдать, как в зыбком тумане кружились пары, а учитель музыки сидел в глубине зала и, слегка наклонив седую голову, наигрывал на трофейном аккордеоне модный танец-фокстрот «Рио-Рита». Рядом с ним в своем праздничном платье сидела Ксения Морозова. Ее часто приглашали на танец, и она проносилась мимо, красивая и загадочная.

Тэюна обуревали противоречивые чувства. Ему показалось несправедливым, что появилось еще одно человеческое существо, которое относилось к седовласому кудеснику с любовью и уважением. Ведь он, Тэюн, один, самостоятельно догадался о том, что Донин не просто хороший музыкант, но, быть может, и настоящий гений, сродни тому великому человеку всех времен и народов, который неустанно работал в Кремле, откуда руководил разгромом немецко-фашистских захватчиков, а совсем недавно отменил карточную систему и провел денежную реформу.

Тэюну даже казалось, что возникшая любовь учителя музыки к преподавателю оленеводства была до некоторой степени предательством по отношению к нему, истинному ценителю и любителю классической музыки.

Тэюн с бессильной тоской наблюдал, как Донин и Ксения уходили в расцветающую тундру. Они медленно шли берегом реки Казачки, петлявшей по низинной тундре, к синеющей вдали горе Святого Дионисия, на мягкие, покрытые белесовато-голубым оленьим мхом кочки.

Ему буквально приходилось сдерживать себя, чтобы не пуститься следом за счастливой парой. Но еще более мучительными были вечера, когда Донин приводил любимую в свой огороженный фанерой закуток студенческого общежития, и слух Тэюна невольно настораживался, и он ловил каждое слово, каждый вздох, каждое шевеленье воздуха, проникающее в заполненное шумом, постоянным гомоном помещение, где стояло три десятка коек и топились две железные, из старых бочек печки.

После весенних экзаменов студенты педагогического училища отправлялись на рыбацкий стан, расположенный под дернистым тундровым берегом, как раз напротив старинного казацкого кладбища, разоренного уже современными землепроходцами — солдатами армии Рокоссовского, прибывшими на Чукотку поздней осенью сорок пятого года. Воины-победители выкорчевали деревянные кресты, полтора века назад с превеликим трудом привезенные из лиственничных лесов Камчатки и Южной Якутии. И, дабы не замерзнуть, сожгли их дотла в наскоро сложенных печах своих временок.

В этом году бригадиром рыбаков назначили военрука и преподавателя труда Голубкова. Голубков в рыбацком деле ничего не понимал и большую часть времени проводил в своей мастерской, выполняя заказы окружного начальства на изготовление мебели.

Ребята оставались предоставленными сами себе и наслаждались свободой и сытным рыбным столом. К нему добавлялось еще и утиное мясо. Уток били на ближайшем озере из мелкокалиберной винтовки бригадира.

В тихие светлые вечера в стане появлялся Иосиф Федорович со своей возлюбленной. Именно так Тэюн мысленно называл Ксению Морозову, которая рядом с внушительной фигурой музыканта казалась совсем маленькой, хрупкой. Правда, если говорить по справедливости, то в этой паре было что-то удивительное, привлекательное, даже гармоничное. По окружному центру ходили слухи, что осенью предполагается грандиозная свадебная церемония, каковой еще никогда не было в этом краю.

Сам же Иосиф Федорович совершенно переменялся, и каждый, даже не очень пронизательный человек, встретив его, мог сказать: да этот мужчина счастлив, отчего даже внешне красив. Может, учитель музыки и прежде был красивым человеком. Но теперь это было видно, как говорится, невооруженным глазом: высокий, статный, седовласый, с молодым вдохновенным лицом. В его внешности несомненно было что-то аристократическое, указывающее на породистость происхождения. И одевался Донин совсем не так, как в дни своего прибытия на Чукотку. Вместо какой-то непонятной куртки, которую он называл «толстовкой», облачился в пиджак, белую рубашку и повязал на шею галстук! Глядя на преображенного учителя музыки, Тэюн чувствовал нечто похожее на угрызения совести, вспоминая свое почти панибратское отношение к Иосифу Федоровичу.

Учитель музыки стал совсем другим человеком, а Тэюну даже подумалось о том, что он теперь-то мог с полным правом откликаться на Иосифа Виссарионовича.

Донин играл охотно и часто, благо в училище было пусто и звуки пианино никому не мешали. В светлые ясные ночи, когда солнце лишь ненадолго скрывалось за дальними Канчаланскими холмами, Тэюн замирал в восторженном, чувственном оцепенении у деревянной, побитой пургами и холодными осенними дождями стены, чувствуя, как под ногами бьет мощный порыв неведомого ветра, который грозит унести его в другие времена и в другие места, откуда явилась

эта волшебная, почти неземная музыка. Иногда пианино звучало нежно, даже удивительно было, как оно может исторгать из своего черного нутра звуки, похожие на человеческий голос, светлый плач тихой радости, ожидание птицы-счастья, которую можно спугнуть одним неожиданным, неловким движением.

Тэюн не смел входить в здание: он видел в окно, как в комнате, чуть поодаль от пианино, на стуле сидела Ксения Морозова, закутанная в большой пушистый платок (в училище по причине летнего времени не топили печей). Она была единственной слушательницей, и в эти минуты Тэюн отчаянно завидовал ей: Донин никогда не играл даже ему, истинному любителю музыки, одному, всегда кто-то был рядом... А, наверное, музыку иногда надо слушать именно так — чтобы она рождалась только для тебя, чтобы эти волшебные сочетания звуков предназначались лишь единственному сердцу, способному откликнуться на них.

Тэюн чувствовал, как у него влажнеют глаза, и, чтобы ненароком не всхлипнуть, отодвигался от окна, уходил в тундру на кочковатые берега круглых тундровых озер, заполненных спокойной коричневатой водой, похожей на бутылочное стекло.

Тэюн любил сидеть на берегу лимана, у самой воды, держа в поле зрения поплавки ставной сети или поднимая взгляд дальше, выше, туда, за зеленые холмы Канчалана, где горело долгое зарево заходящего солнца. Светлые ночи уже отходили, но заря не угасала, превращаясь в утреннюю, и солнце вставало из-за отрогов Золотого хребта стремительно, торжественно, как начало фортепьянного концерта. К утру одолевал сон, но не хотелось уходить в душную, пропитанную неистребимым рыбным духом палатку, слушать всхрапывания товарищей по рыбалке, устраиваться на жестком ложе, стараясь найти удобное, покойное положение если не всему телу, то хотя бы голове.

Какое-то таинственное томление охватывало Тэюна, сладко ныло сердце от неясного предчувствия будущего, теряющегося за очередным поворотом жизни. Да, жизнь порой походила на путешествие вдоль незнакомого побережья на парусной байдарке: за каждым мысом вдруг открывалось новое, незнакомое, неизведенное. Не успев к нему привыкнуть, глаза уже видели другой изгиб стремительно надвигающегося берега. Порой хотелось остановиться, пристать, выйти на песчаный пляж, никогда не знавший человеческого следа, испещренный лишь отпечатками птичьих лапок, похожими на неразгаданные письма древних жителей...

Все в поселке жили этим ожиданием первого парохода с материка.

В эти дни главным человеком становился радист, с виду обыкновенный, мрачноватый человек в потертой кожаной куртке, в запачканных тундровой глиной сапогах — ему часто приходилось карабкаться по косогору, по скользким тропам на свою станцию, квадратное кирпичное здание, притулившееся к подножию одной из высоченных мачт, поставленных еще до революции строителями американской транстихоокеанской телеграфной линии, долженствующей

соединить Европу и Азию с Новым Светом. Однако в связи с успешной прокладкой кабеля по дну Атлантического океана надобность в такой линии отпала, но кое-где на северо-востоке, на приметных мысах, оставались ажурные металлические мачты с низкими каменными служебными строениями, которые теперь использовались как обычные радиостанции. От радиста получали достоверные сведения о продвижении парохода. Вот он уже в районе Петропавловска-Камчатского, прошел мыс Наварин... Люди уже знали, что пароход называется «Жан Жорес» — по имени французского революционера, подло убитого своими же французскими буржуями. Преисполненный важности от внимания к нему, радист, зазываемый в каждый домик и угощаемый любопытствующими жителями Анадыря, в последние дни потерял связь с пароходом, очевидно, по причине своей постоянной нетрезвости... Сам же он объяснял утерю связи с судном загадочным «непрохождением волн».

Пароход показался неожиданно из-за скалистого островка Алюмка, стоящего в створе Анадырского лимана. И самым первым человеком, увидевшим долгожданный пароход, был Тэюн, коротавший ночь на дежурстве у ставной сети.

Солнце как раз вставало позади медленно движущегося парохода, и какое-то время он находился на фоне оранжевого диска. Существовала эскимосская легенда о том, почему утреннее солнце всегда больше дневного, но, как человек, изучавший физику и законы преломления световых лучей сквозь земную атмосферу, Тэюн знал, что это обман зрения, как и многое другое, ранее казавшееся таким понятным и обыденным.

Из паровой трубы тянулся черный дым, уходящий в сторону длинной галечной косы Русская Кошка.

Судно двигалось бесшумно, как призрак, в торжественной утренней тишине, но для Тэюна это движение сопровождалось звуками ранее услышанной музыки. И вдруг эту музыку резко и неблагозвучно нарушил утробный гудок, извергнутый из чрева черного корпуса «Жана Жореса».

— Пароход! Пароход! — закричал Тэюн и кинулся в палатку будить товарищей. — Пароход идет!

Радостная весть разнеслась по окружному центру, и на берегу, на том чистом и пустом пространстве, не занятом ставными сетями, у самого устья реки Казачки собрались любопытствующие. Из речки, важно попыхивая дымом, выплывал исполкомовский катерок, обычно используемый начальством для веселого времяпрепровождения на рыбалке. На его палубе стояли, как на трибуне, руководители округа, все словно по форме одетые, в тяжелых кожаных пальто, в фуражках защитного цвета с твердыми одноцветными козырьками.

Загрохотала якорная цепь «Жана Жореса», и в наступившей тишине послышались голоса матросов, отрывистые матерные ругательства, перемежаемые командами с мостика.

Тэюн стоял в толпе собравшихся и искал глазами учителя музыки: он-то обязательно должен быть среди тех, кто радовался прибытию первого парохода из далекой, милой, теплой родной земли.

Но Донина среди встречающих не было. Не было и Ксении Морозовой.

Катер с начальством отплыл к пароходу, толпа понемногу стала расходиться. Люди снова придут сюда позже, когда к берегу направится влекомый буксирным катером кунгас с новыми людьми, с новыми товарами, газетами и журналами полугодовой давности. Тэюн отправился на свою рыбалку: наступил час его дежурства у ставной сети. Надо вытащить сеть, выпростать пойманную рыбу из ячеек, выпотрошить ее, отрезать пупки, которые солили в специально приготовленных деревянных бочках, а балыки развешивали на вешалах на солнце и на ветру, чтобы чуть позже, когда они вдосталь появятся, чуточку подкоптить и уже потом перенести на чердак училища, где рыба хранится зиму.

Дел оказалось много, и Тэюн, к своему огорчению, так и не встретил первый кунгас. Он освободился только на второй день к вечеру и, передав дежурство по рыбалке сменщику, заторопился в поселок.

В общежитии училища шел ремонт, поэтому оставшиеся студенты перебрались в учебное здание. На крыльце Тэюн увидел сосредоточенно курившего военрука-столяра Голубкова.

— Сюда нельзя! — строго сказал Голубков. — Погуляй, потом придешь.

Тэюн был удивлен, однако повиновался — пошел бродить по поселку. Зашел в магазин. Здесь уже продавали вино нового завоза, сухое, виноградное, поскольку его нельзя было оставлять на зиму, как водку: вымерзнет на холодном складе. Люди в очереди громко переговаривались, шутили, смеялись, и вдруг Тэюн услышал имя Иосифа Федоровича Донина.

— Враг умеет маскироваться! — многозначительно проговорил радист, теперь уже не такой важный, так как от него не ждали новостей. — Я, конечно, кое о чем и раньше догадывался...

— А чего молчал? — грозно спросил его сосед по очереди, кочегар местной котельни, казалось, никогда не отмывающий ни с лица своего, ни с рук угольную черноту. Тэюн ни разу не видел его в поселковой бане.

Радист испуганно моргнул:

— Да не в том смысле... Так, подозревал...

— Если подозревал, так надо было сообщить органам, Василию Никитичу! — не унимался кочегар. — Если человек без конца играет немецкого композитора Бетховена, то тут явно не все в порядке, бдительность требуется... А то поразвесили уши.

Органами в окружном центре называли одного человека — уполномоченного НКВД Василия Никитича Петренко. Применяемое к нему множественное число придавало дополнительный зловещий оттенок, хотя уполномоченный был невелик ростом и распространял вокруг себя, как обыкновенный анадырец, крепкий спиртовой дух.

Тэюн выбрался из магазина и поспешил вернуться к педучилищу. На крыльце по-прежнему стоял Голубков и продолжал курить.

Он строго глянул на Тэюна, но в эту минуту открылась дверь, скрипнув несмазанными петлями, и сначала показалась седая шевелюра учителя музыки, за ним — незнакомый человек в кожаной куртке, а последним — Василий Никитич. Донин шел, понуриив голову, держа руки за спиной, как полагается арестантам.

Для Тэюна это было удивительное и непривычное зрелище. Сам страшный акт ареста, лишения свободы человека казался чем-то очень далеким, невозможным здесь, где жизнь так открыта, проста и предсказуема. Аресты случались в кинофильмах, в многочисленных шпионских книгах. И арестовывались только злодеи, враги и шпионы. Это были существа, по разумению Тэюна, находящиеся за пределами обыкновенной человеческой природы, и благородная задача органов и состояла в том, чтобы разгадать затаившегося врага.

Правда, после просмотра нескольких шпионских фильмов Тэюн довольно легко, к собственному удивлению, часто даже раньше органов, стал догадываться, кто враг.

Идущие следом за учителем музыки ничем не отличались от обыкновенных людей: у них не было оружия.

Иосиф Федорович споткнулся, поднял голову и вдруг встретился с глазами Тэюна, полными ужаса и любопытства. Учитель музыки сделал попытку улыбнуться, и Тэюн вдруг почувствовал, как его сердце заколотилось, а потом со сладким ужасом на мгновение замерло от необычного переживания то ли страха, то ли удивления, то ли презрения к разоблаченному врагу, который так искусно маскировался под музыканта и даже влюбленного!

Арестованный и конвоиры быстро прошли мимо застывшего Тэюна и зашагали дальше по пыльной Советской улице к мосту через Казачку. Глядя им вслед, Тэюн как-то глупо гадал про себя: расстреляют Иосифа Федоровича или же поведут в тюрьму за речку или же на берег, откуда на кунгасе отвезут на пароход.

Вот оно — коварство врага, о котором не раз говорил на своих уроках учитель истории Ланкин! По мере продвижения вперед к светлому будущему борьба усиливалась, враг ожесточался, становился хитрее... Но как Тэюн мог проглядеть врага! И тут он вздрогнул, вспомнив, что уговаривал учителя музыки называться именем вождя — Иосифа Виссарионовича, а тот пугался, умолял чуть ли не со слезами на глазах не называть его так... Вот в чем дело! Тэюн еще раз поразился в душе лицемерию врага, и ему стало горестно, как в далеком детстве, когда сестренка отобрала обманным путем у него драгоценное лакомство — надрезанный, едва растаявший перпичий глаз, высосала его торопливо, оставив брату лишь твердую кожаную оболочку и вязкий сырой хрусталик, в котором застревали зубы.

Несколько дней в Анадыре только и было разговоров об арестованном. Директор Ланкин ходил, пряча в сторону глаза: как же, пригрел врага! Иногда слабо оправдывался: да, знал, что Донин сидел как враг народа, но откуда было ему знать, что его возьмут по второму разу. По Анадырю разнеслась весть о том, что и Ланкина

могут посадить. Все в руках органов, то есть Василия Никитича Петренко.

Но Ланкина почему-то не тронули, даже оставили директором педагогического училища.

Пароход уходил ранним утром. Он отплывал в такой же тишине и умиротворенности, как в то утро, когда Тэюн первым увидел его на фоне встающего солнца.

Тэюн был на том же самом месте, у конца ставной сети, и смотрел на уходящее судно, представляя, как там, в сыром железном чреве трюма, за решеткой сидит учитель музыки. Тэюн искал в своей душе ненависть к этому человеку, но обнаруживал лишь чувство горького разочарования, жалость, недоумение... А в памяти звучали обрывки прекрасной, неземной музыки, которую играл враг народа Иосиф Федорович Донин.

Июнь 1990 г.

Керро

Ольга ПОСТНИКОВА

Стихи из безвременья

* * *

Своей судьбы мы знаем сучий нрав.
Берем, пока подсовывает случай,
Мы так до неприличия живучи! —
Всем жилистым упорством сорных трав...

Так падают, не крикнув ничего,
В растоптанные борозды мертво
Очкастая цветаевская хватка,
Колючего осота торжество.

Нам тоже не уйти, но слава богу,
Что мы еще с тобою не прошли
От первого мучительного слога
До неумело скрученной петли.

1966 г.

* * *

Ты падаешь в щетину мертвой ржи,
Ты выбелен в тифозном лазарете,
Но свой наган — тяжелый, разогретый —
Ты успеваешь рядом положить.

Мне не уйти от этой тесноты,
От этих губ, колючих и упрямых,
Ты требуешь любви и доброты,
Как хлеба, спрятанного в ямах.

И ты не бойся выстрелить в упор —
Всему верна, всему теперь я рада,
Покорнее, чем выгоревший двор
Под стертymi ногами продотряда.

1966 г.

Шестой этаж

Вере Лашковой

В той комнате окно у потолка,
И оттого она так высока,
И в ней обоев целого куска
Обычно при ремонте не хватает.
Смотри, опять за стеклами светает!
Благослови окно у потолка.

Сиди в своей кладовке угловой,
Пока жива губастая усмешка,
Машинки запинаящейся спешка,
А дым, как ореол над головой.

Но повторяет вдруг водопровод
Звонков и звуков полудетский код.
В предъюбилейном стукe черный ход
Трясется, как в бреду гриппозном.
Усни-усни-усни, пока не поздно,
А ты не спишь уже который год.

Ты так голубоглаза и мала
В кисейке этой, от веснушек ржавой,
И беззащитно так перед державой
Окно твое, второе от угла.

Уже соседки в крик толкуют мне,
Какой урон ты нанесла стране,
Уже тоскует по твоей стене
Синюшное дрожащее корыто.
Твое окно фанерою закрыто,
Гвоздями оцетинилось ко мне.

1967 г.

В память демонстрации 1968 года

Н. Г.

Январь гнидую зиму гонит
В бесснежный холод февраля.
И снова слова не проронит
Моя великая земля,

Всему покорна, так поката...
Но, боже, память сохрани:
Семь человек идут с плакатом
По Красной площади одни.

И видят часовые Спасской
Почти спокойные глаза.
Под хрупкой детскою коляской
Звенит незыблемый базальт.

Наташа, здесь твоя больница,
Наташа, здесь твоя столица.
Жестокий город роковой,
Что Лобным местом так гордится,
Своей святыней вековой.

Не я иду на эту площадь,
Держа ребенка на руках,
И с каждым днем горчей и проше
Я называю это: страх.

Я к стенке жмусь, я сына прячу.
И лишь одним отметил бог:
Над мальчиком бессильно плачу
В победном тоне сапог.

1975 г.

* * *

Безмолвный друг,
помойный серый голубь,
Посторонюсь, и тягостно глядеть --
Обмерзли лапки, и на ветках голых
Никак ты не научишься сидеть.

Оранжево ты смотришь и печально
И бьешься о карнизы и гербы,
Но мы в родстве, неясном, изначальном,
Похожие никчемностью судьбы,

Недвижностью глазных прозрачных пленок
И склонностью приткнуться в уголке.
Не по-людски мой говорит ребенок,
На горловом, на птичьем языке.

1972 г.

* * *

Мы — матери, но в немощных сосцах
Перегоревшей нежности усталость.
И что мы вам расскажем об отцах,
Когда в душе ни слова не осталось?

Нам, кроме сна, не нужно ничего —
Ни лнуть, ни причитать, ни улыбаться.
И нет минуты, чтоб залюбоваться
На бедного ребенка своего.

Лишь сквозняками выметен наш дом.
Вы — пасынки, вы все полусироты.
В безликие вы соберетесь роты,
А мы трудом, как плачем, изойдем.

Нам — по две смены в лязге и пыли,
Чтоб вам держать полмира на прицеле,
Чтоб вы нас защищали, а доселе
Мы вас не защитили, не спасли.

1982 г.

Проклятье

Зубы белые, точно гжель,
Но глаза глядят, как в щель.

Отчего ты так несчастен?
К преступленью не причастен
Твой талант, небесный дар.
Как он связан с чуждой верой
И с отцовскою карьерой,
С выселением татар?

Там на сборы дали сутки.
Это плач овцы и суки,
Ноша, выжавшая руки
До полынной синевы,
Это тянутся за всеми
Те заплаканные семьи,
Где уже погибли внуки
За спасение Москвы.

В их дворах, где узко грядам,
Где никак спокойно рядом
Не оставишь две ступни,
Одичавшим виноградом
Поминаются они.

Все кривишь сыновний рот,
Болен твой сановный род:
Мусульманского проклятья
Всем сынам и малым братьям
Не избудешь никогда.
Пострашней Инты и плена,
До четвертого колена
Припечатана беда.

И дана такая доля,
Что и морем алкоголя
Бред опричный не уймешь,
Не забудешь в крымском зное
Той державной параноии
Истребительную мощь.

Ни любовь, ни сладкий спирт
Не спасет, не усыпит.

Но земля тебя лелеет,
Ненавидеть не умеет,
Лозы тяжкие долит
И дарует в куче гальки
Твердый, радостный и жалкий
Красный камень сердолик.

1980—1990 гг.

Людмила ШТЕРН

Зинка из Фонарных бань

В половине восьмого утра к Фонарным баням подъезжает старенькая «Победа». Из нее выскакивает тщедушный человек в надвинутой на лоб кепке, обегает машину и распахивает дверцу. Сперва показывается несгибающаяся нога, потом правая рука с палкой, кудлатая голова, левая рука с палкой, и, наконец, подтянув вторую ногу, из

машины вылезает вся Зинка, большая, грузная, с бисеринками пота над верхней губой.

— Езжай, Федор, я доберусь, — приказывает она звонким голосом.

Но Федор идет рядом до подъезда, придерживает дверь и, убедившись, что ни лужи, ни скользкий тротуар ей не угрожают, возвращается к своей машине.

Широко расставляя палки и неуклюже переваливаясь, Зинка поднимается на один пролет лестницы, где в душном закутке, именуемом «Парикмахерская», ей предстоит провести рабочий день. Зинка — знаменитая на весь район маникюриша, гордость Фонарных бань. Хотя кроме нее в парикмахерской работают еще два мастера, в коридоре скопилась очередь — дожидаются Зинаиды. При ее появлении возникают подобострастные улыбки, но она, не здороваясь, ковыляет мимо, входит в комнату и ставит в угол свои палки. Кряхтя, снимает пальто, кофту, юбку на пуговицах и надевает белый халат прямо на сорочку. Потом усаживается за свой столик и минуты три сидит неподвижно с закрытыми глазами. Обе Зинкины ноги отрезаны выше колен, и протезы плохо справляются с ее тяжелым телом. Но вот отдышалась, улыбнулась и хлопнула ладонью по кнопке настольной лампы.

— Кто там первый, дамочки, пожалуйте!

Зинкино лицо, раз увидев, — уже не забудешь. Захоти тщеславное человечество похвастаться перед инопланетянами — оно послало бы ее в космос как эталон земной красоты. А если бы волею судьбы родилась Зинка в Калифорнии и валялась бы целыми днями на пляже или слонялась по барам, покуривая травку, — ее непременно заметил бы какой-нибудь голливудский продюсер. Придумал бы Зинке экзотическое имя вроде Бо Дерек, снял бы с ней фильм «100», и ее портреты с семизначными цифрами дохода не сходили бы с обложек «Playboy» и «People».

— Когда она выходила на улицу, — разоткровенничался как-то подвыпивший Федор, — и дождь кончался, и ветер стихал, и собаки переставали гавкать. Королева!

— Давай, ври больше... — подзадоривала Зинка мужа. — Как же ты, голубчик, домой меня повезешь, коли так нализался?

— На руках, матушка, на этих самых, — Федор протягивал к ней руки, и Зинка улыбалась, бросая на мужа насмешливый и ласковый взгляд.

...«На руках, на этих самых» внес Федор Самохин двадцать лет назад в свою коммунальную квартиру будущую жену Зинаиду Сорокину, безногую Зинку, обрубок с лицом богини. Положил на постель, встал на колени рядом и гладил, и целовал ее руки, пока застывшее Зинкино лицо не сморщилось, став беспомощным и жалким, и по щекам не покатились слезы, устремляясь за ворот больничной рубахи. Два месяца он, смеясь и отшучиваясь, сносил ее проклятия, купал, кормил, переодевал. И ночью, постелив на пол возле кровати матрас, дремал, как пес, прислушиваясь к каждому Зинкиному вздоху.

И только когда она впервые прошла на новых протезах от двери

до окна и обратно, постанывая от боли и матеря его на чем свет стоит, — впервые напился и, уронив голову на стол, навзрыд заплакал.

...Зинка родилась в Ленинграде за два года до войны и в блокаду осталась сиротой. Ее перебрасывали из одного детского дома в другой, пока она люто не возненавидела запахи детдомовских столовых, байковые застиранные одеяла, лица воспитателей, среди которых не хотела различать добрых и злых, сердечных и равнодушных. Сколько раз убегала — не помнит. Хвасталась, что ее фотографии «трудновоспитуемого подростка» хранились во всех привокзальных отделениях милиции от Архангельска до Симферополя.

— Не миновать бы мне колонии, кабы не Шура, царство ей небесное, а я — тварь неблагодарная... — И Зинка, запрокинув голову, хохотала, и чистый звонкий ее смех разносился по Фонарным баням.

Шура, дальняя родственница отца, разыскала Зинку, когда той было шестнадцать. Взяла к себе, отдала в вечернюю школу — в дневной Зинка бы не потянула.

— Ох, и тусклая была баба, одно слово — бухгалтер. Да нет, она меня не обижала, но только как посмотрю на нее — зубы от скуки ломит.

Через год у тетки появился хахаль. И Зинка его отбила.

— Ума не приложу, на кой он мне сдался — ни кожи, ни рожи... Видно, натура такая шкодливая... Как-то раз она нас застучала. Ему фингал под глаза, а меня за волосы оттащила и выбросила на лестницу... но с вещами — швырнула следом пальто и боты. Мой кавалер оказался «лыцарем». «Не переживай, — говорит, — Зинаида. Шура отойдет и обратно пустит. А я тебе не поддержка, сам в общежитии впятером в одной комнате». Сунул мне тридцатку и сгинул. Больше я его и не видела...

Два дня проболталась Зинка на Московском вокзале, выискивая подходящего проводника, чтоб посадил без билета на какой-нибудь южный поезд, а на третий — встретила в буфете короля Лиговки Леньку Орлика. И стала Зинаида его подругой. Владения их простирались от площади Восстания до Обводного канала, и вся шпана этих мест единодушно признала Зинку и ее неограниченную власть. Чем промышлял Орлик — Зинаида не рассказывала, но деньжата у него водились, и немалые. Подругу он баловал и щедро даривал.

— Надень я зараз все цацки — сверкала бы, как кремлевская елка... Но я таким добром не дорожила. Спустили мы этот хлам и в Сочи смотались... Тысяч семьдесят тогда прогуляли... старыми, конечно.

В этот период Зинкиного расцвета и встретил ее Федор Самохин, токарь Адмиралтейского завода, передовик производства, «не слезающий», по Зинкиным словам, с Доски почета. Встретил и погиб.

Щуплый, неказистый, он и помыслить не смел подойти к ней, но высмотрел, где живет, и издали следил за каждым ее шагом, тщетно пытаясь унять настойчивую боль в сердце, эту непомерную тоску, не отпускавшую его теперь ни днем, ни ночью.

Однажды — не выдержал. Ленькина компания отправилась кутить

в «Универсаль», и Федор поплелся за ними, занял место в дальнем углу и тихо напивался, глядя, как веселится королева со своей свитой. Когда заиграли танго, решился, на батных ногах подошел к их столу и пригласил Зинаиду танцевать. От такой наглости общество остолбенело, а Зинка фыркнула на весь стол:

— Видали, что делается? У кого успех имею?

— Не груби, Зинаида, — сказал великодушный Орлик, — потанцуй с товарищем.

Держа Зинку, словно этрусскую вазу, Федор выплыл на середину зала. Он был почти на голову ниже ее, и когда отважился поднять лицо и встретился с ее холодными, как полыньи, глазами, у него подкосились ноги.

— Меня зовут Федор Самохин, — пробормотал он, споткнулся и наступил на ее белые босоножки.

— А пошел ты... Самохин... — сморщилась, вывернувшись из его рук и упорхнула к своему столу.

С тех пор, «случайно» встречаясь на улице, Федор осмеливался здороваться с Зинаидой. Она, смотря по настроению, иногда кивала, иногда бросала «Привет», а однажды остановилась.

— Что-то, парень, ты мне часто на глаза попадаться стал... — и усмехнулась, и прищурилась, и из-под золотистых ее ресниц ударили в грудь Федору Самохину лучи невиданной силы. Он хотел пошутить в ответ, но задохнулся, а она уже отошла, и ее светящиеся волосы застали Федору солнце. После этой встречи Федор написал стихи. Щадя его самолюбие, я не стану их цитировать, но хотел сказать он следующее:

...Я все в тебе люблю. Я счастлив, вспоминая
Твой каждый жест пустой и каждую из фраз.
Я помню, год назад, двенадцатого мая,
Переменила ты прическу в первый раз.
И волосы твои с их золотистым цветом
Привык считать, мой ангел, солнца светом.
Ты знаешь, если мы на солнце поглядим,
То алые кружки нам кажутся повсюду...
Так с взором пламенным расставшись твоим,
Все пятна светлые я долго видеть буду*.

...Летом Самохина отправили на три месяца в Мурманск. Бригада адмиралтейцев должна была отремонтировать вышедший из строя ледокол. Вкальвали по тринадцать часов, благо ночи на Севере белые, зарабатывали сверхурочные. Вечером пропивали их вместе с зарплатой в ресторане «Прибой» или просаживали в карты.

И только Федор — общее посмешище — не пил, не гулял. Бродил часами по ночному городу или писал Зинке длинные письма. Конечно, ни одного не отправил. Не осмелился.

К концу командировки скопилось у него порядочно денег, и решил он купить Зине подарок. Если бы Федор читал Куприна, — я уве-

* Эдмон Ростан. «Сирано де Бержерак». Перевод Т. Л. Щевкиной-Куперник.

рена, — послал бы ей гранатовый браслет. Но он купил у норвежских моряков высокие замшевые сапоги. В те времена такой подарок был поистине царским. Теперь Федор только и думал, каким образом его вручить. Послать из Мурманска по почте? Но она даже не вспомнит — от кого... Подождать до «ноябрьских» и отдать, повстречавшись на улице? Так не возьмет же... Он так ничего и не придумал. И пакет пылился в общежитии под кроватью, дожидаясь своего часа.

...Хотя в газетах об этом не было ни строчки, слухи о зверском преступлении на углу Марата и Стремянной уже месяц циркулировали по городу, обрастая все новыми ужасающими подробностями. И Федор Самохин узнал об этом через пять минут после того, как бросил на кровать чемодан и вышел на свою коммунальную кухню поставить чайник.

Вернулся по амнистии до срока лучший друг Орлика Санька Котков. Увидел Зинку и потерял голову. Ну и она тоже... то ли влюбилась в него, то ли просто Ленька ей наскучил. Месяц Орлик терпел, дважды толковал с другом по-хорошему и, наконец, — нервы, видно, сдали — избил Зинаиду. Она стояла посреди комнаты с рассеченной губой и улыбалась.

— Ну, конец тебе, Орлик, — ползти за мной будешь, не вернусь.

Выслеживал он их недолго. Да они и не прятались, пренебрегали. В начале августа поздним вечером возвращались откуда-то в трамвае к Саньке домой. У трамвая «27» на Стремянной кольцо, и во втором вагоне, кроме них и кондуктора, никого не было. Видно, Орлик ехал в первом, а на предпоследней остановке вскочил в их вагон. Он нанес Саньке три ножевые раны. Зинка закричала, бросилась по проходу к передней двери, он за ней. То ли дверь была сломана, то ли просто открыта... Орлик толкнул ее. В спину, на рельсы, под встречный трамвай.

— Санька тут же в трамвае помер, — тараторила соседка, — «Скорой» не дождался... А Зинаида в больнице, ноги у ей отрезаны... Допрыгалась девонька!

Всю ночь под проливным дождем стоял Федор напротив Зинкиного дома, глядя на темное окно. В открытой форточке ветер шевелит тюлевую в мелких розочках занавеску. Под утро он зашагал на Стремянную, на кольцо «27», и кружил по сплещей улице, всматриваясь в трамвайные рельсы. Между рельс от дождя пузырились белой пеной, словно вскипали, лужи, а потом подъехал первый трамвай, и вожатый раздраженно засигналил Федору, чтобы он убрался с путей...

...Ввиду особых обстоятельств Зинаида Сорокина лежала в отдельной палате, и ее уже несколько раз посещал следователь. Хотя никто не сомневался, что судьба Орлика предрешена и его ожидает высшая мера, — следствие по этому делу тянулось всю осень. В интересах безопасности главврачу было дано распоряжение пропусков к Сорокиной не выдавать. Но Федор Самохин каждый день после смены мчался в больницу Эрисмана. В его памяти эти долгие месяцы слились в последовательное чередование застывших картин: уродливые очертания больничных корпусов, окошко в справочное бюро и

полуотворенная дверь приемной хирургического отделения, куда он тыкался со слепым упорством помутившегося сознания.

Его выгоняли. Федор безропотно уходил и тут же возвращался, преследуя нянечек и санитарок таким нестерпимо униженным взглядом, что задубевший медперсонал сдался. Старшая сестра Нина Петровна, по общему мнению — средоточие ехидства, сжалась первая. С ее молчаливого согласия «блаженному» разрешили торчать в приемной до позднего вечера. О Зинаиде говорили только, что «состояние удовлетворительное». Конечно, ни слова о том, что она наотрез отказалась есть и ей вводили искусственное питание, что она выплевывала лекарства и уже дважды пыталась разбить голову о край железной кровати.

27 ноября — этот день Федор запомнил на всю жизнь — сидел он, как обычно, в приемной, рассеянно глядя в окно. С утра кружил мокрый снег, и в ореоле уличной люминесцентной лампы снежинки казались летящими на свет мотыльками. Вот через двор прошмыгнула знакомая сестричка в накинутом на плечи пальто, вот к приемному покою подкатила «Скорая» и мигнула Федору тормозными огнями.

Нина Петровна тронула его за рукав.

— Федя, тебя заведделением хочет видеть.

Путаясь в полах не по росту длинного халата, взбежал Федор на второй этаж в кабинет доктора Крупицына. Доктор встал из-за стола и пошел ему навстречу, протягивая руку.

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Федор... простите, не знаю вашего отчества...

— Васильевич... — Федор оробел, присел на краешек стула и обрадовался, что халат прикрыл его замызганные ботинки.

— Кем вам приходится Зинаида Сорокина, Федор Васильевич?

Федор стиснул руки между колен и молчал, уставившись в пол.

— Извините, но я не из любопытства спрашиваю. По документам у нее нет никаких родственников.

Федор поднял на доктора глаза, и Крупицын механически отметил: «Нервное истощение... невропатологу бы его показать».

— Сорокина поправляется, Федор Васильевич, организм у нее крепкий. К Новому году мы должны ее выписать... больше держать не имеем права. Я сделал почти невозможное... договорился с главврачом дома хроников. Он согласился принять ее, но только до весны... пока не научится пользоваться протезами. — Доктор помолчал и закончил медленно и внятно, как диктовку: — Зинаида Сорокина — инвалид первой группы.

— Нет, нет, не надо! — Федор вскочил со стула. — Не отдавайте Зину к хроникам... Я сам... Я сдельно триста в месяц вырабатываю, она нуждаться не будет. И комната у меня 18 метров, светлая... окна на улицу. Я отпуск возьму, ремонт сделаю... вы не сомневайтесь! Я и за больными ходить умею — у меня мать два года парализована была, спросите хоть у соседей. Вы только... — Федор всхлипнул, не спуская с Крупицына измученных глаз, — поговорите с ней, доктор,

чтоб согласилась... мне все равно не жить... без нее. — Он замолчал и уткнулся лицом в рукав.

Завотделением вдруг подумал о своей дочери. Семья жила, как в аду, потому что Леночкин бывший муж отсудил комнату в их профессорской квартире и привел туда новую даму. «Ты что же, завидуешь безногой девчонке?» — спросил себя доктор и положил руки на трясущиеся Федоровы плечи.

— С завтрашнего дня вы можете навещать Зинаиду. Нина Петровна выпишет вам постоянный пропуск. Ну, а дальше... решайте с ней сами.

Зинина палата — самая последняя в конце коридора. Федор стоит перед закрытой дверью в новом румынском костюме и белой рубашке с отложным воротничком. Он только что из парикмахерской, и над ним висит душное облако «Шипра». Сзади неслышно подходит Нина Петровна. Ей до смерти хочется присутствовать при их встрече.

— Иди, я предупредила ее... — и легонько толкает Федора в спину.

Он поворачивается к ней с таким лицом, что Нина Петровна отшатывается и семенит прочь.

Федор держится за дверную ручку и беззвучно шевелит губами. Только начало, которое слышал от бабки в детстве: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое... Господи, сделай так, чтобы она меня не выгнала... пусть она только выслушает, сделай так, чтобы она согласилась выслушать... Отче наш, иже еси на небеси...»

Он открывает дверь. В глубине коридора у поста маячат, изнывая от любопытства, старшая сестра и две санитарки.

Стихийное бедствие

В стране, где мы родились и выросли, сообщения о стихийных бедствиях появляются чрезвычайно редко. Не пестрят ими первые страницы столичных и провинциальных газет, не кричат о них 13 каналов цветного телевидения. И это понятно. Высшие Силы оберегают одну шестую часть суши от извержений вулканов, землетрясений, наводнений и смерчей.

Поэтому загадочной и странной показалась мне короткая заметка, появившаяся 3 июля 196... года в газете «Вечерний Ленинград»:

«В воскресенье около 11 часов вечера сильный порыв ветра оторвал от причала Адмиралтейской набережной поплавок, переоборудованный в ресторан «Алые паруса». Волны погнали поплавок вниз до устья Невы, где героическими усилиями работников речной милиции

и береговой охраны удалось перехватить и пришвартовать ресторан к грузовой пристани Ленинградского порта. Жертв не было».

Это сообщение привлекло мое внимание потому, что именно в этот вечер мы прогуливались с друзьями по Адмиралтейской набережной, наслаждаясь безветренной, тихой погодой. Облокотившись о шершавый, не остывший от дневного солнца парапет, мы бросали хлебные крошки кружащимся чайкам и слушали доносившийся из «Алых парусов» лихой джаз под управлением Марика Волинского. Ничто не предвещало урагана.

Удивившись, я последовала лучшим традициям всемирно известных детективов, вырезала газетную заметку и отправилась по следам необычайного происшествия...

...В летний воскресный вечер «Алые паруса» были, разумеется, переполнены. Празднуете конец прошедшей и начало грядущей трудовой недели, ленинградцы пили портвейн и водку, закусывали кто шницелем, кто макаронами по-флотски, кокетничали, флиртовали и отплясывали полузападные танцы.

А в бельэтаже элегантного особняка напротив ресторана раскинулась квартира первого секретаря Ленинградского обкома партии Василия Сергеевича Т. Неотложные дела оставили Василия Сергеевича дома, и он, отправив семью на дачу, вышагивал по кабинету, сосредоточенно обдумывая нечто государственное. Настроение у губернатора было элегическое и сентиментальное, а около 9 часов случился с ним даже приступ демократизма — он отпустил домой дежурившего у подъезда милиционера.

Итак, Василий Сергеевич, оставшись один, творил, насвистывая романс «Не пробуждай воспоминаний», и покурил старомодные папиросы «Казбек». И вдруг захотелось ему пить. Первый секретарь открыл холодильник, но ни боржома, ни нарзана там не оказалось.

— Дуры безмозглые, — пробормотал Т., охватив одним определением жену, дочь и домработницу Серафиму Петровну.

Он открыл кладовку, обшарил скандинавский сервант, но минеральной воды не обнаружил. Барометр настроения резко упал.

— Это же черт знает что... — с тоской подумал он и посмотрел в окно.

Парчовая от легкой ряби Нева лежала у его ног. На бледно-фиолетовом небе строго вырисовывался силуэт Петровской кунсткамеры, по набережной слонялись парочки, прямо под окном, сияя огнями, веселились «Алые паруса».

Первым поползновением губернатора было снять телефонную трубку и приказать, чтобы приволокли из ресторана ящик боржома, но внезапно с ним случился второй за этот вечер приступ демократизма. Т. решил лично сбегать за водой. Однако ничтожное препятствие на секунду остановило его. Он не имел понятия, сколько стоит боржом и есть ли вообще в доме деньги. Порыскав по карманам бесчисленных пальто своих домочадцев, Василий Сергеевич обнаружил мелочь в плаще Серафимы Петровны и как был — в шлепанцах и фланелевых шароварах — спустился вниз. Мягкий воздух ласково обдал лицо губернатора, он улыбнулся неизвестно чему и перебежал через дорогу.

К ресторану вели короткие мостки, на стеклянных дверях болталась табличка: «Мест нет». Василий Сергеевич постучал по стеклу. За дверью немедленно возникло суровое лицо швейцара. Не отпирая, он показал пальцем на табличку. Двойная дверь создавала трудности для диалога, поэтому Василий Сергеевич сделал жест, означавший, что он страдает от жажды, — то есть задрал голову и опрокинул в открытый рот воображаемую бутылку. Швейцар брезгливо махнул рукой и отошел в глубь вестибюля. Первый секретарь почувствовал нарастающий прилив раздражения и забарабанил в дверь сильнее.

Его усилия не привлекали внимания ресторанной администрации минут десять. Что стоило Василию Сергеевичу подняться к себе и позвонить г проклятые «Паруса»? Но, как говорят в народе, «принцип на принцип взошел». Губернатор продолжал яростно колошматить в дверь. И она отворилась. Швейцар Николай Степанович Авдеев, в прошлом артиллерист, кавалер нескольких боевых орденов, схватил Василия Сергеевича за грудки.

— Пьянь проклятая! — закричал он, отпихивая нашего героя от двери. — Житья от вас нет, чтоб вы передохли все!

Полагаю, что тов. Авдеев редко смотрел телевизионные новости и кинохронику, а если и смотрел, то не очень внимательно. Бабье лицо первого секретаря не произвело на швейцара неизгладимого впечатления и не осталось навеки в его старческой памяти.

Ошеломленный губернатор на секунду затих, но затем вновь бросился на штурм.

— Да ты знаешь, с кем разговариваешь?!.. — завизжал он. — Да я тебя...

Но Степаныч был не из трусливых.

— А ну мотай отсюда, морда нечесаная, — загремел он, — вали, пока пятнадцать суток не схлопотал!

Привлеченная разгорающимся скандалом, у парапета остановилась группа любознательных ленинградцев.

— Ничего себе, культурное обслуживание... — заметил либерально настроенный интеллигент.

— А чего? И правильно его отфутболивает... видит же, ханурик, что мест нет, нечего и переть на рожон, — возразил поклонник порядка.

Между тем Василию Сергеевичу удалось схватить швейцара за рукав.

— Позови директора немедленно, — прошипел он. От бешенства у первого секретаря пропал голос.

— Я тебе покажу директора! — рявкнул Степаныч. — Гриша, — заорал он кому-то вглубь, — вызывай милицию!

Обладая Василий Сергеевич чувством юмора или хотя бы здравым смыслом, он дождался бы милиционера и недоразумение разъяснилось бы ко всеобщему удовольствию. Вместо этого первый секретарь развернулся, протиснулся сквозь уже порядочную толпу и, вихрем взлетев в свой бельэтаж, ринулся к вертушке...

... — Мизер! — торжествуя произнес начальник ленинградской милиции генерал С. и, прищурившись, посмотрел на партнеров.

Вдруг раздался пронзительный телефонный звонок. Будь это обыч-

ный телефон, начальник милиции и ухом бы не повел, но звонил ТОТ, и генерал, вздрогнув, бросил на стол карты.

— Слушаю вас, — машинально вытягиваясь в струнку, отчеканил он.

— Какого... ты получаешь зарплату! — проревел знакомый, но почему-то измененный голос. — Развели притон у меня под окнами, понимаешь... ни спать, ни работать по-человечески! Чтоб этого кабака через тридцать минут тут не было!.. Нет, не завтра, а немедленно. Ну и что, что полный... плевать мне, что люди... А что хочешь, то и делай. Все!

И без десяти одиннадцать по тишайшей воде к причалу приблизились буксир и два катера речной милиции. Поплавок дернулся, полетели со столов бокалы и шницеля, оглушительно заверещали дамы. Затем «Алые паруса» качнулись и дали ощутимый крен вправо. Погас свет, кликушески запричитала беременная официантка Нюра. Саксофонист Эдик слетел со стула и разбил висок. Героический Степаныч ринулся на защиту кассы.

Подробное описание того, что творилось в ресторане во время плавания, заняло бы десяток страниц убористого текста. Наделенный воображением читатель дорисует эту картину без меня.

А около часу ночи «Алые паруса» прибыли к месту назначения — на отдаленный грузовой причал Ленинградского порта. Ввиду позднего часа городской транспорт уже не работал, поэтому гости и служащие добрались до своих постелей к пяти часам утра. К счастью, как точно информировала читателей газета «Вечерний Ленинград», человеческих жертв не было.

Очередь за корюшкой

О начале весны в Ленинграде возвещает Нева. Шуршат и потрескивают дымчато-зеленоватые льдины. Изнуренное долгой зимой, очищается небо. И над памятниками и дворцами воцаряется легкомысленный запах свежей корюшки.

В апреле и мае входит эта маленькая рыбка из семейства лососевых в Неву и Нарву метать икру. Тут и происходит главный улов, и продают ее с лотков на улицах и площадях.

Вот работяга устанавливает на тротуаре ящики. Рядом суетится тетка, явно хмельная, с малиновым распухшим лицом. На ней пятнистый от грязи, словно маскировочный, халат поверх ватника и шерстяной платок. Вокруг уже гудит толпа.

— Куда напиралась, — вишь, весы еще не привезли! — отбивается тетка, — да подай ты назад, совсем озверели!

Появляются весы. Продавщица не спеша ворожит над ними, каким-

то мистическим способом проверяя их точность. Наслаждаясь накалом страстей, высыпает из тюбиков мелочь и долго изучает накладную. Затем отдирает планки с верхнего ящика, матерится, напарываясь на гвоздь, и, наконец, запускает руку в плотную серебристую массу.

— Кто без бумаги, пусть не стоит! — кричит она осипшим голосом. Толпа нехотя разматывается в очередь. Торговля началась.

Голова и хвост очереди имеют разную температуру, разные электрические поля, разное философское и политическое мировоззрение. В спектре ее чувств — надежда, страх, отчаяние и торжество.

Главная задача в очереди — контакт с ближайшим окружением. Дружеские связи дают неограниченную свободу: можно сбегать в булочную, на почту или за молоком.

Впереди меня за корюшкой — угрюмая дылда с авоськой пустых бутылок. Это — добрый знак, я уже поймала ее подобострастный взгляд. Сзади ситуация сложнее: бабуся из семейства каракуртов, фея коммунальной справедливости. Оборачиваюсь и пробую ногой воду:

— Ну, не свинство ли за паршивой корюшкой два часа стоять!

— А не нравится, милая, и не стой, никто не неволит, — сопрано и контральто — дуэт Лизы и Полины.

Итак, мы прикованы друг к другу на два часа... если только не случится чудо. И оно немедленно случается. За углом на Плеханова разгружают бананы. Смятение в строю, из глаз старушки льется теплый свет.

— Барышня, вы будете стоять?.. Мне бы отлучиться ненадолго...

— Конечно, идите... я вас запомню.

И вот уже у бабки в кошелке тропические грозди, и дылда впереди разрешилась от бутылочного бремени, и я вернулась с почтамта, где в окошке «до востребования» мне вручили первое письмо от Стива.

...«Моя дорогая девочка, доброе утро! Сегодня — пять дней, как я уехал. Я каждый день старался звонить тебе, но Ленинград дают только ночью, — я не хотел беспокоить. Видишь, я пишу, как обещал, порусски. Не смейся над ошибками. И я тоже обещал не горевать (или не огорчать?), но я был бы сказать неправду...

В Париже все время дождь, очень скучно, и я нигде не был, кроме Университета. Но лекция прошла хорошо, и меня пригласили осенью читать еще одну. Я выбрал тему «Завоевание Сицилии норманнами». Я люблю Роджера Отвила, потому что он был терпеливый к другим религиям».

...Я не заметила, когда появился этот старик. Он стоял в нескольких шагах от прилавка в стороне от очереди и обеими руками опирался на палку. Видимо, мучила его одышка — так медленно, с присвистом он дышал. На старике было поношенное пальто, из-под подола свисал кусок ватина. Заросшее седой щетиной лицо выглядело болезненно, но косматые брови над крупным носом придавали этому лицу выражение некоей величавости. Он поставил палку между ног, вытащил из кармана аккуратно сложенную газету и свернул кулек. Очередь насторожилась.

— Не могу найти, где я занимал, — пробормотал он и подошел поближе. Никто не ответил. — Мне только полкило... — И заискивающе посмотрел на продавщицу.

— Не было тебя тут, — огрызнулась какая-то тетка, — и не прима-
зывайся.

— Нет, я стоял, я за бумагой ходил.

— Вот и ищи, где стоял.

Старик пододвинулся.

— Не пускайте без очереди!.. — заверещали вокруг.

Продавщица мельком взглянула на старика и протянула руку за его кульком, но кто-то вышиб кулек, и он полетел в лужу.

— Воли-то рукам не давай! — рявкнула продавщица. — А то еще торговать не буду.

Очередь всполошилась и заклокотала.

— Не отпускайте со стороны!

— Наведите порядок!

— Выкиньте его оттуда!..

— Да вы нелюди, что ли? — взорвалась продавщица.

— Может, человек-то инвалид и право имеет, — засомневалась угрюмая дылда.

— Это нация их настырная, всюду на шармачка лезет... — встряла бабка-каракурт, — гоните его!

Из очереди вышел кудлатый парень.

— Проваливай, папаша, понял?

— Да вы нелюди, что ли? — взорвалась продавщица. — Не видите — ноги у человека больные. Давай, дед, сорок восемь копеек!

Старик поднял трясущуюся руку, но парень с силой толкнул его.

— Вы что... — задыхаясь, пробормотал старик и пошатнулся...

— Милицию, милицию зовите! — завизжала бабка и с наскака ударила старика в грудь. Тот выронил палку, хотел было поднять, но парень шваркнул палку ногой, и она отлетела в сторону.

Старик растерянно оглянулся. Очередь ошетинилась, выжидая... Старик снова шагнул к продавщице, протягивая мелочь. На него налетели, сбили с головы шапку. Старик упал.

— Звери проклятые, чтоб вы передохли все! — Продавщица выскочила из-за прилавка и протиснулась к старика.

Он лежал на боку и хрипел. Вокруг рта пузырилась пена, пальцы судорожно шевелились, царапая ногтями пальто.

— Уби-или! Человека убили! — послышался истеричный вопль.

Очередь смешалась, раздались свистки, сквозь толпу пробивался милиционер. Кто-то бросился в автомат вызывать «Скорую».

Врач и санитары долго хлопотали над стариком, но в сознание он не вернулся и незаметно затих. Когда его укладывали на носилки, на его лице уже застыло выражение величавости и гордыни. Так не вяжущееся с ободранным пальто и испачканной шапкой, которую второпях, не отряхнув, положили ему в ноги. Про палку забыли, и она осталась на тротуаре...

...«Я еду в Палермо всего на две недели. Потом домой. Сразу же буду высылать тебе приглашение. Please, don't give up. Ты должна верить, что все будет О.К. Я повезу тебя на La Cubola, тебе понравится. Об этой романтической вилле писал Боккаччо в новелле о Джованни ди Прочида.

Обнимаю тебя и помню каждый день. Твой Stephen».

...— Нечего и стоять — один ящик остался, — обреченно сказала дылда.

— А пускай полкило в одни руки отпускают, — заныла задняя старушка, — а то дежуришь с утра без пользы...

— Корюшка — вся! — заорала продавщица. — Да что я вам, рожу ее, что ли?

...Весной в Ленинграде стоит легкомысленный, свойственный только нашему городу запах свежей корюшки. И если апрельским вечером, гуляя по улицам и площадям, вы увидите пустые лотки, обрывки газет, груды сваленных ящиков, поблескивающих от приставшей чешуи, и две-три раздавленные рыбешки на тротуаре, — значит, была здесь сегодня очередь за корюшкой.

Нина Габриэлян

Блохи

I

Это было в тот день на исходе эпохи,
Когда отринул наш город бог...
И напали на нас гигантские блохи,
Многое множество блох.

II

Да, мы в старинных книгах читали
Про них и не верили в них.
А они уже в школы наши вползали
Из щелей потайных.
А они по ночам детей наших ели
И пили их каждый вздох.
И на выставках детских рисунков висели
Изображения блох.
И это знамения первые были,
А мы не смогли понять.
И наши поэты людей разлюбили
И стали о блохах писать.
И мы поражались их воображенью,
Ценили их стиль и слог.
Мы стали молиться изображенью
Гигантских таинственных блох.
И зудом расчесов уже мы кичились

Друг перед другом в ночах.
И прадедов мы хоронить разучились
И стали сжигать их в печах.
Приют их в земле для кармана стал дорог,
Так цены на смерть возросли!
И пращуров души покинули город —
И насовсем ушли!

* * *

Скамейка. Стол. Простая скатерть.
Овечий сыр. Оливки. Мед.
Она еще не Богоматерь,
Но грозно высится живот.
Как лава в кратере вулкана,
Как искра в темноте камней,
Как жемчуг в глуби океана,
Ребенок спит до срока в ней.
Ей жарко, солнце припекает,
И пот стекает на виски,
И луч ленивый обтекает
Ее набухшие соски.
По хлебу мухи золотые
Ползут, взлетают и жужжат.
Мнут скатерть пальцы молодые,
И слезы расширяют взгляд.
Ах, что ни ночь, ей снится голод
И череда глухих смертей.
И шепчет ей какой-то голос:
— Мария, не рожай детей!

* * *

Лестницей, заплеванной, загаженной,
Тяжело вдыхая срам и смрад,
Поднимаюсь — и дверные скважины
Настороженно за мной следят.

Битое стекло, ведро помойное...
За дверями — то ли смех, то ль визг...
И зачем мне вверх, уже не помню я,
Только страшно опуститься вниз.

Забвение

I

— Здравствуй, сын, не узнавший отца! —
Сходит сгорбленный старец с крыльца,
в неуверенном голосе дрожь:
— Так похож...

— Здравствуй, дочь, не узнавшая мать!..
Ну, прости. Все равно зимовать,
печь топить и ходить за водой
веселее вдвоем, чем одной...

Дождь и снег. Не увидишь лица.
Только голос, укор, хрипотца.
Кто подскажет, как людям помочь?

— Здравствуй, сын, не узнавший отца..
— Здравствуй, дочь...

II

Подпасок, пасынок в любимом
краю суровом, нелюдимом.

Холстины белых облаков
в стежках гусиных косяков.

Редет лес, мелеют плесы.
Белеют волосы всклокоченные.

— Ну, здравствуй, мать!.. — и душат слезы,
и слепнут хаты заколоченные.

Тверской б-р, 25

I

Прилетал, обдавая жаром,
и куражился: «Все равно
не завидую гонорарам,
не дано».

Голод куревом заглушая,
говорил: «Продаю пальто» —
и отказывался от чая,
но зато!..

II

Друг написал поэму в эту зиму,
на волю вышел из черновиков.
Воздушен (и тяжел невыразимо)
груз неопубликованных стихов.

На площади веселой, как арена,
бахвалится: «Мне нечего терять».
Надменен (и открыт одновременно)
и покупает новую тетрадь!

* * *

Я жить хочу, хотя я дважды умер.

О.М.

Адреса, рассвет, анапест
перечеркнуты крест-накрест...

Дни, помеченные датами,
со стихами забракованными,
сшиты рифмами горбатыми
и снегами законными.

И летели за вагонами,
как прирученные вороны...

Снег на все четыре стороны.

Снег. И рукописи, правленные
корифеями дежурными.
Снег. И окна — окровавленные
абажурами...

* * *

Ошалелые бубенцы,
терн острожный, цветы лесные
и ромашковые венцы
вкруг чела твоего, Россия!

Есть еще на земле народ,
почь июньская и поляна,
и закружится хоровод,
мир сиянием наполняя.

Плоть от плоти, в него войду —
затопчу, затопчу беду,
след антихристов у озер —
затопчу, погашу костер,

дни безвременья и тоски —
затопчу, изорву в куски,
ночи бешеные и страх —
затопчу, превращу во прах!

И пойму, почему досель
моих помыслов сторонилась
светоносная карусель,
а сегодня — такая милость,

почему на родной земле
песнь оборванная не спета,
почему я блуждал во мгле,
а сегодня — так много света!..



Валентин ОСКОЦКИЙ

«Главный идеолог» режима

**Штрихи к политическому
портрету М. А. Сулова**

Спрос на серость — в этом секрет карьеры члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК М. А. Сулова (1902—1982). В течение всех застойных лет он монополично выступал в роли идеологического оруженосца Л. И. Брежнева, «главного идеолога» страны, первой своей задачей видя обуздание общественной мысли, торможение культуры, подавление художественных исканий в литературе и искусстве. Сам удовлетворяя в полной мере спросу на серость, он усердно стремился подогнать под него научное и художественное творчество.

Полтинник за форель

...В некий великий город с областной судьбой специальным поездом прибывает престарелый Секретарь ЦК. От визита высокого гостя зависит дальнейшая судьба первого секретаря обкома (впоследствии — члена брежневского Политбюро ЦК КПСС, ныне — персонального пенсионера союзного значения): останется ли он у прежнего руля или, переехав в столицу, войдет в элитарный круг высшего партийного и государственного руководства. Не удивительно, что Первый и сам готов разбиться в лепешку, и всю свиту загонял до седьмого пота. За одну ночь в пожарном порядке соорудили для правительственной «Чайки» парадный въезд прямо на вокзаль-

ный перрон, обустроили резиденцию Секретаря — старинный особнячок с пейзажами на стенах и беломраморным каминном в гостиной, заблаговременно позаботились о меню в обкомовской столовой. С ним-то, впрочем, и вышла непредвиденная накладка.

Спросили гостя приличия ради, но, как оказалось, к лучшему: что изволит откусывать завтра на обед? А он возьми да и удивись радушным хозяевам: забыли, уважаемые, что завтра четверг, а по четвергам у нас в стране для всех рыбный день. Следом помощник известил из Москвы, что больше всего Секретарь обожает свежую форель. Вот и пришлось спешно снаряжать за ней самолет аж в Краснодарский край, гонять обслугу туда и обратно да приземляться по возвращении в метель, с риском катастрофы. Как говорится, в копеечку обошлась государству та секретарская форель.

Зато обед удался на славу. Отведав форели, педантичный Секретарь не забыл вполне демократично запросить счет и, приблизив к бумажке узкое лицо с блекло-голубыми глазами, увеличенными стеклами очков, достал из кармана черный полукруглый кошелек с двумя шариками-застежками, вынул из старомодного кошелька блестящий полтинник и пятнашку, взял три копейки сдачи и, улыбнувшись бескровными губами, аккуратно положил монету назад...

Это из рассказа Иосифа Герасимова «Благие намерения» (лучше бы назвать его «Рыбный день»), опубликованного в журнале «Нева» (1989, № 6). Действующий в нем, но не названный по имени Секретарь — Михаил Андреевич Суслов. Эпизоды, на которых построен сюжет, достоверны вплоть до малых деталей. Не только полтинника за обед с форелью, но и разношерстных галош, в которых герой рассказа упрямо любил ходить наперекор моде.

Доподлинно узнаваемы в рассказе и мысли Секретаря, самый тип, образ мышления. Он знал, как тяжело положение в экономике страны, как низок прирост производства, но безудержен размах строительства. Однако считал, что «ничего круто сейчас менять нельзя», что к нынешней ситуации привели не сталинские методы административно-командного, бюрократического руководства, а «вольнодумный поворот» в конце 50-х — начале 60-х годов. «Немало сил пришлось положить, чтобы вернуть течение времени в прежнее русло». Отсюда его непререкаемая вера во всемогущество аппарата, настороженность и недоверие к литераторам и театральным деятелям, чьи непродуманные высказывания хитроумно «использует враждебная пропаганда», излюбленный тезис о невозможности «мирного сосуществования» в области идеологии и обострении идеологической борьбы на современном этапе.

Боковое ответвление давней теории обострения классовой борьбы по мере побед социализма? К сокровленной сталинской идее реальный Суслов питал, должно быть, особое расположение, коль скоро ей был обязан своей карьерой. Карьера же круто взмыла вверх в те именно 1937—1938 годы, что и у многих «коллег» сначала по сталинскому аппарату, затем по брежневскому окружению, не исключая и «самого» Л. И. Брежнева. Выбитых репрессиями наркомов и секретарей обкомов приходилось срочно заменять новыми, по-

слушными кадрами. Был среди них и аппаратчик ЦКК — РКИ, Комиссии советского контроля, особо приглашенный Л. М. Кагановичу, под руководством которого состоял на службе, и успешней других пришедший к сталинскому двору. Главным образом благодаря своей не напористой, но цепкой хватке.

«Все выше, и выше, и выше...»

До начальных ступеней карьерного восхождения «главного идеолога» страны докопался тот же Иосиф Герасимов: работая над рассказом о «рыбном дне», он поневоле стал самым, наверное, сведущим биографом своего прототипического героя. Знающим, в частности, и о том, кому, чему и как обязан Сулов приходом в партийный аппарат.

Рекомендовал его туда Л. З. Мехлис в бытность свою главным редактором «Правды». А расположился он к Сулову, писавшему в газету, как к редкостному знатоку — не удивляйтесь — цитат. Не текстов, а именно цитат, чаще и больше всего из Ленина, старательно выписанных и четко систематизированных в обширной картотеке. На любые темы и в считанные минуты умел выудить из нее подходящую цитату для своих и чужих статей выпускник Института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, молодой преподаватель Московского университета и не раз оказывал на этом поприще услуги благожелателю. А однажды, через него, и самому Сталину. Тот оценил прилежание...

Пройдет три десятка лет, и Федор Бурлацкий будет готовить для Сулова очередную речь. Текст, написанный референтами за ночь, оратор одобрит, но захочет одно место «цитаткой подкрепить из Владимира Ильича». Сказав об этом, он «шустро так побежал куда-то в угол кабинета, вытащил ящичек, которые обычно в библиотеках стоят, поставил его на стол и стал длинными, худыми пальцами быстро-быстро перебирать карточки с цитатками. Одну вытащит, посмотрит — нет, не та, другую начнет читать про себя — опять не та. Потом вытащил и так удовлетворенно: «Вот, эта годится». Зачитал, и впрямь хорошая цитатка была»...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИСТОРИКАМ. Существует версия, объясняющая быстрое выдвижение Сулова в стремительно разбухавшем партийном аппарате 30-х годов «делом»... Павлика Морозова. Оно попало в руки цитатно подкованного инспектора РКИ, который и создал вокруг него пропагандистский бум, заострил и раздул идеологически, поднял на недостижимо принципиальную высоту «классовой борьбы в деревне», конечно же, обострившейся с ликвидацией кулачества как класса.

Такую версию выдвигает, в частности, Юрий Дружников в книге «Вознесение Павлика Морозова» (Лондон, 1988 г.). Материал для нее писатель собирал задолго до вынужденного отъезда за границу:

переворочил горы литературы, в которой преобладала низкопробная беллетристика, но совсем мало отыскалось несфальсифицированных документов, побывал в селе Герасимовке Свердловской области — на месте кровавого события, разыскал, опросил и записал всех его очевидцев, прямых и косвенных, главных и случайных. И откопал, обосновал факты, наконец опрокинувшие легенду, сфабрикованную стараниями официальной пропаганды и ее послушных доброхотов — оперативных журналистов и конъюнктурных писателей, ретиво поспешивших выполнить очередной «социальный заказ». Так, выяснилось, что герой-пионер в действительности пионером не был, как, равным образом, и отличником учебы, школьником примерного поведения. Деталь не столько существенная, сколько курьезная. Что же до героинства, низведенного до доносительства, то оно впрямь имело место: недалекая, но мстительная мать, оставленная мужем, науськивала сына на отца из чувства ревности. В любых других — нормальных — условиях бытовой казус, не более того. Но не курьез и не казус трагический финал семейного разлада: убийство детей — осуществленное местными чекистами уголовное преступление, которому провокационно придали характер политической акции. Ни один из приговоренных к смерти «кулаков» и осужденных на разные сроки «подкулачников» на самом деле убийцей не был, как, впрочем, кулаком и подкулачником тоже. Кому и для чего понадобилась мистификация сначала липового следствия, проведенного скороспело и вызывающе непрофессионально, затем противозаконного суда — «открытого» процесса в примитивном районном исполнении?

Вот как объясняет это Юрий Дружников:

«Напряженность в Уральском обкоме и ОГПУ резко обострилась, когда Сталин отправил в провинцию личных представителей наказывать местное руководство за то, что оно действовало (то есть коллективизировало деревню и выколачивало хлеб у разоренных крестьян. — В. О.) недостаточно энергично. В обкоме уже знали, что на Кавказе и на Кубани глава Центральной контрольной комиссии Каганович (в то время непосредственный начальник Сулова. — В. О.) сразу исключил из партии около половины партийных кадров и осуществил массовые репрессии в деревнях. То же проделал председатель Совнаркома Молотов на Украине. Страх перед эмиссарами из Москвы заставил местные власти готовиться к прибытию такого представителя на Урал. Этот эмиссар вскоре приехал. Им был инспектор Рабкрин (Рабоче-крестьянской инспекции) Михаил Сулов... Скромный инспектор, имея особые полномочия, обвинил местные кадры в бездеятельности и начал чистку. Сулов потребовал немедленной организации показательного политического процесса, и такой процесс... вскоре состоялся».

Не счастье психологических вывихов и душевных травм, на годы и десятилетия вперед причиненных этим образцово-показательным процессом многим и многим поколениям пионерии. Но — правдоподобна ли версия, выстроенная автором книги? Ответим так: опираясь пока что исключительно на хронологическую последовательность событий, она располагает к доверию. Тем более, значит, важно

перепроверить, изучить ее основательней. Не может ведь быть того, чтобы не осталось в архивах, особенно в закрытых партийных, куда автор не имел доступа, никаких документальных следов. А если следы отыщутся, то свет, пролитый на потайные пружины преуспевания аппаратного функционера, ярко озарит еще одну неприглядную грань идеологической обработки умов в сталинском духе...

В 1938 году, когда железная метла Сталина — Ежова повымела партийные, государственные, хозяйственные кадры и, по воспоминаниям современников, в обкомах и наркоматах опустело большинство кабинетов, цитатный эрудит вырывается на орбиту руководящей работы. Сначала он секретарь Ростовского обкома, затем первый секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б). К этому времени относятся его речи, открывающие трехтомник избранного (М., 1982). Речь на XVIII конференции ВКП(б) коротка предельно: меньше трех страниц среднеформатного книжного текста. Не обольщайтесь, однако: перед нами вовсе не тот редкий случай, о котором говорят, что краткость — сестра таланта. Здесь она — падчерица редакторской необходимости: речь при публикации в избранном резко сокращалась за счет ритуальных здравий в честь Сталина. Такие операции произведены со всеми без исключения довоенными, времен войны и послевоенными докладами, речами, статьями Сулова: включаемые в трехтомник, они, как правило, уполовинивались.

Но любопытно: пышнословные прославления «отца народов» изъять, а уши его все равно торчат и усы топорщатся как ни в чем не бывало. Прочтите хотя бы доклад 1941 года на собрании краевого партийного актива в Ставрополе. В нем слово в слово развита сталинская концепция: начала войны, все и вся списывающая на «фактор внезапности», повторена бодряческая ложь, восходящая к июльской речи вождя, где он без тени смущения заверял «братьев» и «сестер», будто «лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений»...

В 1941—1944 годах Сулов, первый секретарь Ставропольского крайкома, был одновременно и членом Военного совета Северной группы войск Закавказского фронта, начальником краевого штаба партизанских отрядов. Партизанское движение на Ставропольщине успеха не имело, но вина за неудачи была возложена на карачаевское население края и соседей-калмыков. И те и другие подверглись в конце 1943 года массовой депортации. О том, как «успешно» проводили ее центральные и местные власти, казенным языком победных реляций сообщают два документа.

Первый — рапорт ближайших суловских сподвижников, начальника и заместителя начальника Управления НКВД по Ставропольскому краю в Народный комиссариат внутренних дел СССР, заместителю наркома С. Н. Круглову: «В ноябре 1943 г. были депортированы из Карачаевской автономной области 14 774 семьи — 68 938 карачаевцев. После выселения основного контингента Управление Народного комиссариата СССР по Ставропольскому краю выявило еще 329 карачаевцев. Все были выселены в места основного проживания».

Верноподданническое рвение карателей явно рассчитано на похвалу. Еще бы: их каток никого не минует, как огнем, все выжигает дотла, всех разит подчистую.

Второй документ — докладная записка Берии на имя Сталина и Молотова: «В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета и постановлением СНК от 28 октября 1943 г. НКВД СССР осуществлена операция по переселению лиц калмыцкой национальности в восточные районы... Всего погружено в 46 эшелонов 26 359 семей, или 93 139 переселенцев, которые отправлены к местам расселения в Алтайский и Красноярский края, в Омскую и Новосибирскую обл. Во время проведения операции происшествий и эксцессов не было».

Идеологическое обоснование преступных акций геноцида* — целиком на совести тогдашнего первого секретаря крайкома, загодя копившего «компромат» на коренное население Карачаевской автономной области и Калмыцкой АССР, поголовно обвиненное в измене, предательстве, сотрудничестве с гитлеровскими оккупантами, прислужничестве фашизму и т. п. Одним из «фактов», уличающих карачаевцев и калмыков в массовом коллаборационизме, стала братская могила, обнаруженная в январе 1943 года, после изгнания оккупантов, в нескольких километрах от Карачаевска, близ нынешнего поселка Новая Теберда.

Поначалу было объявлено, что в ней скрыты следы чудовищного злодеяния эсэсовцев. «Кровь стынет от страшных зверств, которые совершили немцы в детдомах курорта Теберды, Новой Теберды и

* Впрочем, как ни кощунственно это выглядит в наши дни, все еще находятся люди (в том числе и среди писателей, по роду своей профессии призванных быть гуманистами), которые вовсе не склонны считать сталинский геноцид преступлением против человечности. Так, авторы «Нашего современника» Ксения Мяло и Петр Гончаров охранительски взывают в статье «Линия судьбы» (1990, № 9) к тому, чтобы постыдный Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» был рассмотрен не иначе, как в широком историческом и международно-правовом контексте. И сами дают образчик такого рассмотрения, размашисто заявляя, что на рубеже 30—40-х годов повальный «страх перед пятой колонной» (!) носил «международный характер» и «откровенно прорывался на страницах печати и на радио. Исключением (надо же было оправдать договор о дружбе с Гитлером! — В. О.)... оставался Советский Союз, где не наблюдалось ничего похожего на антинемецкую истерию, захлестнувшую европейские страны». (Не движения ли антифашистского Сопротивления имеются тут в виду?) Таким образом, внушает статья, варварский сталинизм оказался куда выше западноевропейской цивилизованности, и, «как бы мы ни относились к подобной практике сегодня», в СССР она выгодно отличалась «только одним» неоспоримым преимуществом, даже достоинством: решение о депортации советских немцев принималось и осуществлялось «не превентивно, как в Польше, не в день начала войны, как во всех без исключения европейских странах, а тогда, когда армия вторжения продвинулась далеко в глубь страны, над которой нависла реальная угроза военного поражения и полнейшего уничтожения. Не сопровождала его и антинемецкая истерия, хотя... к этому времени факты вывешивания местными немцами флагов со свастики на оккупированных территориях кое-где имели место, а, как мы видели, в Европе этого сплошь и рядом оказывалось достаточно для стихийных погромов и расправ». Речь пока что только о немцах (крымские татары упомянуты мимоходом), но авторская методология вполне гибка, изобретательна и универсальна для того, чтобы послужить столь же казуистическому оправданию репрессивной политики сталинизма и в отношении всех других депортированных народов.

Нижнего Архыза, где помещались дети, эвакуированные из Ленинграда, Крыма, Ростова-на-Дону», — восклицала газета «Красный Карачай» 9 июня 1943 г. Пройдет всего два-три месяца, и по новой указке обкома та же газета переадресует обвинение в убийстве детей «местным националистам» из Новой Теберды. Тогда же, осенью 1943 года, арестуют 12 человек, которые вскоре «признаются» в свершении преступления. Как писал в 1988 году в заявлении Генеральному прокурору СССР последний из этих двенадцати оставшийся в живых А. Боташев, в ставропольской тюрьме он, «не выдержав пыток, вынужден был заявить: “Да, детей убивал я, но убивал я один”». На такое вымученное «признание» он пошел, «считая: лучше быть расстрелянным, чем испытывать жесточайшие муки». Переведенный затем в тюремную больницу, он встретился там с земляком М. Чамаевым и узнал, что и того «избили так, что он вынужден был подписать все».

Едва депортация завершилась, Суслов организовал шумную пропагандистскую кампанию в поддержку произвола. «Мы выжили карачаевцев из горных ущелий. Теперь надо выжить отсюда их дух», — громогласно объявил он на собрании партийного актива Черкесской автономной области.

С судом над «преступниками» вышла, однако, непредвиденная накладка: обвиняемые в убийстве детей единодушно засвидетельствовали, что свои ложные показания дали под пытками. Видимо, обвинение настолько было шито сплошь белыми нитками, что даже в сталинские времена, после неоднократных доследований в 1944—1946 годах, арестованных пришлось освободить за недостаточностью улик. Но черное дело уже свершилось, античеловечная акция геноцида получила идеологическое оправдание. И пока Суслов был жив, да и после его смерти тоже, подпыточные признания «националистов» частенько шли в ход. По свидетельству того же А. Боташева, к старым, испытанным «аргументам» местные власти прибегали еще в 1988 году, хотя кому, как не им, «хорошо известно, что никого из нас за убийство детей не осудили, а, наоборот, полностью оправдали как невиновных. Но почему-то некоторые должностные лица заинтересованы, чтобы клеймо лежало на нас».

Плотную завесу над потайными причинами их небескорыстной заинтересованности в сокрытии правды приподнимает эпизод 1956 года, когда делегация карачаевцев во главе с бывшим первым секретарем Карачаевского обкома партии С. Б. Токаевым, приехав в Москву из Средней Азии, обратилась к бывшему первому секретарю Ставропольского крайкома с просьбой содействовать восстановлению национальной автономии и возвращению репрессированного народа на родину. Принять делегацию Суслов отказался, снизошел лишь до телефонного разговора, который свел к одной фразе: «Освобождайтесь от своих иллюзий». Что-что, а напор правды всегда обостряет в партократии стадный инстинкт самосохранения...

Полное выяснение всех обстоятельств трагедии, постигшей карачаевский и калмыцкий народы, и личной причастности к ней Сулова станет возможным тогда, когда будут наконец открыты централь-

ный и местные архивы КГБ. К сожалению, доступ к ним все еще наглухо закрыт как для историков, так и для жертв трагедии. Так что многие черты в портрете «героя» настоящих заметок со временем наверняка будут дорисованы.

Однако одна существенная черта прояснилась уже сегодня. Ее раскрыла информация «Конец мифа. И памятника» в «Комсомольской правде» (1990, 9 октября). Речь в ней — все о той же могиле у Новой Теберды. Оказывается, в 1979 году, то есть, что важно, при жизни Сулова, возле нее был воздвигнут памятник с надписью: «Здесь в августе 1942 года бандитами и предателями Родины зверски уничтожены 1500 детей и воспитателей детского дома г. Евпатория». (Почему от Ленинграда, Крыма, Ростова-на-Дону за истекшие 36 лет осталась одна Евпатория, вряд ли было ведомо даже Сулову, хотя памятники водружали явно ему в угоду.) Затем надпись подредактировали: вместо «бандитами и предателями Родины» появилось «немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками». (Воистину, что хочу, то и ворочу.) Но и при этом «идеологическая функция» памятника — клеймить по чем зря карачаевских нелюдей-националистов — осталась неизменной. «Гостям Теберды и Домбая, — свидетельствует газета, — экскурсоводы рассказывали, как еще до прихода немцев местные бандиты отравили и замучили детей».

В том, что это — «чистой воды фальсификация», многие в Карачаево-Черкесии не сомневались и прежде. Но тем не менее на разоблачение клеветы ушли годы и годы. «...Убийство детей жителями аула Новая Теберда не нашло подтверждения», — ответила наконец краевая прокуратура на публичные запросы народных депутатов, потребовавших от нее и местного управления КГБ тщательного расследования. Кто же в таком случае покоится в могиле? «Когда недавно компетентная комиссия вскрыла захоронение, были найдены останки двух десятков людей. Взрослых людей! Очки, золотые зубы, часы, истлевшие документы — все, что нашли, тщательно собрали, чтобы передать в сельский музей. Как установлено, на этом месте фашистами было расстреляно не менее 24 человек, возможно, двое детей. Ложь об уничтоженном детском доме лопнула окончательно. Останки расстрелянных перезахоронили в братской могиле. А гранитную глыбу — памятник мифу — по решению Карачаевского горисполкома на днях убрали. Теперь это просто камень, каких тысячи в здешних горах».

Что до меня, то я бы камень не выбрасывал. Передал бы в исторический отдел краеведческого музея, дабы хранился там как памятный знак беззащитной, циничной лжи, до которой всегда были охочи идеологические верхи советской партократии...

В 1944 году в карьере Сулова происходит новый поворот. Как партийного руководителя, который за счет полностью репрессированного народа выслужился перед Сталиным и завоевал его доверие в качестве новоиспеченного специалиста по «национальному вопросу», его перебрасывают в Вильнюс и назначают председателем Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР. Какой смысл был в создании этого не то промежуточного, не то придаточного органа и в предоставле-

нии его председателю командных полномочий в республике, ни жизни и истории, ни культуры и языка которой он не знал и не намеревался знать? Разве ЦК Компартии Литвы, возглавляемый его многолетним, еще со времен подполья, секретарем А. Ю. Снечкусом, не был достаточно компетентен в глазах если не всего литовского народа, то по крайней мере литовских коммунистов?

Закономерный, вроде, вопрос с нынешней точки зрения, но в пору тогдашнего сусловского назначения он первый наверняка бы отнес его к вражеским проискам. В том и дело, что в силу высокомерного — чем не психология колониальной администрации? — недоверия к национальным кадрам для осуществления в Прибалтике диктаторской сталинской и карательной бериевской политики в каждой из республик нужны были своего рода наместники — представительные согладатаи, ответственные надсмотрщики. Такую роль и исполнял в Литве Суслов, оставивший там по себе недобрые славу и память. В том числе и на заурядном бытовом уровне.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИСТОРИКАМ. Писатель Георгий Вайнер настоятельно советует покопаться в архиве вильнюсской милиции с целью найти там подтверждение доподлинно известной ему истории. В голодный 1946 году на городском базаре, по-тогдашнему «толкучке», дежурный милицейский наряд задержал двух женщин в каракулевых шубах, из-под полы спекулировавших сахарным песком. Их доставили в отделение, составили протокол. Тут и открылось, что одна — жена Суслова, вторая — его свояченица, сестра жены. Обоих, разумеется, отпустили, извинившись. А бдительных милиционеров наказали за превышение власти. Компрометирующий протокол задержания сохранился вряд ли, а дисциплинарный приказ мог и уцелеть. Велик соблазн отыскать его...

В пору литовского наместничества Суслова по его прямым указаниям осуществлялись массовые выселения крестьян, что, вопреки ожиданиям, не снижало накала сопротивления деревни Советской власти, а, напротив, еще пуще разжигало и без того жаркое пламя борьбы. Не в последнюю очередь потому, что председатель бюро имел крайне смутное, но очень тенденциозное представление о литовской действительности, не вникал и не хотел вникать в глубинные причины, объективный характер социальных и духовных драм народа, которые в изобилии порождала жизнь, насильственно перекроенная по сталинским канонам «великого перелома». С легкостью сводя многообразие литовской действительности к единому знаменателю буржуазного национализма, Суслов подверстывал под него все что угодно. «Какие бы маски они на себя ни надевали, буржуазные националисты — это агенты немецкого фашизма и являются соучастниками и продолжателями всех кровавых и разбойничьих злодеяний гитлеровских оккупантов в Литве. Они убивают трудовых людей по указке фашистов, их оружием, они действуют на немецкие деньги и под руководством фашистских офицеров. Вы присмотритесь: ведь нет или почти нет ни одной банды, в которой бы не было фашиста или прямого агента гестапо — парашютиста».

Подобный примитивизм импонировал Сталину, укладывался в систему его прямолинейного, схематичного социологического мышления. Но, не отвечая действительности, препятствовал глубокому пониманию драматичной ситуации, сложившейся в Литве в первые послевоенные годы. И, принятый как руководство к действию, еще более накалял ее.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА (Игоря Черноуцана, литератора, критика, бывшего ответственного работника отдела культуры ЦК КПСС). Став в 1947 году секретарем ЦК КПСС, Сулов не обрывал связей с Литвой, но осуществлял их весьма своеобразно. В 1953 году, вскоре после смерти Сталина, по его наущению снарядили в Вильнюс комиссию в составе Ю. В. Андропова и И. С. Черноуцана, вменив им в обязанность собрать «факты» на первого секретаря ЦК КП Литвы А. Ю. Снечкуса и подготовить вопрос о его снятии. Комиссия с заданием не справилась: изучив деятельность республиканской партийной организации, дала ей положительную оценку.

— Вас зачем туда посылали? — по суловской подсказке топал ногами Маленков.

— Для того, чтобы мы объективно разобрались в делах республики, — ответил Черноуцан.

— Не занимайтесь демагогией!

Вскоре Ю. В. Андропов, к которому Сулов до конца своих дней сохранил настороженное, ревнивое отношение, будет переведен на дипломатическую работу и направлен «с глаз подальше» послом в Венгрию. Не ахти какая, а все же опала. Хотя, как мы увидим спустя десяток-другой лет, выйдет во благо будущему генсеку.

На полях избранного

С 1947 года и до конца жизни М. А. Сулов — бессменный секретарь ЦК КПСС, а с 1952 года, еще при Сталине, — член Президиума, затем Политбюро ЦК КПСС. Постепенно в его все более монопольном ведении оказываются вопросы идеологии, культуры и отчасти международные, которыми он занимался с 1954 года как председатель Комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР. (Заметим, к слову, что в сфере международной он имел касательство к самым черным акциям. В 1949 г. обличал компартию Югославии на будапештском совещании Информационного бюро коммунистических и рабочих партий. В 1956-м — деятельно участвовал в усмирении «венгерской контрреволюции». В 1968-м — настаивал на введении советских войск в Чехословакию. И наверняка воззвал бы к крутым мерам со стороны в разгар «польского кризиса», если б не его масштабы внутри страны и не резонанс в мире, что повергло Сулова в смятение в последние два года жизни.)

Тогда, в начале 50-х, он пока что еще не «главный идеолог» страны, но потайное желание стать таковым красноречиво выдает

речь «Больше внимания идеологической работе» на XIX съезде КПСС. Текст ее, уполовиненный все по той же известной причине, помещен в трехтомнике даже не как «речь», а всего-навсего «из речи». Вряд ли и сам Сулов, и его референты, готовившие избранное к изданию, полагали, что читатель всерьез поверит, будто, взойдя на съездовскую трибуну, он ни разу не восславил «великого и мудрого». Скорее, думали, что преподают наглядный урок идеологических переориентаций. Что же, хамелеонская их механика и впрямь наглядна, даже поучительна, но не в том, правда, позитивном смысле, на который рассчитывал автор, названный в издательском предисловии «крупным теоретиком партии», уделившим «особое внимание принципиальным выводам... о построении в нашей стране зрелого социалистического общества».

Не приходится сомневаться: доведись Михаилу Андреевичу заново издавать сейчас свои «труды», от «зрелого» или «развитого» социализма следовало бы днем с огнем не сыскать, так же как от реалий «хрущевского десятилетия» в докладах, речах, статьях, составивших большую часть первого тома. Вникнем и сопоставим, проследив лишь за немногими вихляниями политической конъюнктуры.

Речь на XX съезде КПСС

По стенографическому отчету:
«В своем докладе тов. Н. С. Хрущев ярко, глубоко и исчерпывающе доложил о деятельности нашей партии за отчетный период, о ее выдающихся успехах, достигнутых под руководством своего Центрального Комитета, изложил задачи партии в борьбе за новые победы коммунизма».

«Тов. Н. С. Хрущев дал убедительные ответы на самые жизненные вопросы, волнующие народы всех стран, основываясь на марксистской оценке нынешней международной обстановки...»

По первому тому избранного:

«В отчете ЦК КПСС дан глубокий анализ деятельности партии, показаны ее выдающиеся успехи, изложены задачи партии в борьбе за новые победы коммунизма».

«Убедительные ответы на эти жизненные вопросы, волнующие народы всех стран, могут быть даны, лишь основываясь на марксистской оценке нынешней международной ситуации...»

Примечательное снижение патетики, заземление пафоса, не правда ли?

Немало разительных примеров дает в этом плане сравнение начального и конечного вариантов речи на XXII съезде КПСС, но, дабы не злоупотреблять цитатами, остановимся лишь на купюрах, которые пришлось на места, оказавшиеся со временем сомнительными или вовсе крамольными. Какие же?

Куда ни шло — фантастические прожекты, которые, по Программе КПСС, принятой на XXII съезде, должны были воплотиться в

жизнь как раз в начале 80-х годов, когда готовилось к изданию трехтомное избранное: ничего, кроме ироничной улыбки, они не вызвали б. Поэтому и не сохранены опрометчивые уверения двадцатилетней давности в том, что эта Программа, поражая человеческое воображение «своими грандиозными масштабами», вместе с тем «совершенно реальна» и наверняка «будет выполнена с тем же успехом, с каким были выполнены первые две Программы партии». Но чем объяснить, что такому же изъятию подверглось в трехтомнике резкое осуждение «антипартийной группы Молотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова, Булганина», о которых было заявлено во всеулышание как о «презренной группе оторвавшихся от народа фракционеров», пытавшихся «сбить партию с ленинского пути, вернуть ее к временам культа личности»? Не иначе тем, что за два десятка лет отношение идеологического флюгера к сталинизму и его оруженосцам круто изменилось. Вернее, вернулось на круги своя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА (И. Черноуцана). Еще в пору «оттепели» он подготовил от отдела культуры список на посмертную реабилитацию литераторов, репрессированных в разгар «борьбы с космополитизмом», к истерическому нагнетанию которой Суслов имел прямое руководящее отношение и как заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК (с 1947 г.), и как главный редактор «Правды» в 1949—1950 годах. «Не время!» — припечатал он, скользя бегло по фамилиям и споткнувшись глазом на профессоре Г. А. Гуковском. И надолго похоронил список в своем столе...

(Вполне возможно, потому, что вспомнил, как, вдохновившись свежим постановлением ЦК ВКП(б) от 1 мая 1944 г. о борьбе с немецкой классической философией, «прозорливо» и заблаговременно предостерегал от «космополитического чужебесия», выступая в том же 1944 г. в Ставрополе на краевом съезде учителей. Не отсюда ли тянется ниточка к суловской «стратегии» и «тактике» в журнальных дискуссиях 70-х — начала 80-х гг., когда гласную и особенно негласную поддержку «ведомств», подотчетных «главному идеологу», неизменно получали «неославянофильские», как их тогда не совсем точно называли, а вернее бы сказать, «русофильские», т. е. амбициозно имперские, великодержавные, шовинистические, настроения и позиции?)

Итак, как поступили суловские референты, не без его, разумеется, ведома, а может быть, и редакторского участия, с Н. С. Хрущевым, мы видели. Но любопытно вообразить: что бы делали они, если бы такую же операцию по идеологическому осовремениванию избранного пришлось проделывать, изгоняя имя Л. И. Брежнева? Это давалось бы куда тяжелее: о нем Михаил Андреевич успел наговорить во сто крат больше. В мощном потоке клише-заклинаний «по инициативе товарища Л. И. Брежнева», «в свете указаний...», «в духе указаний товарища Л. И. Брежнева» всего навалом. И пылких признаний в любви к нему, с которым «выпало огромное счастье работать» рядом, и лстивых потачек его тщеславию: «Вы, как бывший

командир и политработник, внесли большой вклад в разгром гитлеровского фашизма... Вы и сегодня солдат, и сегодня находитесь в строю защитников Родины». Знал ведь, что, мягко говоря, лукавит. И не кощунством ли было такое словоблудие в то самое время, когда на афганской земле изо дня в день обрывались жизни советских ребят, что, впрочем, и в малой мере не бередило безмятежную маршальскую совесть генсека...

Если верно, что стиль — это человек, то, судя по стилю трехтомных трудов Сулова, все они писаны человеком, чье перо не просто не ахти как натружено, но и на удивление скучно, бесцветно, обезличено и лживо. Удручающе похожи одна на другую торжественные речи при вручении орденов республикам, областям, городам, приветственные — на съездах зарубежных коммунистических партий, лозунговые чаще всего заголовки статей, типовые блоки общих мест, едва-едва обрамленных собственным орнаментом. Взрывчатый динамизм феерического стиля, напруженного, как было, скажем, у Луначарского, под напором пульсирующей мысли и непоказной эрудиции, — не суловская стихия. На всем своем долгом жизненном пути он всегда предпочитал говорить только то, что хотелось слышать Сталину, Хрущеву или Брежневу.

В 1948 году, когда в большинстве градов и весей страны люди не ели досыта, он призывал к «еще большему повышению уровня материального благосостояния трудящихся». В 1969 году, пренебрегая самоочевидной истиной, что одними процентами сыт и одет не будешь, продемонстрировал несказанно «высокий уровень советской экономики» замшелым сравнением: объем современного промышленного производства по отношению к 1913 году возрос в 79 раз! (А по телевизорам и компьютерам, надо полагать, и того больше.) В кризисном 1980 году утешительно сообщил о возросшей в два раза доле изделий «высшей категории качества», о том, что, не в пример «им», у нас «высокими темпами ведется жилищное и социально-культурное строительство», «устойчиво повышается товарооборот», происходит «неуклонный подъем благосостояния советских людей, все более полное удовлетворение их материальных и культурных потребностей». Как пелось на заре его партийной и государственной деятельности, «живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Но кто скажет, верил ли он сам в это или намеренно лгал то ли во благо, то ли во спасение?

Так обстоит дело со сквозными сюжетами докладов, речей, статей, не обремененных свежей, оригинальной мыслью. Что же до эрудированности, подкупавшей еще более темного Брежнева, то и она не идет дальше общедоступных цитат из Пушкина («Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!») или Маяковского («Лет до ста расти нам без старости»), неуклюже сопровождаемых нехитрым комментарием: «И все крупные наши писатели шли по стопам Пушкина, отдавая своей Отчизне все свои силы».

Колоритный эпизод рассказан Светланой Аллилуевой. По меткому ее описанию, ограниченность Сулова выдает в нем бездушного и просто неумного человека, который, живя в своем отчужденном,

замкнутом кастовом мире, равно разучился и сам говорить по-людски, и внимать живой человеческой речи.

...«За границу мы вас не выпустим!» — сразу взял он быка за рога, благожелательно напомнив, что отец просительницы вообще «был очень против браков с иностранцами. Даже закон у нас был такой». И никакие ответные доводы, что муж, индийский коммунист, смертельно болен, что возвращение на родину может продлить его недолгие дни, уже не действовали — не были не то чтобы поняты, даже услышаны. «Умрет так умрет. Он больной человек. А вам нельзя за границу. Будут провокации».

Дальнейший их диалог сто́ит того, чтобы быть воспроизведенным полнее:

«— Какие провокации? При чем тут провокации?»

— Да, вы не знаете, — ответил он. — А вот когда я поехал в Англию вскоре после войны, то наш самолет уже в аэропорту встретил толпа с плакатами: «Верните наших жен!» Понимаете?

— Я не понимаю, где тут провокация, — сказала я. — Я не понимаю, почему так бояться за меня: неужели я не в состоянии ответить на вопросы, если уж придется?

— Вас там сразу же окружают корреспонденты. Вы не знаете, что это такое, — словом, политические провокации будут на каждом шагу. Мы вас же хотим уберечь от всего этого».

И, словно в знак особой, отеческой доверительности, завершил беседу рассказом о близких, охваченных в домашнем кругу такой же идейно-воспитательной работой: «Вот вся моя семья и мои дети не ездят за рубеж и даже не хотят! Не интересно»...

Не только низкий, не просто примитивный — дремучий, пещерный уровень. Куда с таким не в кабинетных поучениях, а в спорах интеллектуальных? Суслов бежал от них, как черт от ладана.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА (академика Г. А. Арбатова). В 1969 году Брежнев, не отважившись сам, поручил своему идеологу встретиться и побеседовать с академиком А. Д. Сахаровым. Суслов испугался, «замотал» встречу. Понял, стало быть, что не готов к ней. И не будет готов когда-либо...

Вблизи вершин

Но как и почему в таком случае именно Суслов выдвинулся при Брежневе на роль «главного идеолога»?

Алексей Аджубей в воспоминаниях «Те десять лет» склонен объяснить это руководящим участием «серого кардинала» в заговоре против Хрущева: «Суслов любил держаться в тени. Не двигала ли эта тень своего хозяина?»

С таким допущением не согласны, горячо опровергают его другие очевидцы событий. Верно — «серый», но «кардинал» — преувеличение. О том, что состоится Пленум, на котором снимут Хрущева, он узнал одним из последних и, как вспоминает П. Е. Шелест,

перепугался насмерть: «Да что вы?! Будет гражданская война». Доклад, с которым Суслов выступил на Пленуме, он не писал, а только как автомат, но не без записок прочел текст, загодя заготовленный для Брежнева, который вдруг отказался его произносить.

Другое дело, что вероломное смещение Хрущева пришлось ему куда больше по душе, чем разоблачение «антипартийной группы», на резкую критику которой он отважился вовсе не по доброй воле, а под нажимом А. И. Микояна. Убеждая Суслова, он хотел, комментирует Серго Микоян действия отца, «укрепить позиции Хрущева, а убедив, фактически спас, к сожалению, самого Суслова, ибо по своему идейному багажу тот был в одной лодке с Молотовым». В результате — чего никто не предвидел — мы оказались обречены «на длительный период хозяйничанья в сфере идеологии и культуры человека во многом со взглядами прошедшей эпохи».

Но эти-то взгляды и поднялись в цене! Как и соответствующий им стиль идеологического руководства, который возрождал и укоренял Суслов, — стиль нажима, команды, окрика, хотя сам «главный идеолог» не любил, говорят, не только кричать, но даже повышать голос.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА (Александра Караганова, литературного и кинокритика, бывшего секретаря Союза кинематографистов СССР). Впервые он встретился с Суловым в конце войны, когда, пройдя фронт, был выдвинут на руководящую работу в ВОКС. Представительствуя от ЦК на одном из совещаний, Сулов заявил, что работникам ВОКСа чужды интересы социалистической Родины — иначе не поместили бы в своем издании на заграницу заметку о добыче вольфрама в СССР. Но казус в том, что злополучная заметка была перепечатана из «Известий», чего не знал Сулов.

— И вот поразительно: никому из присутствовавших не достало мужества сказать об этом вслух. Сидели и молча сносили разнос, которого не заслуживали. Так я впервые увидел в действии стиль работы человека, который считал высшей доблестью партийного идеолога умение заострить ситуацию политически.

Жертвой такого очередного «заострения» и именно по суловской воле А. Караганов стал в 1947 году, когда, исключенный из партии, был согласен на любую работу, хоть редактора в зоопарке...

— А что скажете об этой обложке? — спросил он, показав книгу Ларисы Жадовой (жены Константина Симонова) «Современная керамика Узбекистана».

— Обложка как обложка. Если и пестровата, то это ведь материалом диктуется — керамической росписью, узорами, национальным орнаментом.

— А Михаил Андреевич очень гневался. Увидел в этом пропаганду формализма.

— Опять заострял ситуацию?

— Я бы назвал Суслова нашим отечественным Савонаролой. Он прямой наследник сталинского, продолжатель ждановского догматизма. Умел изрекать банальности тоном глубокомыслия. Самоуве-

ренно руководил заседаниями по специальным вопросам — например, о тюменской нефти, — в которых не разбирался. То же — международные вопросы. Ни одного живого наблюдения, самостоятельного вывода. А гибкости и близко не было. Больше всего любил произносить вступительное слово — руководящее, наставляющее, но отстраненное от всего конкретного...

Наверное, виртуозному умению не входить в конкретику, избегать ее Суслов в значительной степени обязан тем, что даже в решениях, до очевидности абсурдных или позорных, принятых по его прямым указаниям, он, верткий, как вьюн, не оставил явных, документально удостоверенных следов своего вмешательства. Не он исключал Александра Солженицына из Союза писателей СССР и лишал академика Сахарова звания Героя Социалистического Труда, проводил в печати шумные кампании их осуждения литературной и научной общественностью, выдворял одного за рубеж, другого в Горький. Но он дирижировал обеими акциями и их финалами из-за кулис. И если бы эти действия разворачивались на какой-нибудь технически оснащенной сцене, скрытой легким, прозрачным пологом, то мы разглядели бы в глубине высокую сутулую фигуру, стоящую у пульты управления.

Даже поводов для легенд о себе как о воинствующем невежде Суслов, похоже, не оставил, хотя серьезными познаниями в области общественных наук или литературы и искусства отягощен не был. Как Каганович, который, слушая однажды концерт Баха для двух скрипок в исполнении Ойстраха и Менухина, изрек не без гордости: «А ведь наш-то забывает американца!» Или Жданов, в доме которого считали, будто Илья Эренбург любит Париж потому, что «там — голые женщины».

Зато с тем и другим Суслов мог бы успешно соперничать по части держимордовских акций. О беседе с Василием Гроссманом, чей роман «Жизнь и судьба» он, как сразу объявил писателю, и не думал читать, но судить о нем взялся с апломбом высокопоставленного вельможи, сегодня широко известно. Вплоть до деталей, будь то уподобление романа «атомным бомбам, которые готовят против нас наши враги», или коронная фраза о том, что в лучшем случае «Жизнь и судьбу» возможно будет издать «через двести — триста лет». По счастью, наша юная демократия развивается не такими черепашьими шагами, как мечталось Михаилу Андреевичу. И тридцати — всего-то! — лет не прошло, как триумф романа стал посмертным посрамлением идеолога. Жаль, что не прижизненным.

Остается, однако, в этой драматичной истории один неясный эпизод, на который обратил внимание А. Аджубей. Почему Н. С. Хрущев не ответил на отчаянное письмо писателя, молившего после ареста рукописи о помощи? Наверное, потому, что не дошло до адресата и, перехваченное, осело у Суслова. Хотя, оговаривается Аджубей, это вовсе не значит, что Никита Сергеевич принял бы «Жизнь и судьбу», если б, получив письмо Василия Гроссмана, прочел роман...

Скорее всего, в том же суловском кабинете осело в дни разгона «Нового мира» и письмо Александра Твардовского Брежневу, хотя до адресата оно все же дошло. По хронике Юрия Буртина, тогдашнего сотрудника журнала, Твардовский обратился в ЦК между 5 и 8 февраля 1970 г. и тщетно ждал ответа до 12 февраля, когда написал заявление об уходе. О том, что его отставка с поста главного редактора принята, секретариат правления Союза писателей СССР сообщил поэту сразу, но официальное свое решение затягивал и откладывал, тоже, наверное, потому, что ждал ответа «сверху». Мысли о том, что «наверху» могут вообще не ответить, никто, сдаётся, не допускал. Такое неопределённое положение длилось до 20 февраля, когда Твардовский, так и не дождавшись решения писательского секретариата, снова заявил об уходе из редакции, ибо понял, что никакого ответа из ЦК ему не будет. Не дождалось ответа и коллективное обращение московских писателей на имя Брежнева и Подгорного с просьбой остановить разгром журнала.

Ведут к Сулову нити множества других самых разных, но одинаково черных дел. Да и вообще можно с уверенностью сказать, что трудно отыскать такое неправоё событие в идеологической, культурной, литературной жизни страны конца 60-х — начала 80-х годов, а зачастую и много раньше, к которому он не приложил бы руку.

Таково его участие в заседании Оргбюро ЦК ВКП(б), которое в присутствии и по указке Сталина предвосхитило погромный характер ждановского постановления «О журналах „Звезда” и „Ленинград”», принятого две недели спустя. Или — ликвидация Музея обороны Ленинграда, глумливое уничтожение его уникальных экспонатов в угоду Маленкову и Берии как главным застрельщикам, инициаторам «ленинградского дела».

Тщетно пытаюсь спасти безнадежное положение, один из последних руководителей музейного коллектива — Василий Иванович Баранов самовольно отправился в Москву, подал на имя секретаря ЦК Сулова прошение с просьбой принять и выслушать «для решения судьбы музея. Собственно, не музея уже — сотрудников». Пять дней, вспоминает он, следил по телефонам за прохождением записки. «Наконец, через пять дней, поздно вечером, около 22 часов, ко мне пришли: «Баранов?» — «Да». — «Завтра в десять ноль-ноль быть в ЦК. Там вам все объяснят...» Привели в кабинет самого главного идеолога. «Мы, товарищ Баранов, — сказал мне своим очень характерным, немужским голосом Михаил Андреевич Сулов, — в курсе дел этого музея, и вы нас не агитируйте (а я уже и не пытался «агитировать»), возвращайтесь домой — все решим». На следующий день меня уже материл за обращение к секретарю ЦК секретарь горкома... А еще дней через пять — через неделю мне в Смольном показали полученную из Москвы бумагу за подписью самого Сталина на ликвидацию Музея обороны Ленинграда. Без всякой мотивировки — ликвидировать...»

В иных, послесталинских условиях, но тем же волюнтаристским — «без всякой мотивировки» — образом действовал Сулов, монополярно решая прекратить издание популярного в 50-е годы журнала «Сла-

вяне». Все началось, рассказывает его бывший главный редактор Сергей Пилипчук, с роковой для редакции задумки аннотировать диссертации, посвященные славянским странам. «Напечатали несколько сообщений, и вдруг строгий звонок:

— Кто разрешил?

— А разве нужно разрешение? — поинтересовался я.

Последовал новый вопрос:

— Вы читаете диссертации?

— Читаю печатные рефераты.

Тогда звонивший объяснил, что один из руководителей ПОРП просил у М. А. Суслова диссертацию, о которой коротко сообщалось в журнале. М. А. Суслов после беседы с гостем сказал: «Кто знает, что они там напишут». И распорядился прекратить печатать сообщения о диссертациях.

Вслед за этой первой атакой самое существование журнала оказалось под угрозой. «Чтоб не было панславизма», — резюмировал Суслов. И вынес вопрос о «Славянах» на Идеологическую комиссию ЦК КПСС. Накануне заседания за сохранение журнала горячо ратовал Славянский комитет, поддержанный отделом ЦК, которым руководил Ю. В. Андропов. Но председательствующий Суслов предоставил первое слово «работнику аппарата ЦК, который изложил подготовленный проект закрытия журнала. Суслов бросил одобрительную реплику. Фурцева тоже заметила: «Правильно». Затем слово попросил Андропов и заявил, что он снимает возражения и согласен с проектом»...

Тяжким ударом обернулось обращение к Суслову для И. А. Яхимовича, председателя латышского колхоза. Встревоженный противоправными приговорами Синявскому и Даниэлю, Гинзбургу и Галанскову, Литвинову и Богораз, он простодушно попытался объяснить секретарю ЦК, «какой огромный вред причиняют партии и делу коммунизма подобного рода судебные процессы». Преследование инакомыслящих, писал он, — «крайне опасная линия. Не шаркуны, не поддакивающая публика — господа, сколько их развелось! — будут определять судьбу нашего будущего, а именно бунтари... Глупо видеть в них противников Советской власти, архиглупо гноить их в тюрьмах. Для партии такая линия равнозначна удушению».

Не в том дело, знал или не знал Суслов о последующей расправе с И. А. Яхимовичем, давал или не давал «органам» указание учинить ее. Вполне мог и не знать, и не давать. Но суть от этого не меняется, ибо она — в удушающей атмосфере, царившей в канцелярии «главного идеолога», в стиле и методах работы, которые культивировались в его аппарате, в бездушном отношении к почте, поступавшей в ЦК. Крамольное письмо переправили на Лубянку, а она с автором не церемонилась. Был обыск, за ним арест, затем суд, тюрьма и «психушка». В полном согласии с обвинительным заключением суд признал И. А. Яхимовича виновным в том, что он «сочинил клеветническое письмо о советской действительности в адрес ЦК КПСС, в котором оклеветал Советское государство и общественный строй. Будучи допрошен по делу, пояснил, что хотел предупредить ЦК об имеющем место возобновлении культа личности, процесс которого якобы в настоящее время происходит»...

На суловском счету — многолетняя опека над шарлатаном Лысенко, философами-пустословами Митиным и П. Юдиным, другими лжеучеными в академических мантиях, в которые их облачила фортуна времен сталинизма... Подхалимская поддержка брежневского любимца Трапезникова, невежественного, бездарного, конъюнктурного командора «всёй», как тот говаривал, науки. Заветной его мечтой было переиздать сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)». Став благодаря Брежневу заведующим отделом науки ЦК КПСС, Трапезников все свое служебное рвение направил на то, чтобы заставить ученых избрать его в академики, пробиться в АН СССР если не через парадный подъезд, то хотя бы с черного хода. Всесоюзная академия достойно выдержала многолетний натиск, а отраслевая — педагогических наук — дрогнула, отступила под напором цековской силы...

В той же цепи деяний — самоослепленная «борьба с сионизмом», результатом которой стал категоричный запрет на издание в СССР книги Бернарда Марка «Восстание в Варшавском гетто», обошедшей, без преувеличения, весь цивилизованный мир... Препоны и рогатки на пути фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», в котором Сулов узрел недреманым цензорским оком нежелательные «аллюзии»... Инспирация скандальной статьи А. Жюрайтиса «В защиту „Пиковой дамы“» («Правда», 1978), задуманная с провокационной целью общественной компрометации Геннадия Рождественского и Юрия Любимова, что должно было стать еще одной козырной картой в травле Театра на Таганке... Запрет фильма Элема Климова «Агония», пьесы Михаила Шатрова «Так победим!»... Продолжать ли дальше?

Словно рок какой тяготел над «главным идеологом», последовательно и целеустремленно отторгавшим от себя все честное и совестливое, самобытное и талантливое. И, наоборот, как мухи на липучку, тянулись к нему ложь, конъюнктура, бездарность, пошлость, безвкусица. Едва ли не единственный раз Сулов не пригрел, а осудил их, отозвавшись критически о романе Валентина Пикуля «У последней черты», — видать, и его бездонная чаша терпения на сей раз переполнилась. Но и это он сделал анонимно по форме и неуклюже по существу, отметив в романе не погромный антиисторизм нескрываяемо русофильского толка, не демонстративную пошлость и вызывающую низкопробность вкуса, а всего лишь «странные пристрастия к фигурам исторических авантюристов». Кто внушил ему, надомил, будто авантюристы заказаны литературе и не могут быть героями т а л а н т л и в ы х исторических романов?

«Спрос на серость, на серость, на серость!» — восклицал Евгений Евтушенко о затхлой атмосфере времени, в которой «главный идеолог», чувствуя себя как рыба в воде, все явственней и определенной становился алхимиком от идеологии. Ибо не чем другим, как идеологической алхимией, была его апологетическая теория застоя, пышно именуемого периодом «зрелого» или «развитого» социализма. Если это и впрямь роковой жребий, то он не выпал фатально, а избран сознательно. Ибо серость никогда не желает до-

вольствоваться тем, чтобы тихо и мирно поживать на незаслуженных лаврах. Завистливая и мстительная, она ненавидит все, что превосходит ее убогий уровень, возвышается над усредненностью и посредственностью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА (А. Аджубея). После того как был свергнут Хрущев, Суслов лично проследил за трудоустройством его помощника по культуре Владимира Семеновича Лебедева, которого терпеть не мог за самостоятельность и независимость. По суловскому указанию того зачислили в Институт философии на самую низкооплачиваемую научную должность. Вскоре он умер...

(Напомню: это тот самый Лебедев, который провел с Хрущевым в Пицунде последние дни перед отставкой и не изменил ему после отставки. В свое время благодаря его настойчивости Никита Сергеевич прочел «Один день Ивана Денисовича» и высокой оценкой писательского дебюта А. Солженицына решил издательскую судьбу повести.)

Та же закономерность — демонстративное равнодушие к людям творческим, отторжение таланта, но притяжение бездарности — «железно» действует и в отношении обращений писателей, деятелей культуры лично к Сулову. Проследив за судьбой некоторых из писем, хранящихся ныне в ЦГАЛИ, я не нашел ни одного свидетельства благожелательного ответа на просьбу помочь, призыв поддержать.

Историк искусства Д. Аркин (1949 г.), печатно обозванный «лидером антипатриотической группы в архитектуре», лишенный возможности печататься, отстраненный от преподавания, готов с отчаяния признать за собой «серьезные ошибки, связанные с пережитками буржуазных воззрений и недостаточным пониманием принципа партийности в науке», но ради их исправления молит прекратить травлю, позволить работать. Без последствий... Вера Инбер (1950 г.) пишет, как оскорблено ее профессиональное достоинство поэта хамским отказом в выступлении по телевидению с чтением принятого ранее стихотворения. То же самое... И. Дунаевский в большом письме от 10 марта 1951 г. просит оградить его от клеветы, ушатом вылитой в кляузном фельетоне газеты «Советское искусство». Никаких извинений композитору редакция не приносит... Театровед С. Подольский (1960 г.) не может добиться, чем вызван запрет на издание его книги «К. С. Станиславский и В. Э. Мейерхольд», прочитанной в рукописи и поддержанной Ильей Эренбургом, Дмитрием Шостаковичем, Юрием Завадским, Назымом Хикметом, другими авторитетными деятелями литературы и театра. Книга так и не издается...

Иная картина — письма-кляузы, письма-сигналы, письма-доносы. Ответы на них, даже если не давались напрямую авторам, отзывались опосредованно — теми или иными событиями литературной жизни.

Принято и понятие сообщения Юрия Либединского об «апологетическом отношении» к Шамилю: оно послужило одним из оснований обвинить интеллигенцию Дагестана в национализме. (Зато не услышан голос историка А. М. Пикмана, просившего защиты от преследований за опубликованную в «Вопросах истории» статью, в ко-

торой реабилитировалось движение Шамиля...) Ксения Львова жалуется на «Литературную газету», якобы воспрепятствовавшую ее желанию осудить роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Ее «Заметки писателя» появляются вскоре в альманахе «Наш современник», где заодно с «Не хлебом единым» подвергнуты критике рассказы Даниила Гранина «Собственное мнение» и Александра Яшина «Рычаги»... Александр Дымшиц вослед Льву Толстому возмущает свое «Не могу молчать!», с той, правда, немаловажной разницей, что великий классик гласно протестовал против смертной казни, а современному литературоведу и критику, заушательствующему втихую, неметается по причине выхода четвертого тома Краткой литературной энциклопедии. И открывается-то он заметкой «Лакшин В. Я.», где «рекламируются две статьи» опального автора, осужденные самой «Правдой», и содержит «возмутительную, бессовестную» ссылку на Бориса Пастернака, оболгавшего (не иначе!) Маяковского с «завистью и озлоблением». Якобы в защиту Маяковского от Пастернака и написано письмо, прозрачно рекомендуемое под занавес — и это главное в нем — призвать «к ответу людей, которые осмелились в канун IV съезда писателей и в год 50-летия Советской власти допустить такую выходку...»

Печатная критика Краткой литературной энциклопедии не замедлила воспоследовать в нескольких изданиях. А год спустя в софроновском «Огоньке» появилась сенсационная, с явным антисемитским душком и в подтексте, и в тексте статья В. Воронцова и А. Колоскова «Любовь поэта», которая в отклике Аркадия Первенцева, саморекламно обнародованном следом за публикацией, названа «большим началом партийной оценки не только творчества, но и личной жизни» (!) Маяковского. «Сплетня двухмиллионным тиражом» — так определил все это варево, в том числе и освященное именем партии беспардонное вмешательство во взаимоотношения поэта с друзьями и близкими, Константин Симонов в письме в «Литературную газету». Не будучи, разумеется, напечатанным, оно, однако, оперативно вызвало в «Огоньке» ответную публикацию с тем же напроломным пафосом — разверстанную на два номера статью А. Колоскова «Трагедия поэта». «Этот триптих, — возмущенно откликнулась в «Летр франсэз» Эльза Триоле, — являет собой великопнейший пример исторической фальсификации». Похожую оценку обывательским пересудам «Огонька» о Маяковском дали Борис Слуцкий и Семен Кирсанов в письмах-протестах, которые, также не сумев пробить в печать, направили соответственно Брежневу и Косыгину. И что же? А ничего. Снова все замкнулось на Сулове. В. Воронцов работал его помощником и, надежно огражденный от какой бы то ни было критики всесильной волею своего патрона, мог действовать безнаказанно. С явным вызовом общественному мнению, которому не позволили высказаться, он взял на себя в 1973 году научный комментарий к восьмитомному собранию сочинений Маяковского, выходившему приложением к тому же «Огоньку»...

Приведенное выше суждение о том, что стиль — это человек, нередко сопровождается уточнением: в той же мере, в какой человек —

стиль. Стиль идеологического руководства, насаждавшийся Суловым, а точнее — ведомственного надсмотрщика за обузданием общественной мысли, был охранительским стилем сталинизма и застоя. И запретительным по отношению ко всему, что им противостояло.

Своего рода символическим знаком такого стиля воспринимается прочный жестяной короб с надписью «Ремонт», долгое время ограждавший от возможных покушений мемориальную доску с именем Сулова на фасаде факультета журналистики МГУ. Не лучше ли было бы снять ее сразу, чем укрывать таким образом? Или кто-то близоруко надеялся, что доска, призванная увековечить память алхимика от идеологии, может понадобиться? Право, не хочется сочувствовать тому, кто обманулся в своих надеждах.

Тем более что, словно в ободрение ему, на родине Сулова — в селе Шаховское Ульяновской области — и поныне стоит, как стоял прежде, бронзовый бюст дважды Героя Социалистического Труда, отлитый в честь славного земляка еще при его жизни. Рядом — величественное здание музея с зимним садом, импортными светильниками, кондиционерами.

Так было, по крайней мере, в дни, когда писались эти заметки: убирать бюст и закрывать музей никто не собирался...

Александр ШАРОВ

Тридцать седьмой

В зимний солнечный день начала тридцатых годов мы с одним местным жителем заплутали в тайге, километрах в двухстах от Архангельска. Ни следочка — ни человеческого, ни звериного на снегу; поскрипывают ели и сосны, несильно шумит ветер, падают пушистые белые варежки с еловых лап и веток сосен. Еще несколько толчков лыжными палками — и мы выкатываемся на показавшуюся бесконечной просеку. Тут на деревянных опорах-шпалах, поперек их, лежали толстые сосновые стволы, подобранные так, чтобы все они были одного диаметра, пригнанные друг к другу. Оледенелые, они тянулись вдаль, до горизонта, за горизонт...

Онемевшими от мороза губами я предложил:

— Покатим вдоль просеки. Куда-нибудь да выберемся...

Мой товарищ, краевед, отрицательно мотнул головой:

— Именно, что никуда. Дорога из тайги в тайгу, мимо людей.

Понятно?

— Нет.

Он объяснил:

— Металла не было — восемнадцатый год. Вот и решили строить деревянную электрическую дорогу. Согнали людишек: как при царе Петре «на берега Невы» воздвигать Петербург. Одних силком привезли, другие приехали «в порядке дисциплины», а многие — добровольно. Идея-то какая: деревянные поезда, как-то так по этому деревянному рельсу, от одного деревянного города, которого еще нет в тайге, к другому деревянному городу будущего. По краям — видишь! — столбы для электрокабеля — единственное, что предусмотрено проектом, из металла; словом: «Русь моя, деревянная Русь...» Ток, предполагалось, пойдет от электростанций, где в топках будут сжигать дерево. Строили, строили... — он помолчал и показал рукой на невысокие холмики, утонувшие в снегу. — Цинга и прочее... Одни, надо думать, умирали с верой: мы начали, придут другие, доведут до конца; а кто-то — с недоумением — зачем только родились на свет?

Мнимости...

В конце тридцать шестого и начале тридцать седьмого года я работал в «Правде» спецкором, и меня послали в первый зимний арктический перелет. Самолет под управлением двух пилотов, Фариха и Пацынка, должен был пересечь страну до Ледовитого океана, а там через полярную ночь по зимовкам — от Уэлена до Анадыря и Архангельска. Впрочем, у первого пилота, Фабия Бруновича Фариха, хранился запечатанный пакет — его предписано вскрыть в заливе Кресты, северо-западнее Чукотки. Он и будет в этом пункте вскрыт, из него мы узнаем, что маршрут меняется: обратно на Уэлен, а там через Берингов пролив на Аляску (мыс Ном); первая попытка проложить воздушную трассу, связывающую два материка — Евразию и Северную Америку; а из Номы в Нью-Йорк, оттуда снова в Европу — пароходом, в Париж, на Всемирную Парижскую выставку.

По иронии судьбы пакет распечатали после тяжелой аварии: в заливе Кресты самолет при посадке натолкнулся на ледяной бугор, взлетел, вернее — подскочил, тяжелый, неловкий, и рухнул, уткнувшись носом в сугроб. Конечно, теперь о полете, «связывающем материки», нечего было и мечтать.

Если попытаться найти место нашему Н-120 в ряду средств передвижения, то он ближе к самолету Уточкина, чем к современному лайнеру, и, может быть, он чем-то сродни той «деревянной железной дороге». Крейсерская скорость — 120—150 километров в час, предельная высота — три — три с половиной километра. В хвост вделано нечто вроде огромного самовара, чтобы согреть воду для моторов в случае вынужденной посадки и на маленьких зимовках. Лыжи окованы тяжелыми стальными полосами; много раз при взлете с ледяных аэродромов весь экипаж, кроме пилотов и первого механика, выходил и раскачивал хвост. Только с нашей помощью тысяча двести сил двух моторов могут сдвинуть примерзший лыжами самолет (ведь в преддверии полярной ночи температура минус 40—60 градусов). Самолет оторвется, и пока он рулит, описывая плавную кривую, ты должен успеть забежать вперед, под винтами проскочить к

фюзеляжу (только не забудь наклонить голову, не то винт срежет ее), ветер от пропеллера прижмет тебя на мгновение к громоздкому, гофрированному алюминиевому телу самолета, как бы сделает его частицей, откроется дверца, и товарищи втянут тебя в самолетное нутро, и варежками разотрут лицо, чтобы не обморозилось.

А самолет тем временем уже не плетется — он мчится, и гул моторов все сильнее; и ты чувствуешь — удивительное это чувство, — как вместе с самолетом, всем, что в нем, повис в воздухе; знаешь, что это чудо совершилось и благодаря тебе.

Самолет поднимается, набирает скорость.

Мы летим над хребтом Черского. Под крылом — горные пики очень правильной формы, похожие на гигантские сахарные головы; плотные синие тени, окутывающие основания гор, дополняют сходство. Вершины — искристые, как рафинад, ослепительно белые, чуть розоватые от косых лучей закатного солнца.

Мы летим долго. Шум моторов отдышливый, им тяжело нести самолет на высоте трех километров. Более высокие пики — три с половиной, четыре километра — самолет огибает. Угольчатые тени от них ложатся на плоскости самолета, как бы придавливая его — и так усталого, замученного тяжестью и высотой — черной ладонью к узким, ничем не оживленным ущельям; ни огонька.

Штурман Штепенко из своей кабинки на носу передает записку — через летчиков, они не глядя суют ее за спину — мне (мы со Штепенко дружим). В записке: «Светового времени осталось... Горючего...» Он человек бесстрашный, но любит обстановку трагедии.

Справа, почти касаясь крыла, проплыла еще одна вершина.

А если бы уже наступила темнота?!

На склоне неба зажглась первая звездочка. Но почти одновременно под крылом обозначились неровные, пляшущие красноватые огоньки костров.

Новая записка: «Идем на посадку».

Сильный, равномерно гудящий ветер низко несет тучи снега, стелет по аэродрому одно пуховое одеяло за другим. Пока мы закрепляем самолет, кто-то из встречающих рассказывает, стараясь перекричать вой ветра:

— Два часа жжем костры. Пуржит, уже и счет потерян, сколько раз расчищали аэродром.

Пока мы работаем, вокруг самолета образуется сугроб. Встречающих только трое — кто же расчищал аэродром в эту адскую погоду? Но мы на Колыме — потом я узнаю, что это лагерный край; работали, видимо, лагерники — вон вдали темнеет толпа людей, быстро удаляющихся. А пока я еще и слова этого не знаю.

Из надвинувшейся ночи подъезжают несколько низких саней, запряженных маленькими лохматыми лошадками, и две собачьи упряжки с нартами. Я сижу в санях за спиной у возчика-якута и вижу: впереди, близко — светящиеся колонны.

Здания? Такие особенные, прекрасные и величавые дома. Из хрусталя какого-нибудь, из стекла, металла? Город? Чего ж удивительного? Где-то тут, далеко, и должны были вырасти города бу-

душего, и я очень готов к тому, что меня вместе со всеми вдруг швырнет прямо в социализм.

Великанские столбы светло-зеленого цвета, переходящего в голубой, синий, розовый.

— Город? — спрашиваю я возчика, подгоняющего лошадок.

— Гоод... Гоод... — отвечает он, не поворачивая головы, странно и неправильно произнося это слово не только из незнакомого ему языка, но и из мира совсем чужих представлений. — Гоод, — повторяет ямщик, — Зырянка...

«Зырянка» или «Зорянка»? Я неточно расслышал. Нет, конечно — Зорянка. И название какое удивительное.

А ночь вдруг гаснет. Северное сияние, впервые виденное мною, исчезло.

Мы въезжаем в поселок из двух-трех десятков деревянных срубов. В одном — побольше, клубе поселка, — вокруг прямоугольного большого стола собрались зимовщики. Я раздаю письма из захваченного мною с самолета мешка с почтой — одна из моих обязанностей.

Люди раскрывают конверты и тут же начинают читать. Некоторые, правда, поднимаются, чтобы уйти; с редкой восточкой из дому хочется побыть без свидетелей. Один человек приподнимается и, оглянувшись, сразу с какой-то беспомощной полуулыбкой опускается на стул. И пока зимовщики читают — слышен только шелест перебираемых листов и тихое напряженное дыхание, — за спиной их ходит некто; лицо его совсем не запомнилось, но сразу представилось уже виденным, и не один раз. Но где? Когда?

Бесшумно, неспешно ходит он. Протянет руку и молча возьмет конверт или даже листок из рук читающего — быстрым взглядом пробежит его, прежде чем вернуть; а владелец письма безропотно ждет.

А я все еще не знаю, что Колыма — лагерный край и есть, может быть, среди зимовщиков бесправные ссыльные. Наверняка есть. Но я этого не знаю, не думаю об этом. А тот, за спиной читающих, идет дальше, медленно очерчивая замкнутую линию вокруг стола, вокруг человеческих жизней сидящих тут людей, и втягивает за эту линию, в этот круг всех, всех, как в водоворот. Да какой там водоворот, скорее это похоже на очерчиваемый вокруг курицы меловой круг, превращающийся для нее в непреодолимую стену...

Еще одна мнимость вступает в жизнь. Мнимость свободы даже в самом личном, мнимость права сохранения тайны даже в самом интимном. «Калыма-а-а...» — как безнадежно звучит это слово сейчас...

Хотя экспедиция добиралась до Якутска с продолжительными остановками, по преимуществу где-либо в безымянных поселках, у Фариха свои соображения, чтобы длить полет: что-то еще надо отладить и проверить в многочисленных механизмах, выждать благоприятную для трудного полета погоду; и хотя начальные месяцы тридцать седьмого года мы были по существу отдалены от страны в маленьком самолетном мирке, почему-то я подготовлен к то-

му, что происходит, и я не возмущен происходящим, как-то все принимаю.

А когда этот, с незапоминающимся и таким знакомым лицом, останавливается за моей спиной — экипаж сидит среди зимовщиков, — я слегка сжимаюсь, словно от порыва холодного ветра, словно от страха.

Хотя чего же мне-то бояться? Чего бояться всем нам, членам экипажа?

А зимовщикам чего бояться?

Ну, это уж их дело.

Мир, значит, уже отчасти разделился для меня на «нас», ну и на «остальных».

Но только отчасти. Только начал делиться.

Память настойчиво доносит из далекого прошлого эту смену беглых мыслей. Да каких там мыслей?! Смену рефлексов; а в рефлексах человек не так уж далек от курицы, и нечего удивляться действию на него замкнутой меловой черты.

Погас светящийся «город будущего», тьма сужается и вокруг меня, давит и на меня, как на все живое... А тот прошел дальше, и ты можешь перевести дыхание; все как прежде, было только мгновенное наваждение. Нет, все же лишь почти как прежде; на дне сознания остался унизительный нечеловеческий осадок стыда и инстинктивного страха.

Шуршат листки писем, время от времени рука берет конверт, по особому повертит его, словно человек обнюхивает письмо, прежде чем вернуть.

А на столе расставляются яства, пироги, испеченные в честь экипажа.

...И вспоминаются тоже как-то причастные к теме о мнимостях первые дни на Большой земле. Но сперва — о конце экспедиции. Был июнь, начало поздней арктической весны. Два раза мы пробовали подняться с аэродрома острова Диксон. Но лыжи застревали в топкой смеси воды и льда. Командир самолета принял решение слить часть горючего и сбросить буквально все — даже хозяйство механиков: инструменты, винты, гайки, шурупы, а также половину продовольственного НЗ, жизненно необходимого в случае вынужденной посадки. Первыми были выкинуты чемоданчики с личными вещами, мы остались в меховых кухлянках из двойного козьего меха, оленьих штанах и торбазах, без возможности сменить арктическое обмундирование.

Когда самолет благополучно приземлился в Архангельске и несколько отхлынуло счастье увидеть зеленую траву, я сразу почувствовал невыносимую жару: термометр показывал больше двадцати градусов.

Разместили нас в одном очень большом номере гостиницы; к счастью, к комнате примыкал душ — без горячей, но с ледяной артезианской водой. Конечно, мы могли бы купить летнюю одежду, но вначале все были уверены, что вылетим в Москву на следующие же сутки, рано утром — благо погода стояла отличная: в небе ни облач-

ка, ночью все небо вызвездило. Но этой же звездной ночью пришел телеграфный приказ Главсевморпути — вылет отложить до особого распоряжения.

И как же купить, если мы не захватили с собой денег — зачем они в Арктике, — а занимать неудобно. Кроме того, суеверное чувство, что если только начнем «обзаводиться», то застрянем тут чуть ли не насовсем. Это чувство очень усиливалось от тревоги, разлитой в самом воздухе; ощутили мы ее еще в Арктике — слушали ведь радио, знали о «процессах», — но воспринимали скорее как нечто, происходящее в другом мире, нас не касающееся, что до нашего возвращения бесследно уляжется, уладится. В Арктике мы были — всю эту первую половину тридцать седьмого года — как в холодильном шкафу, как в анабиозе, а тут неподготовленно погружались в происходящее. Правда, и сейчас еще очень постепенно, мало понимая суть и масштабы событий; мало понимая, что оно — происходящее — касается не кого-то там, а тебя лично, всех твоих близких, всех вообще в стране.

Этого мы не сознавали, хотя уже не были забронированы от тревожных новостей; а они шли отовсюду — с газетных полос, от каких-то не прежних — сдержанно монотонных, что ли, — голосов близких, когда мы с ними говорили по телефону, в лаконичности их ответов на самые простые вопросы, вроде «все ли здоровы?» Это слово «здоровы» уже означало другое. В обрубленности телеграмм, получаемых нами из Москвы. В выражении лиц новых наших архангельских знакомых, очень сердечно нас принимавших; что-то чудилось в них неживое, даже призрачное; в их манере вдруг обрывать разговор, вдруг оглядываться, вглядываться тебе в глаза с жалким выражением лица, переводившимся: «Вы все понимаете?» И еще: «Как же быть, что же будет?»

Нас то и дело настойчиво приглашали в гости; приходилось напяливать на голое тело «вицмундиры», как называл Фарих кухлянки. Следовал обязательный банкет — архангельцы пользовались случаем отвлечься. Мы сидели за длинными столами, буквально плавая в поту, завистливо поглядывая на мужчин, повесивших на спинку стула пиджаки, расстегнувших ворот рубашки, на женщин в летних платьях. Было отчасти досадно, что другие участники банкета словно бы не сознавали, какую пытку переносим мы и какой подвиг совершаем, полярные путешественники и должны выглядеть соответственно.

Если устраивались в конце банкета танцы, Фарих танцевал, и мы по его приказу тоже танцевали, заключая улыбающихся манящих партнерш в раскаленные меховые объятия.

Каждый был бы счастлив увильнуть от очередного банкета, но Фарих строго следил, чтобы шли все и сидели до самого конца. Поэтому было странно, вначале просто странно, а вскоре очень обидно, когда, кажется, на седьмой или восьмой день пребывания в Архангельске, под вечер, все поднялись, чтобы идти на какую-то новую встречу, поднялся и я, но в дверях Фарих обернулся и сказал мне, выходявшему из комнаты вслед за ним:

— Оставайся!

— Почему? — растерянно спросил я.

— Письма читал? — Фарих указал рукой на стол у окна.

Еще утром пришел из редакции пакет с письмами на мое имя, вскрытыми и снабженными карточками. Я их даже не успел просмотреть — мы торопились на завтрак, а потом отвлекли другие дела.

Теперь, оставшись один, в горькой обиде я сел к столу у окна и стал читать — писем было много, двадцать или даже тридцать. Почти все письма, пришедшие на мое имя в редакцию с разных концов страны, были от брошенных моими однофамильцами жен, сестер; были даже два письма от матерей: одна, как помнится, жила в Мурманской области, другая, кажется, на Украине. Наверное, увидав подпись под короткими корреспонденциями с борта самолета, эти мои «родственники» решили, что объявился исчезнувший, бежавший и бросивший их муж, брат, отец, сын.

Удивительные и трогательные эти человеческие документы. В них поражало почти полное отсутствие жалоб, просьб о помощи, хотя между строк и даже во внешнем облике листков бумаги, на которых они были написаны, даже в почерках, в случайно проскользнувших горьких словах явственно виделось трудное положение писавших, их горькое одиночество.

«Как же так получилось, — думал я, — что из числа людей, носящих мою обычную, но не очень уж распространенную фамилию, числа, не могущего быть очень большим, оказалось столько личностей легкомысленных, а то и проходимцев?» Так и не найдя ответа, я задремал, проснулся только от шагов идущих по коридору членов экипажа.

Когда появился Фарих, я спросил:

— Ну, хорошо, Фабий Брунович, допустим, вы поверили, что я бросил двадцать жен, но как, по-вашему, можно умудриться бросить двух матерей?

— Достаточно, если одну.

Все рассмеялись. Фарих тоже, помолчав несколько секунд, улыбнулся, сказал несколько примирительных слов о том, что сегодня было настоящее пекло:

— Тебе крупно повезло.

Словом, маленький инцидент был как будто исчерпан.

Приняв холодный душ, члены экипажа легли и сразу заснули, а я все ворочался, наконец тихо встал, подошел к столу и в свете северной ночи стал медленно читать оставшиеся письма. Особенно поразило одно от какой-то ткачихи из Иваново-Вознесенска. Оно было написано крупным, круглым ученическим почерком; и от этого, и от каких-то тоже детских ученических словечек, сейчас забытых, чувствовалось, что писала очень молодая женщина, только что со школьной скамьи. Не было в нем ни слова о горе обманутой и оставленной женщины — вообще ни слова о чувствах, ни просьб, мольбы вернуться, а только подробное, час за часом, изложение того, чем занята ее жизнь с раннего утра и до ночи. «В шесть маленького нашего отложу

в детсадик, вначале плакал, а теперь привык, ничего, в семь заступаю смену...» И так до самого конца, до ночи: очереди, какое-то собрание, снова очередь, стирка, готовка — хроника обычной, решительно ничем не выделяющейся одинокой женской жизни. «Поиграю с маленьким минут двадцать, чтобы больше — нету сил, уложу его, сама лягу и засыпаю, как каменная». В самом конце было одно-единственное прямое обращение к адресату: «Ну, как ты там, Саша? Намучился, намерзся?!»

И в этом перечислении часов и минут дня и ночи яснее слов читалось, что у писавшей нет никакой «личной жизни», что она и вместе с ней «наш» мальчик ждут моего возвращения, надеждой на это живут.

Мелькнула смешная мысль: вот взять и «вернуться к жене» в Иваново, где я, кстати говоря, никогда не был.

Потом, позднее, уже в Москве, когда я перебирал в памяти эти письма, возникла догадка, а после и уверенность в том, что среди адресатов должно быть много не уехавших, а у в е з е н н ы х, исчезнувших. Появилась заметка о перелете, подписанная инициалами имени и фамилией такого исчезнувшего, и оживила надежду, что он жив, не погиб, выплыл. И тут нечему удивляться: может быть, никогда еще во всю горькую историю России не было в ней такой веры в чудеса, как в этом тридцать седьмом; на что еще было надеяться, кроме чудес? Ведь почудился мне, человеку сравнительно осведомленному, в сполохах северного сияния светящийся город там, где были только утонувшие в снегах деревянные срубы, а кругом — колючая проволока и лагерь. Вот и перед матерями, женами, сестрами, писавшими все это, как сполохи, мелькнули исчезнувшие дорогие лица; а были только наспех вырытые ямы и рвы могил.

...Пишется все это по большей части ночами. Тихо, окна черны, на черном четче рисуется прошедшее.

Вернулся я из экспедиции в совсем другую Москву, но что она другая, узнавал только постепенно...

Кроме меня в комнате «спецкоров» редакции еще трое — Диковский, Езерский и некто К. Три товарища. Много раз К. исповедовался перед нами (то есть так было раньше) в своей любви к В., нам знакомой только по его рассказам. В. — лучший человек на земле — правдивый, искренний — и необыкновенная красавица. Они любят друг друга, но В. не находит сил уйти от мужа — ответственного работника; муж без нее сопьется, погибнет. Она не в силах покинуть семью, а для К. в ней всё, вся жизнь. И это навсегда. Это неодолимо.

Встречается он с В. тайно, урывками, зато часами говорит по редакционному телефону. И после кратких свиданий и бесконечных телефонных звонков лицо у К. — страдальческое.

Когда он уехал в дальнюю командировку (это было еще до моего полета в Арктику), в одной из его корреспонденций поразила совсем не газетная фраза, чудом проскользнувшая между правщиками и редакторами: «Собор стоял на краю обрыва, как самоубийца»; что-то в этом роде. Читая ее, я думал, что в ней отражено состояние самого К., готового на все.

Но то было в Москве до полета, до того, как я первую половину тридцать седьмого провел в самолете, в другом мире.

Где замерзшее молоко для детей полярников — тяжелые, похожие на жернова диски гулко перекатываются по дну фюзеляжа.

Где сыворотки и лекарства в огромных бутылках — для предотвращения эпизоотий среди оленей.

И потом на этом полу, уже освободившемся от молочных жерновов, больной в спальном мешке, вывезенный нами с Челюскина; не подвернись вовремя Н-120, его бы, может, и не удалось спасти.

Где пакеты с почтой для зимовщиков: уже год, а иные и два года не получали писем от родных и близких; пакеты с цветными вымпелами, чтобы почта, сбрасываемая на парашютах, не затерялась среди снегов.

Где авария в заливе Кресты — «полный капот», если на летном языке: мгновение, когда самолет носом, пропеллерами, моторами, штурманской кабиной врывается в снег и лед; и сотрясается всем телом, частица которого и ты сам; и ты камнем падаешь из хвостового отсека на тонкую перегородку, отделяющую кабину летчиков. Несколько мгновений, пока ты оглушен силой удара и не понимаешь, что же произошло; и мгновения, когда ты, как и все другие члены экипажа, в мертвой тишине ждешь — раздастся ли взрыв, загорится, сгорит ли вместе с тобой самолет; ведь ничего не остается, кроме как ждать.

И медленно утихающие вибрации самолета, сотрясения, похожие на то, как сотрясается тело рыдающего человека. Но вот все затихает, ты слышишь, как переругиваются летчики, вина в аварии один другого.

Где ремонт самолета своими силами. Смена моторов, пропеллеров, латание нашей воздушной телеги; связать два материка ей уже не суждено, но прежний маршрут она выполнит.

Где жизнь человеческая — шесть месяцев человеческой жизни — и это в тридцать седьмом! А если суждена была бы смерть, то и она — человеческая.

Оттуда — в совсем иную Москву, хотя и почти не изменившуюся внешне.

Другую!

К. зовут к телефону, но разговор не тот, что прежние, часовые; несколько секунд, несколько отрывистых фраз: «Что ты говоришь?!»... «Хорошо, я позвоню!»... «Скоро».

И едва он вешает трубку, прибегает курьер: К. вызывают к редактору. Он возвращается довольно скоро — бледный, как бы несколько раздавленный; таких, «несколько раздавленных», мы потом будем встречать множество и научимся с первого взгляда отличать от всех других, которых будет становиться все меньше.

К. садится к столу. Снова звонок — долгое молчание и короткие ответные реплики К.: «Не могу»... «И завтра тоже»... «Уезжаю в командировку»... «На три-четыре месяца»... «Ничего не поделаешь».

— Куда ты едешь? — спрашивает Диковский, когда трубка положена на рычаг.

К. долго не отвечает, потом:

— Я дал слово редактору...

А сколько слов он давал В., изливаясь нам, рассказывая о ней?! И на черта тогда этот «собор, стоящий на краю обрыва, как самоубийца»?

Что ж, любовь тоже превращается в мнимость. А что же тогда остается в реальном? Газетная комната, пропахшая табаком и чернилами; и ложью тоже, как с каждым днем я буду осознавать все яснее.

«А мы, остальные трое, — как бы мы поступили на месте К.?» — мысленно спрашиваю я самого себя. Ну с тебя другой спрос, ты еще под арктическим наркозом, еще не надышался здешним. Ну, а остальные?

И в один из тех самых дней мне сверху, из приемной редактора, звонит Лев Толкунов. Недавно он был начинающим газетчиком и, как таковой, вместе с Эдиком Балаяном и еще несколькими из молодых состоял в редакции под моим наставничеством. Пока я был в Арктике, Толкунова назначили помощником главного редактора газеты, а у Эдика арестовали отца, и он из редакции уволен.

Толкунов шепотом говорит в трубку:

— У Э. свадьба! Э. Б. Ты понимаешь, о ком я говорю?!

— Да, теперь понимаю, — отвечаю я таким же скрытным шепотом.

Отец Эдика из очень высокопоставленных чекистов: вроде даже — начальник управления по охране вождей.

— Очень просил заехать! — говорит Толкунов. — Как думаешь?

— ...Поедем, — кажется, я отвечаю не сразу.

Можно было бы вызвать редакционную машину, но из осторожности мы этого не делаем. Едем на трамвае, потом бесконечно долго, молча — говорить трудно и не хочется — блуждаем по окраинным, плохо освещенным переулкам. Идем и думаем — как-то неясно, иногда взглядывая друг на друга, как бы сверяя мысли.

Я в памяти вижу Эдика: тонкий, стройный мальчик — тогда ему было восемнадцать, но выглядел он еще юнее — со смуглым красивым и нервным лицом; он редко улыбался, а когда улыбка светилась в огромных черных глазах, еще более хорошел. Он из разветвленной древней армянской семьи — рода, клана, откуда поколение за поколением выходили вожаки националистических, главным образом, движений: в русской Армении направленных против царя, в турецкой — безнадежно стремившихся отомстить туркам за кровавую резню, — террористы, экспроприаторы.

Как-то часа в три ночи — это еще за год до перелета, за год до тридцать седьмого, — мы шли с ним из редакции домой бульварами, шуршащими под ногами осенней листвой, и он рассказывал об этом своем роде. Потом о бабушке, живущей только любовью к нему, надеждой на его не обычное в семье, не кровавое, а спокойное счастье. Потом о старшей сестре — талантливом враче-бактериологе; о ней говорил подробно и с явной гордостью. А об отце сказал только:

— Чекист, но не из этих. — Еще раз с некоторым трудом повторил: «не из этих», и тревожно переспросил: — Понимаете?

Я тогда не понял его слов, но промолчал. Однако слова запали в голову, сверлили память, пока наконец я не догадался — уже после тридцать седьмого года, — что он делит чекистов на всякого рода следователей, о грязной работе которых кое-что знал, а о многом догадывался, и на тех, что исполняют необходимую и чистую работу, как его отец, охраняющий вождей. Делил, но, вероятно, не вполне был уверен в правомерности деления, именно в этой «чистоте», и очень страдал от своей неуверенности; он и взглядывал на меня во время того откровенного, должно быть, мучительного для него, но необходимого разговора, вопросительно, большими своими, еще расширившимися от тревоги и темноты черными глазами ища какого-то от меня подтверждения делению на «чистых» и «нечистых».

Но что я мог сказать?

...Когда мы с Толкуновым вошли в залу ветхого деревянного домика, где происходила свадьба, она была уже в разгаре. Эдик бросился навстречу, потом, с той же лихорадочной поспешностью, обратно к столу, вокруг которого сидели по преимуществу старики-родичи, приехавшие на торжество из горных сел Армении; молодых было, как сразу заметили, очень мало; видимо, молодые быстрее разобрались в сути времени и в опасности общения с теми, кому грозят репрессии; а вот старики из далеких горных сел — это ясно читалось на лицах, угадывалось по гортанному армянскому говору, по одежде, у некоторых чуть ли не из домотканого сукна, по величавой торжественности речи и поступи, — для них настоящее — момент, страшный момент, как та же турецкая резня, неизгладимый, но все же отступающий перед вечностью обычая; словом, старики приехали.

Эдик бросился к столу, налил стаканы доплна прямо из бурдюка густым красным вином. Когда мы выпили, взял за руку свою невесту — в белом, в белой фате, чуть откинувшейся в сторону, такую же тоненькую, стройную, как он сам, — и увлек нас в соседнюю комнату; там было пусто. Невеста совсем откинула фату, и меня поразило, как она похожа на Эдика: брат и сестра. На длинных загнутых ресницах висели крупные слезы, стекали по смуглым щекам прекрасного лица...

Эдик поспешил объяснить:

— У нее тоже взяли.

— Отца и мать?

— Отца и мать!

Я вспомнил рассказ деда, что существует древний еврейский обычай: если женятся сироты — свадебный обряд справляют на кладбище, где похоронены родители, как только возможно ближе к ним. Но если бы такой обряд существовал и у армян, и у всех других, где бы они, где бы сироты нашей страны в то время могли найти кладбища и могилы своих родителей?

Из-за стены доносился армянский говор. Запели песню. Протяж-

ную и по мелодии — слов я не понимал — очень печальную. Много раз при встречах с армянами я просил их напеть свадебные песни. Они были одновременно печальные, как свадебные напевы у всех народов, и у моего, еврейского, тоже, оплакивающие девичество, прощание с родным домом, — и ликующие: превращение того, что древо жизни даст новые побеги, что оно вечно. А та песня, доносившаяся из-за стены, звучала, как похоронная. Будто все решено и то, что не успело даже начаться, окончено или обречено.

Мы вернулись в зальцу. Эдик, усадив невесту, подвел меня к бабушке. Она была в черном, траурном платье, белый платок покрывал голову и был завязан так, что открывался только треугольник худого старческого лица, морщинистого, словно бы пергаментного, с небольшими, но необычайно блестящими пристальными черными глазами. Пока мы шли к ней, она неотрывно следила за нами взглядом, словно собирая силы, чтобы встретить новую беду, которую могли принести и мы в эту годину бед. Подведя нас, Эдик сказал несколько слов по-армянски. Она перевела взгляд на Толкунова, затем на меня и попыталась улыбнуться; но глубокие морщины на пергаментном лице остались неподвижны, как трещины на склонах гор, так часто напоминающих старческие лица. Эдик тоже пытался улыбнуться. Она притянула его, поцеловала в губы, сухонькими, темными, морщинистыми руками прижала его голову к груди и не отпустила несколько секунд. Потом махнула рукой и сказала по-русски:

— Иди!

Свадебная песня, похожая на отпевание, все длилась; она и сейчас, через полвека, длится в памяти, слышится, хотя уже почти ничего из происходящего кругом нынешней моей затянувшейся жизни я не слышу.

Когда в середине ночи мы прощались с Эдиком, он сказал:

— Я все понимаю. Я не прошу заходить... звонить. Только, пожалуйста, не забывайте нас. — Он показал глазами на жену. — Если мы останемся где-то в самой краешке вашего сердца, нам будет теплее.

Жена кивнула и заплакала.

Мы шли снова в редакцию и на этот раз всю дорогу пешком. Москва была в ту ночь пустой; ни одного прохожего. Только изредка проносились машины; ночью они все казались черными.

Несколько лет назад я попал в психиатрическую больницу к мудрому врачу, еще не старой, красивой женщине Наталии Григорьевне Романовой. Она очень хотела помочь мне. И говорила спокойно, успокаивающе, тихо. Но вдруг не выдержала, заплакала и рассказала, как в том тридцать седьмом — тридцатые-роковые — она вместе с матерью и отчимом приехала из Парижа в Москву. Они долгие годы прожили за границей — отчим был профессиональным дипломатом. Когда все настойчивее стали доноситься слухи о том, что происходит в стране, он не очень поверил и решил, что надо съездить домой и самому во всем разобраться. Конечно, его вскоре арестовали, притом — вместе с женой. Когда родителей увезли, че-

ловек, проводивший обыск и арест, посадил Наташу в свою длинную черную машину и сквозь ночь повез куда-то (оказалось — к отцу, он был тоже психиатром, профессором, но уцелел — и тогда, и позже). Этот чекист был одновременно и водителем, владевший, вероятно, еще многими принятыми в его ремесле профессиями. И когда он вез ее, то со сдержанным пафосом сказал: «Девочка, посмотри, как прекрасна ночная Москва». Наташе было тринадцать лет.

Сейчас, слушая ее, я, диагностированный, так сказать, профессиональный псих, не понимал, кто кого должен лечить: я ее, перенесшую неизлечимое горе, или она меня, тоже перенесшего неизлечимое горе. Да и вообще, кто в нашей стране, где все больные, может лечить? И еще я подумал: «Слава богу, что был отец, что не достался ей детский дом для детей репрессированных».

А тогда, шагая по пустой Москве, я еще даже не знал, что есть такие специальные детские дома. Мы многого не знали. Мы медленно узнавали мир, может быть, надо сказать — преступно медленно.

Месяца через два мне, не в редакцию, а домой, позвонила сестра Эдика, врач-бактериолог, и сказала, что хотела бы увидеться со мной. Мы встретились в условленном месте — на улице у больницы Склифосовского. И она сказала:

- Эдика взяли.
- Когда?
- В прошлый вторник.
- А жена?

Она не ответила, кивнула и быстро ушла. Вообще в ту встречу больше ничего не было сказано, и продолжалась она минуту.

У Даля слов «взяли» и «братъ» в их нынешнем смысле нет. Есть только: «Братъ грибы, малину, собирать, рвать», «Братъ дух, вдыхать, потянуть воздух в себя» и т. д. Другой язык, другая страна...

В сорок седьмом году я приехал из Австрии, где проходил послевоенную службу, в Москву. Комната была пуста. В окне выбито стекло — ветром, что ли? — и сквозь раму, топящуюся стеклянными осколками, влетело семечко какого-то дерева или кустарника, забралось в щель между рассохшимися паркетинами, укоренилось и выбросило тоненький ствол, высотой ладони в две или три, с прозрачными, паутинной тоньшины веточками. Была глубокая осень, листочков не было, и угадать, что за дерево, я не мог. На стеллажах, где почти не оставалось книг — кто-то чохом забрал все, кроме стихов, очевидно не признавая за ними товарной ценности, — валялись любимые мои «Повесть о рыжем Мотэле» и томик Пастернака, распахнувшийся на стихах: «Весна, я — с улицы, где тополь — удивлен, Где даль — пугается, где дом — упасть боится, Где воздух — синь, как узелок с бельем У выписавшегося из больницы».

Стихотворение показалось счастливым предзнаменованием: мне тоже предстояло «выписаться» из армии, уйти из «болезни войны»; только — неизвестно, куда уйти.

Я дочитывал стихи, когда в коридоре раздался звонок телефона.

Взял трубку и с первых же слов узнал гортанный голос Эдика. Неловко спросил:

— Ты уже вернулся?!

— Сорок седьмой год, — ответил он на это «уже». — Десять лет.

— Здорово подгадал: я только с аэродрома.

— А я в Москве два месяца, звонил каждый день, вот и «подгадал».

Говорил он не быстро, захлебываясь от волнения, как бывало прежде, а несколько затрудненно, очень тихо.

— Ты свободен? — Я сразу поправился: — Ты ничем не занят? Приезжай!

— Можно?

— Приезжай скорей.

Не только в полутемном коридоре, когда я ему открыл дверь, показалось, что он мало изменился, но и в комнате он выглядел таким, как тогда, на свадьбе. Почти таким. В чем заключалось «почти», я определить не мог, даже для себя. И в руках был словно тот же бурдюк с вином.

— У меня пол-Армении родичи, — пояснил он.

Стаканов не нашли, вообще в комнате не было ничего — одна незастанная тахта. Выпили по очереди, прямо из бурдюка.

Даже глотая вино, я не сводил с Эдика глаз; это был первый для меня человек, вернувшийся оттуда. И человек, к которому я, как и прежде, испытывал покровительственную нежность. И ведь там, откуда он явился, были — тогда я еще надеялся, что они живы, — почти все мои близкие. Эдик был единственной связью с ними, с их призрачным миром.

Я не сразу решился спросить его о лагерях. Он ответил односложно, неохотно. Как-то странно поморщился и сразу стал даже не старше, а старее. Я увидел, что он очень болен. Как бы боясь, что я еще буду спрашивать об этом, он перевел разговор на другое. Спросил:

— Меня возьмут обратно в редакцию?

Я должен был ответить: «Разумеется, нет», — но решился сказать только: «Не знаю».

Я, как уже говорилось, не раз пребывал в чем-то вроде анабиоза, отгораживающего от реальной московской жизни. С сорок первого по сорок пятый был отгорожен войной, а с сорок пятого по сорок седьмой — армейской службой за границей, в Вене.

Вдруг я ощутил, что для Эдика его лагерный срок был тоже анабиозом, но совсем другим, много страшнее войны; был черным сном, который необходимо вычеркнуть из жизни и начинать ее заново с того места, на котором она оборвалась.

Он не мог понять, что «взяли» его из одной страны и одного существования, а возвращается он в страну совсем иную и в совсем другое, прежде всего бесправное, существование. Я понял, что он не повзрослел — вообще человек не взрослеет в анабиозе, — но ужасно постарел; это становилось особенно очевидным, когда он вот так морщился. То есть он был на распутье, из которого в зависимос-

ти от обстоятельств можно было вернуться почти в прежнюю молодость, а можно — в гоголевскую, бездушную «железную старость». Понял, что для него связать эти два своих существования — долагерное, будто оно было вчера, вообще было, и нынешнее — вопрос жизни и смерти.

Разговор перескакивал с предмета на предмет. Я не говорил о войне, а главное — о судьбах близких, он не говорил о лагере и о судьбах близких тоже.

Когда разговор прерывался, пили это густое красное вино.

Мы почти наугад касались тем по большей части безразличных, но я все время сознавал, что пришел он не для того, чтобы просто увидеться, выпить, поговорить; то есть отчасти и для этого, но прежде всего пришел просить о спасении от какой-то мне непонятной смертельной опасности.

Совсем не догадывался, от чего я бы мог его спасти.

Устроить на работу? Это вне моих возможностей. Что-то посоветовать?

После безразличных слов, без пауз, без всякого перехода, торопясь сказать, видимо, сотни раз повторенное в уме, он заговорил о жене, не упоминая слово «жена» и не называя ее имени.

— Она со мной развелась. Нет, она ничего не написала; мне официально сообщили в лагере. Я не виню: пять лет надеялась и... Ну и... Вышла замуж за генерала. Сестра раз приезжала в лагерь и все мне... сообщила. Тогда не подумал, что... не смогу...

Он говорил все более отрывисто, быстро. А в памяти у меня рисовались такие славные девочка и мальчик, похожие, словно сестра с братом, соединенные любовью и общей бедой, «созданные богом друг для друга», как представлялось, вероятно, не мне одному на этой свадьбе сквозь долгую, почти похоронную песню.

— Машина приезжает к девяти, — говорил Эдик. — Мне нужно, чтобы она меня увидела; она пойдет ко мне. Один я не смогу. Я так ждал вас!..

— Когда мы пойдем? — спросил я.

— Завтра. Можно?!

Я согласился. Эдик сразу ушел. Оставшийся день я бродил по Москве, вечером вернулся, лег на голую тахту — всеми своими продавленностями, образовавшимися за долгий довоенный срок службы, принявшую хозяина в свое старое лоно; прикрылся шинелью. Света не было, даже лампочку в обросшей пылью люстре кто-то вывинтил.

Эдик пришел ровно в восемь, как было условлено: ни кастрюли, ни чайника, чтобы вскипятить воду, не оказалось, и мы только глотнули вина из оставленного им накануне бурдюка. Впрочем, пить и есть совсем не хотелось.

Шли молча, пешком. На улице стали заметнее следы, оставленные лагерем: седина в черных волосах, не бледность, а обесцвеченность лица. Он неумело, с явной боязнью переходил улицы, где было большое движение. Вдруг оглядывался, будто за ним следили, вдруг почти побежал, будто уходя от слежки, погони; с видимым трудом

заставлял себя замедлять шаги. Миновав железнодорожный мост, мы свернули в один из боковых переулков с рядами одинаковых двухэтажных особняков, отделенных друг от друга палисадниками; я проходил этим переулком раньше, и кто-то тогда сказал, что построены дома немецкими военнопленными; было в них и внешне нечто унылое и подневольное, что ли.

Эдик указал на один из особняков, крепко взял за руку и увлек за угол соседнего дома. Утро было солнечное, но холодное и ветренное. Ветер гнал по мостовой сорванную с деревьев еще полужеленую листву.

Встали мы с Эдиком так, что хорошо видели особняк, а сами были скрыты плотной тенью. Незадолго до девяти подъехала длинная черная машина. Шофер просигналил и заранее открыл дверцы. Минут через десять из особняка вышла она; Эдик до боли сжал мне руку, вцепился в меня. Смотреть на него в ту минуту было страшно. Я ее сразу узнал, хотя она очень изменилась за прошедшее десятилетие. Тогда была худенькая, почти бесплотная, со слезами на прекрасных глазах, не подготовленная к беде, страшившаяся того, что случилось, и того, что еще свершится, похожая на ангела, посланного на землю и замученного непонятной земной жизнью и земным горем; и была девочкой, несмотря ни на что поглощенной одной только любовью. Теперь она пополнела, стала стройной, очень красивой женщиной, сознающей свою красоту. Она была без шапки, черные косы, уложенные короной, придавали ей еще более победительный вид. Генерал — подтянутый, высокий, нестарый — шел вслед за ней, но с некоторым интервалом.

Они были на полпути от особняка к машине, когда Эдик побежал к ней, по-прежнему крепко держа меня за руку и увлекая за собой. Она остановилась, мгновение помедлила и бросилась к машине. Генерал сел вслед за ней. Эдик остановился, голова его откинулась, глаза закрылись; лицо стало безжизненным. Если бы я не поддерживал его, он бы упал; померещилось даже, что он не в обмороке, а умер.

Видела ли она, когда машина проезжала мимо нас, что происходило с человеком, которого она любила и которому когда-то отдала себя навсегда?

Когда Эдик очнулся, постаревшее лицо его напомнило мне его бабушку, какой она была на той похоронной свадьбе. Но у нее в письменах морщин был вызов чему-то и кому-то, кто угрожал внуку. А у него было лицо опустошенное. На обратном пути он вдруг совсем непохоже на себя заговорил о «бабах» — слово не из его лексикона. О врачихе, которая взяла его в лекпункт и тем спасла жизнь; но и о ней не благодарно, а скорее презрительно и грязно. О жене одного крупного чекиста в Тбилиси. Она случайно встретила с ним сразу после его освобождения и зазвала к себе. Ночью прилетел муж — она ждала его только через неделю. Она спрятала Эдика там же в спальне, в шкафу. Всю ночь он знал, что, если пошевелится, муж обнаружит его и пристрелит.

— Стоял в этих продушенных, протухших джунглях ее б....

платьев, слышал все, что эта сука говорила и делала; иногда было желание выйти из шкафа. Муженек пристрелит меня, но и ее тоже — одной шлюхой станет меньше на свете.

Может быть, он выволакивал все это, чтобы показать мне и себе тоже, что совершенно не взволнован происшедшим.

— Баб на свете хватит, — сказал он. И сразу вслед за этими словами другое: — Там, в лагере, один чудак говорил, что женщин у человека может быть много, но должна быть одна единственная а я. Если такой у тебя не было и нет, значит, жизнь... не состоялась. Если была, но ушла, а ты не сумел ее удержать, считай, что умер.

Эдик проговорил это, пожал мне руку и вскочил в проезжавший мимо троллейбус. Больше я его не видел. Несколько раз звонил сестре, телефон не отвечал.

Примерно через год, в середине сорок восьмого, я получил короткое письмо от него из Тулы. На верху листка была тщательно замаранная строка, судя по начертанию смутно просвечивающих букв, написанная по-армянски. Тогда я не обратил на это внимания, подумал только, что он начал писать кому-то из армянских друзей, потом решил написать мне.

Письмо было короткое, словно обесцвеченное, — подумалось много позднее, — как лицо его в то утро. Он сообщал, что учится в Тульском горном техникуме, получает стипендию; и еще такая примерно строка: «Со всем старым, кажется, покончил». Больше ничего.

Ответил я ему на эту записку или просто положил ее в ящик стола — не помню. Через некоторое время позвонил его сестре. Она сказала, что Эдик техникум окончил, работает на какой-то шахте подо Львовом. И после долгой паузы:

— Он женился.

— И счастлив?

— ...Не знаю, — ответила она после такого же долгого молчания.

Я тогда писал книгу о чумологах и иногда звонил ей посоветоваться по разным бактериологическим вопросам, ну и спросить об Эдики. Перед ним у меня было чувство вины, как было оно в ту пору почти у каждого, кого лагеря миновали, по отношению к лагерникам — бывшим и настоящим. Вины и еще нежности, оставшейся от совместной работы в редакции, от длинных ночных разговоров по дороге домой — об отце его и о самом себе, о «чистом» и «грязном» в жизни отца, — от свадьбы и от той никогда не забывающейся последней его встречи с женой.

На вопросы, касающиеся бактериологии, сестра Эдика отвечала подробно, а о брате повторяла одно: «Все по-старому». Несколько раз я был у нее в лаборатории, но встречи случались все реже — раз в полгода, в год, — а потом мы совсем перестали видеться.

В 1954 году мы с женой поехали в небольшой дом отдыха в Гагре. Столовая там помещалась на самом берегу, в приземистом одноэтажном здании, огражденном от моря парапетом. Была глу-

бокая осень — конец октября или даже начало ноября. Волны обрушивались на берег, и когда мы шли вдоль столовой к двери, брызги и ключья пены перебрасывались через парапет и били в лицо.

В столовой, осмотревшись, я заметил за столиком у противоположной стены сестру Эдика и его бабушку; она была, кажется, в том же черном, траурном платье, как на свадьбе, на голове — белый платок, туго завязанный под подбородком. За семнадцать прошедших лет лицо ее еще более потемнело; жили одни черные блестящие глаза. Я поднялся и подошел к ним. Бабушка сразу отложила вилку, наклонилась к внучке, что-то говоря, вероятно, обо мне; та продолжала есть, не поднимая глаз. Я подумал: она обижена, что я так долго не звонил; и поделом мне! Поздоровался и сразу спросил об Эдике.

— Брат женился, — хотя вы об этом знаете, кажется, — работой доволен, у него все хорошо, — ответила сестра Эдика, по-прежнему не поднимая глаз. Голос у нее, когда она говорила, был ровный, совсем без оттенков.

Бабушка не спускала с меня глубоко запавших, буравящих глаз.

Когда они поужинали и пошли к выходу, сестра Эдика замешкалась, отстала на несколько шагов от бабушки и, поравнявшись с нашим столиком, скороговоркой сказала:

— Пожалуйста, подождите меня у дверей. Провожу бабушку и вернусь...

Ужин закончился, столовая опустела, жена пошла домой, а я стал у парапета ждать. На горизонте прожектора пограничников красиво высвечивали гряды волн, похожие на горную цепь, светящуюся, как на картинах Рериха. Прибой бил о берег, и в грохоте его я различил шаги, только когда сестра Эдика подошла почти вплотную; она сказала:

— Брат покончил самоубийством: бросился в ствол шахты, не оставив даже записки. Мы от бабушки скрываем; для нее узнать о гибели Эдика страшнее смерти... — и быстрыми шагами ушла.

Вернувшись в Москву, среди вороха старых бумаг в ящике письменного стола я нашел случайно сохранившееся то единственное короткое письмо и попросил знакомую переводчицу с армянского, если возможно, разобрать и перевести замаранную строку. Она прочитала: «Я без тебя не могу». И все...

Это и была прощальная записка?!

Модно думать и говорить, что тридцать седьмой не так уж трагичен, что действительно страшными были годы коллективизации, когда погибло двадцать или тридцать миллионов крестьян.

А один или там несколько миллионов ушедших на смерть в тридцать седьмом?! А одна смерть? Горе и смерть Эдика — «Я без тебя не могу»? Даже над теми, кого лагеря выпустили, рано или поздно, по-разному, но приговор чаще всего приводился в исполнение.

...В редакции шло закрытое партийное собрание — исключали из партии писателя и журналиста Бориса Горбатова, которого я хорошо знал и почитал; был конец тридцать седьмого года.

Как беспартийный, я на собрании не присутствовал, только постепенно, в течение нескольких последующих дней от разных людей, а позднее от самого Горбатова, узнал о собрании и о том, как оно протекало. Было тут одно поразившее меня, хотя и внешне незначительное происшествие.

Оказалось, что речи людей, клеветавших на него, Горбатов слушал сравнительно спокойно, внешне, во всяком случае. Но вот перед тем, как голосовать резолюцию об исключении, предоставили слово известному старому журналисту, близкому другу Горбатова, и тот повторил еще пространнее и резче все, что говорили до него, хотя он-то знал и ни на секунду не имел права усомниться, что каждое без исключения слово, повторяемое им, — бесстыдная ложь.

Горбатов пришел домой, думая не столько о том, что жизнь его сломлена и, как казалось тогда, непоправимо, навсегда, не столько о большем чем вероятном аресте вслед за исключением, сколько о последнем выступлении близкого друга. «Что это — трусость или друг его в ходе собрания убедился в обвинениях? Бесстыдная ложь или ужасная ошибка?» Поверить во второе было бы несравнимо легче.

Он чувствовал себя, может быть, впервые в жизни в абсолютной пустоте. Телефон молчал — ночь, но ведь у него множество товарищей, и известие об исключении, конечно же, успело разнестись по Москве; неужели никто не захочет, не решится?..

Спрашиваю себя: позвонил бы я ему тогда, в ту ночь, если бы знал о случившемся? Сразу, без раздумий, из обыкновенного сочувствия?

Не знаю, не уверен. Если, как считал Достоевский, сострадание — главный, а может быть, и единственный закон существования человечества, то в описываемые здесь времена закон этот у множества людей резко тормозился — иногда скрытно от них самих, в подсознании, — а то и совсем переставал действовать, вытесняясь другим мощным законом — с а м о с о х р а н е н и я. Этот процесс постепенно охватывал всю страну.

Под утро, было еще совсем темно, позвонили в квартиру Горбатова. Он открыл дверь и увидел того старого журналиста — Д. О. Заславского, улыбающегося и с бутылкой испанского вина в руках; бутылку он держал перед собой, как щит.

...Ужасно странно вспоминать, что война в Испании и события тридцать седьмого происходили одновременно; и события эти никак не влияли на наше — людей моего поколения — отношение к испанским делам, на нашу оценку революций вообще; мы рвались на войну, мечтали об участии в ней. «Гренадская волость в Испании есть»... Но что мы можем принести этой «волости» и неизбежно принесем?! Память упорно разделяет эти два ряда, каждый раз требуется огромное насилие над памятью, чтобы их сблизить.

Горбатов не захлопнул дверь перед Заславским, а посторонился, пропустил его в пустую столовую, и они оба — предатель и преданный — сидели несколько часов за бутылкой. Заславский, как рас-

сказывал потом Горбатов и мне, и нескольким своим друзьям, объяснял свое поведение так:

— Тебе было бы легче, если бы меня исключили заодно с тобой, приписав потерю бдительности? Это бы тебе помогло? С тобой разберутся, восстанут! Ведь на твоей биографии, кроме этой истории (под «этой историей» понимался арест брата Горбатова, донбасского партийного работника, участника гражданской войны), ни единого пятнышка...

Горбатов слушал молча, но вообще-то соглашался с Заславским, не делал, как он говорил много позднее, ни малейшей попытки уличить предателя (не только вслух, но и про себя).

Сидели и пили маленькими рюмочками, разговаривали почти до полудня.

Сидели и мирно беседовали предатель с преданным.

Мне необходимо объяснить, прежде всего самому себе, не нынешнее отношение к происходившему — теперь все так просто и ясно, — а именно тогдашнее.

Что ж, тогда ложь и предательство не понимались нами тем, чем они стали, — законами жизни общества?

Помню, что, узнав через несколько дней обстоятельства исключения Горбатова, я сразу решил — и это показалось вполне осуществимым, — переменив фамилии, написать для «Правды» статью о том собрании. Значит, внутренне я воспринимал это не правилом, а отклонением от правила, которое необходимо разоблачить, чтобы повторение его стало невозможным.

Само собой явилось и название: «Трусость».

(Через десятилетия я узнаю, что за несколько лет до тридцать седьмого Михаил Булгаков, начав работу над гениальным своим романом «Мастер и Маргарита», вложил в уста Христу это слово: самый страшный грех — трусость.)

Интеллигенция, даже наполовину уничтоженная, не вся превращалась в «образованщину», а продолжала вслед за Короленко и Кропоткиным какой-то душевно живой частицей своей искать решения важнейших нравственных проблем.

...В блокноте я отыскивал записи, которые, как казалось, полно обнимают тему будущей статьи. В одном из переулков за Парком культуры и отдыха в Москве на жениха и невесту, молодых студентов первого курса университета, напали хулиганы. Жених побежал искать милиционера, а во время его отсутствия оставленную им на произвол преступников девушку ограбили и изнасиловали.

В другой записи говорилось о талантливом инженере, предложившем на одном из заводов ферросплавов (Челябинском, кажется, но точно вспомнить не могу) новую технологию производства, обещавшую многомиллионную экономию. Метод полностью подтвердила лаборатория, но для окончательной проверки требовалось построить сложную полужаводскую установку, которая стоила дорого. И директор завода отказался подписать уже составленный по его распоряжению приказ о строительстве установки:

— Стопроцентной гарантии успеха ты обещать не можешь, —

сказал он автору предложения. — А девяносто процентов меня не устраивают. Выпадут эти несчастные десять процентов, и тогда «прости-прощай, родимая сторонушка» — припишут вредительство. С собой рискованно сколько хочешь, а я свою голову подставлять не намерен. И концы!

Начал я писать «Трусость» рано утром, а закончил в десять вечера. Начиналась статья, рассчитанная на газетный подвал, эпизодами, приведенными выше. А всю вторую половину занимало «дело об исключении». Действие из редакции было перенесено на завод, но все детали — вплоть до бутылки испанского вина — повторены без малейшего вымысла, точно и подробно; так что не догадаться, о ком идет речь, ни для кого из сотрудников «Правды» было невозможно.

Тогда работа в редакции заканчивалась поздно, не раньше двух-трех часов ночи. Я успел продиктовать статью редакционной машинистке и еще прочитать ее вслух двум журналистам, с которыми дружил: Фриде Абрамовне Вигдоровой, а потом — Николаю Николаевичу Кружкову, подписывавшему свои фельетоны псевдонимом Крэн.

Фрида Вигдорова — тогда молоденькая учительница (было ей лет двадцать, не больше) — совмещала работу в школе с эпизодическим сотрудничеством в редакции и не могла расстаться ни с одной из этих горячо любимых специальностей — учительством и журналистикой (позднее — писательством). Из многих искренних и умных книг, которые она успела написать за недолгую жизнь, больше всего запомнилась и трогает меня ее автобиографическая повесть «Мой класс» — о первом годе ее учительства — и талантливая запись происходившего в Ленинграде суда над поэтом Иосифом Бродским. Анна Андреевна Ахматова считала Бродского, как считают теперь почти все, одним из лучших поэтов России, а невежественные судьи под одобрительные, неповторимые в своей злобе реплики из зала присудили его к высылке на север как злостного тунеядца. Трудно складывались в России судьбы поэтов.

Представляется, как Фрида Абрамовна, со своим славным и хорошеньким, по-детски округлым личиком, почти не менявшимся с годами, с глазами черными и блестящими, похожими на омытые росой ягоды смородины, сидела в перекрестье взглядов многочисленных сексотов, чувствовала их жаркие дыхания и как-то умудрялась, закрывая полой пальто блокнот и руку с карандашом, записывать все необходимое. Не только слова обвинителей, но и как бы сам воздух этого неведомого даже средним векам судилища над поэзией и поэтом. Записи ее, одновременно совершенно точные и трагически личные, удивительно передают потрясение, гнев и ужас как судимого поэта, так и ее — единственного, может быть, любящего поэзию человека на этом суде.

Она вела записи ни для чего, просто из внутренней потребности сделать так, чтобы происходившее не ушло никуда, не стерлось, не забылось. А стали они одним из первых, а может быть, даже первым получившим широкое распространение произведением самиздатовской литературы и оказали долгое, глубокое влияние на умы множества интеллигентов.

...Фрида Вигдорова слушала «Трусость» с выражением лица почительски строгим, а когда чтение окончилось, сказала:

— Пили предатель с преданным. Как на «Тайной вчере»; как все странно.

В статье слов «предатель с преданным» не было, но после Фридиной реплики я их вписал, отчего мысль выступила, как кажется, беспощаднее.

О том, что такую статью написать было необходимо, у нее не явилось ни малейшего сомнения: «Это ваш долг», — сказала она. Мнение ее было для меня очень важно и потому, что с самого нашего знакомства я ее любил и глубоко уважал; и потому еще, что Д. О. Заславский знал ее отца и с первых статей о школе, опубликованных Фридой в «Правде», высоко почитал ее талант; она могла быть по отношению к нему скорее благожелательно пристрастной, чем нетерпимой. И все-таки: предатель с преданным.

Николай Николаевич Кружков был личностью совсем иного склада. Политически очень опытный, много знающий, значительно старше по возрасту не только Фриды, но и меня, он был человеком веселым и жизнелюбивым в самом широком значении этого слова. Но при общем оптимистическом настрое его было в нем нечто, скрытое от постороннего взгляда: неискоренимо идущее от Достоевского сочувствие к униженным и оскорбленным. Из множества его фельетонов вспоминается одна строка о директоре Московского зоопарка (фамилия его забылась), затравленном чиновниками, который в тяжелые минуты заходит в клетку гепарда чуть согреться рядом с кем-то живым и к нему не враждебным. Было в этом фельетоне открывающееся в те годы — но очень медленно, постепенно — сознание, что человек может быть значительно неумолимее в травле жертвы, чем самые хищные звери; быть нечеловеком.

Слушал Кружков статью молча, неподвижно сидя в черном кожаном кресле в своем рабочем кабинете; только один раз в начале чтения поднялся и плотно захлопнул дверь. Выслушав до конца, безраздумий сказал:

— Разорви на мелкие клочки, выбрось в унитаз и спусти воду.

— Но Фрида Вигдорова говорила...

Он перебил:

— Меня не интересует, что сказала эта милая девочка. Ни она, ни ты в происходящем ни бельмеса не смыслите... Ты больше никому не читал свой... опус?

— Никому.

— Ну так вот, сделай, как я сказал. И сразу же! Понимаешь? Если бы ты статью передал в редакцию, из тебя бы сотворили котлету. А если эти дураки опубликовали бы ее, — он показал рукой вверх, где находилась главная редакция, — тогда...

Он не закончил фразы.

— Ведь опубликует (я был уверен, что статью опубликуют) «Правда». И, если что, «Правда»...

— «Правда» останется «Правдой», только с несколько иным составом редколлегии, а вот что с тобой будет... Во всяком случае,

со всем прежним помогут проститься. И пользы ты не принесешь ни на грош. Понятно?!

Зазвонил телефон. Кружков взял трубку, а я, немного помедлив, вышел из его кабинета.

Слова его меня было встревожили, но не очень. Поздним вечером, после недолгих размышлений, я сдал статью помощнику секретаря редакции Августу Потоцкому, а когда пришел на другой день, оказалось, что прошлой же ночью рукопись попала от Потоцкого к дежурному члену редколлегии Емельяну Ярославскому; вначале привлеченный, должно быть, броским заголовком, — но это могло оказать действие только в самом начале! — член редколлегии заслал рукопись в срочный набор. На другой день днем, придя на работу, я увидел в секретариате макет номера и там — «Трусость», стоявшую подвалом на третьей полосе. А вскоре курьер принес для вычитки эту третью полосу, еще мокрую, со свежоттиснутым высоким подвалом. Простояла статья до ночи, и ее заменили другим материалом; именно, что важно отметить, заменили, а не разобрали.

Сверстанная, она продолжала покоиться на талере, переходя в составе «запаса» по очереди от одного дежурного члена редколлегии к другому; и все они в точности повторяли действия один другого: планировали статью, а после, даже примерно в одно и то же время — так, около часу ночи, — снимали из номера, но при этом не засылали в разбор. Это продолжалось очень долго — месяца два, может быть, и дольше. А члены редколлегии, как и некоторые другие ответственные сотрудники редакции, тем временем переводились из «Правды» на другую работу или просто исчезали.

Одним из первых исчез Август Потоцкий.

Выходец из графского рода польских вельмож, он отказался от огромного состояния — ушел в революцию. По решению партийного руководства служил во флоте, был замечен в противоправительственной деятельности, приговорен к каторге, пытался бежать, но был пойман и оставшийся срок — как ходила среди молодежи редакции легенда, — около десяти лет провел с ядром, прикованным к ноге.

Зимой и летом он ходил с непокрытой, гладко обритой головой, бронзовой от загара. Крупные черты круглого лица хранили спокойно-улыбчивое выражение. Несмотря на пережитое, он оставался добрейшим человеком, всегда готовым прийти на помощь делом и советом. Был он кумиром редакционной молодежи, поверенным тайн — особенно девичьей ее части. Приходил на работу первым и уходил последним, так что тогдашнюю «Правду» без него представить себе невозможно. Казалось, что вне редакционной у него никакой другой жизни нет; ни на что, кроме короткого сна, просто не хватило бы времени.

«Исчезновение» его мы вначале объяснили себе излюбленной тогда формулой «запутался в связях с врагами народа», — удобной для того, чтобы не прийти в слишком уж невыносимый разлад с собственной совестью. За Потоцким исчез член редколлегии и заведующий партийным отделом Никитин, за ним — член редколлегии Михаил Кольцов; и так далее, и так далее — без конца.

В моей семье тоже начались аресты. Первыми репрессированы были дядя. По существовавшему положению, я сообщил о случившемся в редакцию, которая, уж конечно, заранее была информирована «органами». Меня вызвали на заседание редколлегии.

Помню, что пришел я примерно за час до назначенного срока. Ходил взад и вперед по бесконечному, с полкилометра длиной, прямому редакционному коридору: по одной стороне — рабочие кабинеты, а по другой — почему-то бессмысленное число туалетов, прореженных кабинетами.

Коридор был пуст; или я просто не замечал людей?

Или большинство сотрудников были на редколлегии?

Или они прижимались к стенам темноватого коридора, как стало принято сторониться тех, над кем нависла неотвратимая беда?

Не знаю.

Почти столкнулся с Борисом Горбатовым. Рассеянно спросил его, как дела. Он странно, совсем неожиданно ответил:

— А знаешь — хорошо! В общем — чертовски хорошо!

Я взглянул ему в глаза: в них не было и тени самонасмешки, они были спокойные и как бы светились.

Спустя годы узнал от самого Горбатова, что именно в то самое время, сразу после исключения из партии, ему выпало счастье — или несчастье — встретиться с актрисой О. — красивой, холодной и до жестокости недоброй. Она была по происхождению дворянка. Отца ее, генерала, сразу же «принявшего» советскую власть, тогда же, в самом начале этой власти, бессудно расстреляли. С тех пор она не верила ни в бога, ни в черта, а душе всего — в систему выхолощенных легенд — генеральных линий, передовиц «Правды», речей «вождя», пятилетних планов, исторических постановлений, — в которой мы все тогда и много позднее существовали, как в паутине паука.

Не верила в «процессы», не верила и в виновность брата Бориса Горбатова, и свое неверие, хотя ему оно не передалось — уже во время войны он написал знаменитую статью «Партбилет», смысл которой, если можно назвать это смыслом, в том, что если для спасения картонного партдокумента нужно отдать жизнь, то истинный коммунист ни минуты не колеблется, — хотя неверие ее Горбатову не передалось, но в то время спасло его от последнего отчаяния, может быть — от самоубийства, дало ему силы перевести дыхание, опомниться.

Через много лет, не в тридцать седьмом, а после войны, О. репрессировали. На другой день после этого Горбатову позвонил тогдашний министр государственной безопасности Абакумов и очень благожелательно, хотя и кратко, сказал, что о жене он должен забыть, но ему лично ничто не инкриминируется и он должен спокойно работать. «Всего наилучшего», — закончил разговор министр. Сам не отдавая себе отчета, как это получилось, как могло так получиться, Горбатов, вообще человек храбрый и честный, ответил зловеще прозвучавшим «спасибо».

Он об этом сам рассказал, когда был очень пьян, сказал, что сразу

опомнился, хотел как-то поправиться, спросить о жене, поручиться в полнейшей ее невинности, но не успел. Министр сразу отключился, а он еще долго стоял у телефона...

— Этого своего ответа я никогда себе не прощу, — сказал Горбатов.

— Но вы ведь впоследствии сделали все для спасения О.?

Горбатов не ответил; сразу протрезвев, он встал и быстро ушел.

Когда думаешь теперь о судьбах Горбатова и О., чаще всего вспоминаются два вечера, следовавшие вскоре один за другим — тоже после войны. В первый из этих вечеров я зашел в пивной бар на Пушкинской площади и сразу увидел Горбатова, сидящего за столиком вблизи от входа, напротив длинного, всегда улыбающегося чернявого молодого субъекта — юриста по образованию, секретаря Горбатова и, как упорно поговаривали, приставленного к нему шпика; то, что улыбчивый человек получает зарплату из двух источников, кажется, знал и сам Горбатов, но относился к этому до странности спокойно.

Увидев меня, Горбатов пригласил к своему столику и велел секретарю «добыть» сотню раков.

— Какие теперь раки? — усомнился я.

— Добудет, — повторил Горбатов это же свое слово. — Добудет все, что есть на свете и чего на свете нет.

— И заморскую принцессу?

— Ее-то к чему, она у меня имеется.

В баре было шумно. Пивной и табачный туманец стоял в воздухе, почти не пропуская света. Во все время отсутствия секретаря — а оно продолжалось довольно долго — Горбатов, расстегнув ворот рубашки и наклонив ко мне круглую, наголо обритую лобастую голову, глубоко вжатую в плечи, на толстой короткой шее, читал мне, листая страницы вытащенного из кармана большого блокнота, описание всевозможных облаков: прозрачно-сияющих; темно-грозовых, тяжело нависших над землей; недвижимых, похожих на лицо, которое с каждой секундой меняется, стареет; и бегучих — упустишь мгновение, а их уже нет, только остается тягостное чувство прозвванной красоты, вернуть которую не в силах человеческих; похожих на гряды гор — синих, лиловых, пурпурных, — некоторые из этих гор словно бы вросли в землю, а другие у самого подножия подсечены, как закаленно-синим ножом или топором, полоской неба; похожих на лес, на озеро, на табун коней — он мчится и в то же время остается на одном месте, уходит в глубину неба, чтобы там совсем скрыться; и других, и других, и других. Он сказал, что «записывает облака»; каждый день, это необходимо для будущей работы.

— Но ведь раньше вы писали без этого?!

— Что ж я писал — газетные однодневки!

— И «Ячейка», и «Партбилет» — однодневки?

— Конечно, и «Ячейка». Может быть, останутся — тоже ненадолго — несколько страничек из рассказов об Арктике. Но там ведь как раз и невозможно не смотреть на небо.

Это я знал, что в Арктике нельзя не любоваться небом, так оно

прекрасно и так ни в одну минуту не повторяет себя. И оно везде — гряды облаков переходят в гряды ледяных торосов, — ты чувствуешь себя посреди небесного пространства...

Пришел секретарь с огромной кастрюлей, полной только что сваренными крупными раками. Горбатов ел быстро, даже с некоей хищностью в движениях; стол покрылся раздробленной пальцами и зубами красной скорлупой. На лбу его каплями выступил пот, иногда он вытирал его чистым белым платком. Блокнот он сразу спрятал в карман. Секретарь без особого интереса в глазах, но профессионально точным, фиксирующим взглядом проследил его движение. Официант незаметно сменил пустые кружки на полные. Пена через края переливалась на стол, и в пивных озерцах чуть покачивались скорлупки, напоминавшие не лодки или кораблики, а груженные баржи. Взглянув в кастрюлю, где уже обнажилось дно, Горбатов, не глядя на секретаря, коротко приказал:

— Еще полсотни.

Пивные испарения образовывали плотное желтоватое мареве. Секретарь исчез так мгновенно и плавно, будто растворился в этом мареве. А может, он сейчас висит над головой — смотрит, прислушивается, жарко дышит в лицо.

Все время, пока секретарь был с нами, Горбатов молчал, а тут снова заговорил, но уже о материях, далеких от заоблачных.

— Договорился с одной шлюшкой, славенькой. Деньги вперед. — Он назвал какую-то крупную сумму. — Завела в подъезд, а там — ниша без двери, в нише некто в тулупе. Ничего не говоря, поднялся и ушел, видно, договор у нее такой с дворником. Я ее вжал в стенку, работала на совесть, потом натянула штанишки и исчезла. Я когда опомнился, гляжу, а стерва успела срезать часы.

Надо сказать, что в такого рода рассказах у Горбатова не было и следа смакованья, грязи. Сильный, здоровый, храбрый, он страстно любил жизнь и плотскую сторону ее не меньше, чем идеальную, а в этой плотской стороне — больше всего обладание женщиной. Но женщины он никогда не унижал, и казалось ему, что он дарит ей такое же счастье удовлетворения страсти, какое получает сам. А тут оказалось, что во все время «любви» женщина деловито «работала», больше ничего. Он был огорчен и обескуражен этим.

Снова материализовался секретарь с кастрюлей. Ставя ее на стол, наставительно сказал:

— Извините, Борис Леонтьевич, но вы допускаете ошибку, что путаетесь с блядьми.

Будто он и действительно был растворен в пивном облаке и отсюда слышал все от слова до слова.

Горбатов молча взглянул на него и сразу отвел взгляд. Выражение лица у него стало затравленное, приниженное и одновременно презрительное — такое я стал часто видеть у людей только в тридцать седьмом, тридцать восьмом годах, а кто-то позорче и из других социальных прослоек видел в гораздо более ранние сроки, уже в семнадцатом, восемнадцатом...

Горбатов молчал, часто, тяжело и с сопением дыша, потом сказал, обращаясь ко мне:

— А еще бывают облака, которых ты не видишь, а они есть...

Перевел дыхание и принялся снова крепкими желтоватыми зубами дробить красную скорлупу. Повторил:

— Бывают!

А через известное число лет, как уже упоминалось, арестовали О., и в Доме литераторов — в этой масонской ложе, расположенной рядом с усадьбой толстовских Ростовых, на улице, носившей теперь имя Воровского, — обсуждали вопрос о Борисе Леонтьевиче.

В который раз? Когда он умер и вскрыли его тело, патологоанатом, производивший вскрытие, нашел двадцать или тридцать следов микроинфарктов, случившихся, может быть, ночью, при каких-то кошмарах, или происходивших на таких вот собраниях... «Сердце такое, будто его рвали зубами бешеные волки», — сказал патологоанатом.

Там, на собрании, Горбатов стоял на невысоком помосте, сколоченном в зале. Из-за спины, из огромного окна частью с обычным стеклом, а частью — с цветными витражами, оставшимися от масонских времен, лились на него потоки света главным образом багрово-красных и трупно-зеленоватых оттенков.

Или так только казалось?

На него смотрели сотни глаз: сверху — с балкона и деревянной галерейки, снизу — из переполненного зала, из полуоткрытых дверей.

Хотя Горбатова любили, но господствующим чувством у тех, кто переполнял зал, было жадное любопытство. Все знали, что судьба его решена еще прежде, чем собрание началось, — вероятно, снова исключение из партии, а потом — из Союза писателей, а потом... и что разработан во всех деталях сценарий происходящего, в котором никакими силами ни единого кадра не изменишь. А вместе с надеждой исчезли или стали почти неощутимыми жалость, сочувствие. Тут, в зале, как и во множестве других помещений, происходило массовое умирание жалости у миллионов людей, чуть ли не у всего народа, происходила смерть народной нравственности.

Маленький человечек с пронзительным голосом стоял на помосте рядом с Горбатовым и кричал на него:

— Нашел дурачков, чтобы поверить, будто можно жить с женой — отъявленным врагом народа и не знать, что это враг, не видеть то, что жена творит на твоих глазах. Как она вредит, вредительствует. Знаем мы это «не видел»!

И ни у кого из сидящих в зале не возникло вопроса: чем, как может вредительствовать актриса, исполняя свои роли в театре и кино. Ни у кого. И у меня, в том числе, не возникло, никак не выявилось гадливости к этой нечистой силе; не к одному из рыцарей Воланда, который уже существовал тогда и ждал своего срока, а именно к нечистой силе, грязной силенке, которая, расплодившись с невообразимой и страшной быстротой, массой своей давила, унич-

тожала все живое с неуклонностью и неотвратимостью парового катка. А если и возникала гадливость, то ее поглощал страх.

Этот, нечистая сила, визжал:

— А ты, а ты... — Помнится, раньше он был с Горбатовым почти-тельнейше на «вы», но какая там почтительность по отношению к мужу врага народа, который и сам, может быть, даже уже нынешней ночью... — А ты-то — вот она, записочка, — просишь помочь с жилплощадью. Нашел кому помогать. Он, уже всем известно, враг народа. — И потрясал мохнатым с края листком, видимо, вырванным из какого-то «дела» нетерпеливой рукой. — Или вот такая просьба к Литфонду — оказать материальную помощь. Кому? Тому самому, который был осужден, отбарабанил свой срок, а теперь...

Нечистая сила... Нечистая сила безумного времени. Согласно календарю, тридцать седьмой и тридцать восьмой уже давно кончились. Но кто верит календарям в такие эпохи?..

Во время войны, кажется, летом сорок третьего, я как-то попал в комнату общежития фронтовой газеты, разместившейся в Каменке, на Украине. Там сидело несколько сотрудников и Горбатов среди них. Он был без очков и, медленно проводя перед близорукими глазами свою рубашку, часто останавливался, делал быстрое и четкое движение пальцами, будто у него была между ними зажата игла и он вышивал, что ли. Странное занятие. Но ничего странного не было. Просто уничтожались вши.

...А тогда, в тридцать седьмом, он сидел и пил вино — преданный с предателем. И этого предателя, как и других, разведшихся вокруг, нельзя было уничтожить. Но хуже, что и не было желания уничтожить, раздавить, не было злобы, ненависти...

Наутро после собрания в Доме литераторов Горбатову стали звонить друзья. И прежде всех лучший друг — поэт:

— Где это ты пропадал?

Еще позвонил — самый важный:

— Завтра секретариат. Не забыл?

— Нет, не забыл.

И всем, кто звонил, он почему-то говорил «спасибо». Помните, первый раз таким «спасибо» закончился разговор с тем, кто позвонил «оттуда» и посоветовал заново начать семейную жизнь, «только более осмотрительно».

И он действительно заново начал семейную жизнь...

Это был уже другой, не тридцать седьмой год.

Шостакович и Мейерхольд

В 1959 году я обратилась к Дмитрию Дмитриевичу с просьбой принять участие в первом сборнике воспоминаний о Всеволоде Мейерхольде. После двух десятилетий клеветы и умолчаний готовилась книга достоверных свидетельств и размышлений о личности, творчестве Мастера, его театре, артистах, воспитанных режиссером, о влиянии его на смежные искусства.

Разговор с Шостаковичем возник и потому, что в ту трудную пору я была составителем этого издания. К тому же я заручилась согласием многих примечательных деятелей искусства, а с некоторыми уже шла работа над текстами.

И все же эта просьба тогда была непривычной...

Я понимала: такая «мемуарная» задача крайне сложна — ведь совсем недавно испытал Дмитрий Дмитриевич потрясение, узнав, как и когда погиб Мейерхольд.

А связь их была глубокой, органичной, долгой и неотделимой от духовного, творческого становления композитора, от высокой культуры его времени, вопреки всем тяготам и потравам.

Но для такого разговора с Шостаковичем у меня были и некоторые личные основания.

Нас познакомил еще в 1942 году, незадолго до моего отъезда на фронт, в Новосибирске человек дорогой и близкий композитору — Иван Иванович Соллертинский, замечательный знаток музыки. Он и рассказал Дмитрию Дмитриевичу, что была я связана с Мейерхольдами, с Мастером, как называли мы режиссера в театре, и его женой, артисткой Зинаидой Райх, до конца их жизни. А работая с 1935 года в Государственном театре имени Мейерхольда, в научной лаборатории, готовила под руководством Всеволода Эмильевича «Словарь театральных терминов». И в том подобии маленькой мейерхольдовской энциклопедии намечали мы объемный раздел о музыке и театре, где предполагали ряд страниц посвятить Шостаковичу (с извлечениями из статей, стенограмм выступлений Мейерхольда, фрагментами из их переписки и пр.).

Впрочем, как выяснилось вскоре, кое-что об этой подготовительной работе еще в середине 30-х годов говорил Шостаковичу другой мой старший друг, с ранней юности связанный с Дмитрием Дмитриевичем узами творческой дружбы, — Виссарион Шебалин.

Так летом 1942 года, в разгар войны, в Новосибирске и возник разговор о Мейерхольде, и далеко не равнодушно вели его Соллертинский, Шостакович — из внутренней потребности и душевной необ-

ходимости. Хотя на самое имя режиссера тогда было наложено табу...

Девять лет спустя с пронзительной остротой мне припомнился тот разговор об открытиях и мытарствах Мейерхольда, когда я 16 мая 1951 года оказалась в Союзе композиторов во время обсуждения нового сочинения Дмитрия Дмитриевича — 24 прелюдий и фуг... Перед тем два вечера подряд Шостакович исполнял их.

И хотя прозвучали достойнейшие выступления Марии Вениаминовны Юдиной, Татьяны Николаевой и некоторых композиторов, поражал безапелляционный, судейский тон распинающих композитора. Среди них, увы, кроме крупных функционеров «от музыки» оказались и некоторые одаренные, известные композиторы. Их инвективы были настолько одиозны, вульгарны, что я решилась выступить.

Но едва я заговорила о трагичности нашего времени и одухотворенности той музыки, которую исполнил композитор, так доверчиво представивший ее на творческий суд, а не на трусливое судилище неправедно служащих ложным схоластическим «установкам», как услышала нечто напоминающее рык из «уст», так сказать, власть держащих по ведомству... Подробнее об этом я написала в небольшом и невольно горестном свидетельстве-эссе «Как это было»*.

Прошло с той поры сорок лет, но я до сих пор с обжигающей болью вижу, как сидел Дмитрий Дмитриевич все долгие часы обсуждения, низко опустив голову, иногда даже мотая ею, словно силась освободиться от некоего наваждения...

И ни разу, когда мне доводилось видеться и говорить с Дмитрием Дмитриевичем, ни единым словом мы не коснулись того, что разыгралось в тот достопамятный вечер весной 1951 года...

О Мейерхольде, и в частности о его дружбе с Владимиром Маяковским, подробно вспоминал Дмитрий Дмитриевич, когда я в середине 50-х годов готовила первую радиопередачу «Маяковский и музыка».

Шостакович пригласил меня к себе и, хотя это не относилось к будущей передаче, подробно припомянул самую атмосферу театра, характер дружеских отношений Мастера и поэта и то, как Мейерхольд во время репетиций то и дело советовался с Маяковским и радовался такому сорежиссерству. Как я поняла, Шостакович не был увлечен комедией «Клоп», к которой Всеволод Эмильевич попросил его написать музыку. Но Дмитрий Дмитриевич сказал мне, что еще в юности его поразила полифония поэзии Маяковского. Метафоричность. Звуковые образы. Порой — соседство с чем-то гоголевским. И интонационно-ритмическое богатство. Гротеск и трагедийность...

И тут Шостакович обронил фразу: «А ведь Мейерхольд так бережно относился к нему, как только он один, пожалуй, и умел».

Вскоре Маяковского не стало. И тогда всё отчетливо припомнилось.

«Мы иногда гораздо что-то высчитывать огромному таланту, личности, а Мейерхольд относился к нему — младшему — благодарно...

* Находится в печати, в сборнике воспоминаний о Д. Д. Шостаковиче.

Он всё толковал и артистам, всем нам, участникам постановки: есть такое явление — «Театр Маяковского»...

Но его хватало и на то, чтобы каждый из нас чувствовал, что он внес свою серьезную лепту... А когда я было потерял свою музыку к комедии — ноты, Всеволод Эмильевич меня же успокаивал... Впрочем, в театре они и нашлись».

Мне показалось, что собственная причастность к жизни мейерхольдовского театра Дмитрию Дмитриевичу годы спустя представлялась чуть ли не неожиданной и интересной...

Но в 1959 году речь у нас шла об ином — о возможности в воспоминаниях коснуться самой сути длительных отношений с Мейерхольдом, их содержательности. Однако об этом, правда, в совсем ином ключе и в силу жестокой необходимости, Шостакович писал еще в 1955 году в Главную военную прокуратуру, надеясь на реабилитацию Мейерхольда не только гражданскую, но и творческую. (С той поры у меня хранится копия его письма.)

При всей лапидарности письма-свидетельства была в нем обозначена как бы сама хроника, канва их отношений. Содержались и некоторые подробности — памятные и необходимые...

И так трагично проступило: спустя более полутора десятков лет после расстрела Мейерхольда (2 февраля 1940 года) узнали мы, что же с ним учиняли! Как изуверски велось дознание — об издевательствах над ним, пытках...

От общих друзей доходили до меня тревожные сведения: Дмитрий Дмитриевич терял сознание, занемог...

Однако письмо его последовательно, весомо возвращало давнее в день сегодняшней, требуя полного понимания того, что свершенное Мейерхольдом не уничтожимо. И убедительны были достоверные факты, обезоруживающая простота их изложения. И все это было необходимо, чтобы вырвать самую личность Мейерхольда из зоны вечной мерзлоты, на пребывание в которой его давно и злокозненно обрели.

Шостакович писал: «Я вел знакомство с Мейерхольдом до самого дня его ареста»...

Дмитрий Дмитриевич возвращался к дням своей молодости — тогда судьба его непосредственно соприкоснулась с мейерхольдовской.

«Когда я работал в театре (1928 год), я пользовался гостеприимством семьи Мейерхольда и жил у него в квартире на Новинском бульваре. Таким образом я имел возможность наблюдать этого выдающегося режиссера не только на работе, но и в быту... Когда я приезжал в Москву (до войны я жил в Ленинграде), я всегда заходил к нему. Когда же он приезжал в Ленинград, то всегда заходил ко мне. Исходя из этого, я считаю [себя] вправе утверждать, что я был достаточно близко знаком с В. Э. Мейерхольдом...»

С какой-то обезоруживающей скромностью и с юношеской признательностью, сам уже великий Мастер, он писал в том письме:

«Мейерхольд очень благожелательно относился к моим занятиям музыкой, к моим сочинениям. Я же буквально благоговел перед его

гениальным талантом. Сближало нас с ним и то, что он очень любил музыку, очень тонко в ней разбирался, не будучи специалистом-музыкантом».

Дальше шла характеристика роли Мейерхольда в развитии русского и советского искусства, его гениальности и необходимости возвращения его имени и наследия народу...

Иной раз и неожиданно Дмитрий Дмитриевич как бы давал ощутить свою приверженность Мейерхольду.

Так, в середине 1955 года, еще до того, как произошли события, о которых шла речь выше, в Москве открылась большая выставка, организованная Чехословакией. И на ней был оборудован павильон с новейшей аппаратурой для прослушивания музыки. Руководитель выставки, известный писатель-переводчик И. Т., очень любивший музыку Шостаковича, пригласил его посетить павильон. Зная мои работы о чешской литературе и культуре, он «подвиг» меня на переговоры с Дмитрием Дмитриевичем. По просьбе Шостаковича, а пришел он со своими детьми — дочерью и сыном, были проиграны произведения Яначека. И в тот момент, когда гостеприимный устроитель показывал младшим Шостаковичам аппаратуру, Дмитрий Дмитриевич сказал мне:

«А ведь некоторые замечательные чешские актеры, режиссеры, музыканты до сих пор помнят встречи с Всеволодом Эмильевичем. Дорожат ими».

Получив в подарок комплект пластинок с записями музыки Яначека, он искренне обрадовался. И, прощаясь со мной, обронил несколько фраз о западе надежности людей настоящей культуры — это была мысль все о том же: что в Праге вот Мейерхольд никуда не подевался...

В отношении Шостаковича к Мейерхольду сказывалась и верность его как бы лучшему в себе самом — так мне казалось...

Довелось мне держать в руках его письма к режиссеру. Два из них совсем давней поры.

На тех листках буквы да и слова как бы теснили друг друга, не оставляя пространства, которым он с таким совершенством владел в музыке.

Первое письмо датировано 8 декабря 1927 года, Шостаковичу был тогда 21 год.

Видимо, стесняясь, он долго и, пожалуй, неуклюже изъяснялся на тему вовсе постороннюю и ему самому, и адресату. Но вдруг, после «разминки», прорвалось признание:

«Я с восторгом вспоминаю все мое проживание у Вас. Никогда мне в Москве не было так хорошо, как за последний приезд.

А что касается Вашего театра, то это самое замечательное явление, с которым мне приходилось встречаться в своей жизни.

Мне жалко, ибо я не живу в Москве, а то бы я мог еще больше приобщиться к Вашему театру. А если мой «Нос» Вам пригодится (скажу словами Алехина, которые он произнес, выиграв матч у Капабланки), этим самым исполнится мечта моей жизни. Спасибо Вам за то, что я 3 раза был в Вашем театре.

Моя мама благодарит Зинаиду Николаевну и Вас за гостеприимство и шлет привет.

Она занимается сейчас подысканием нужного Вам человека и, кажется, что-то нашла. Об этом она будет писать Зинаиде Николаевне. (По всему судя, речь шла о помощнице по дому. — *Л. Р.*)

Шлю Зинаиде Николаевне и Вам привет.

До 16 декабря. (Вскоре ожидалась новая встреча. — *Л. Р.*)

Полюбивший Вас Д. Шостакович.

Мой адрес: Ленинград... Марата 9, кв. 7».

Минул месяц. В Ленинграде состоялась новая встреча.

Всеволод Эмильевич пригласил молодого композитора месяца два поработать в своем театре. Видимо, предлагая ему на это время черновую, повседневную работу, он думал хотя бы на короткий срок вывести Шостаковича из крайне напряженного материального положения. Да и судя по тому, что я слышала от Мейерхольда почти десять лет спустя, ему думалось, что само соприкосновение с театром как-то изнутри окажется не лишним и в работе композитора над его первой оперой — «Нос», сочинением которой он уже занимался.

Тогда, в Ленинграде, прощаясь, Мейерхольд попросил Дмитрия Дмитриевича обдумать предложение и написать в Москву о деловой стороне вопроса.

Второе письмо* было написано деловито-сухо, и это само по себе свидетельствовало о крайне стесненных обстоятельствах композитора. А ведь в музыкальной среде уже получили серьезное признание и Первая симфония, и Первая соната, октет, «Афоризмы», Вторая симфония. И еще в январе 1927 года Шостакович так блистательно выступил, несмотря на недомогание, на шопеновском конкурсе в Варшаве, и пр. Но он должен был заботиться о семье — о матери и своей сестре.

Впрочем, Шостакович пытался проявить и присущую ему самоиронию: «Вы обещали, — писал он Мейерхольду, — сделать все от Вас зависящее, дабы зарплата была большой. За дешево я, пожалуй, не продам своей свободы. Вы не обижайтесь, что я так пишу». И тут же признавался: «Работать у Вас в театре мне будет страшно интересно, и работа будет, судя по Вашим словам, не маленькая и в течение 2-х месяцев постоянная... Вы не сердитесь, пожалуйста, за написанное выше о зарплате. Все это я написал не из жадности, а из-за необходимой практичности...»

Еще бы, ведь за плечами у него была не только крайне напряженная концертная практика, но перед тем и изнурительная «поденка» в кинотеатрах, где его игра сопровождала демонстрации кинолент...

И последние строки письма на той же ноте деловой «независимости» красноречиво договаривали, каким же был его спартанский быт: «Если костюм мой еще не выслали (он, видимо, забыл его, гостя у Мейерхольдов в первый раз. — *Л. Р.*) и если я нужен Вам, то не высылайте. Пускай лежит у Вас до моего приезда.

* Эти письма Д. Шостаковича публикуются впервые. ЦГАЛИ, ф. 998.

Передайте мой привет Зинаиде Николаевне. Всего доброго.
Ваш Д. Шостакович».

А летом 1942 года в Новосибирске Соллертинский, предвкушая приезд своего друга на сибирскую премьеру Седьмой симфонии в исполнении оркестра Ленинградской филармонии, находившейся в эвакуации (Шостакович приехал, кажется, 3 июля 1942 года), рассказывал мне о том, что значил для них обоих каждый спектакль Мейерхольда. И, обладая феноменальной памятью, цитировал аспирантский отчет своего друга — написан он был в 1927—1928 годах — о сочиненной Шостаковичем опере «Нос»:

«Симфонизировал гоголевский текст не в виде «абсолютной», «чистой» симфонии, а исходя из театральной симфонии, каковую формально представляет собой «Ревизор» в постановке Вс. Мейерхольда». А когда Дмитрий Дмитриевич вернулся из Москвы в Ленинград, он не раз говорил другу: «Мне так хорошо работалось в доме Мейерхольдов»...

Я понимала, что и для Соллертинского возвращение к спектаклям Мейерхольда было по-своему сокровенно. Он, возглавлявший Ленинградскую филармонию, продолжал в больших аудиториях свою неповторимую творческую и просветительскую деятельность. И волен был, развертывая особую драматургию своих рассказов-эссе, сводить сотни и сотни слушателей с Малером и Чаплином, с Сервантесом и Данте, Пушкиным и Мусоргским. Но запретным было даже упоминание о величайшем прочтении гениальным режиссером «Пиковой дамы» Пушкина — Чайковского.

При всей спорности каких-то моментов, говорил мне Соллертинский, «поражала глубина понимания партитуры Чайковского, поистине живое взаимодействие с гением Пушкина, сила образного мизансценирования. Лучшей постановки ни мне, ни Шостаковичу — а мы часто вместе приходили на репетиции в МаЛеГОТ*, а потом и на спектакли, — видеть не доводилось...

Да, я до сих пор вижу Всеволода Эмильевича в его незабываемом общении с оперными актерами: с Вельтер — графиней, Ковальским — Германном. А Шостакович порой, как афоризмы, повторял слова Мейерхольда, обращенные к актерам, казалось бы, в самые черновые моменты репетиций: «Разбить метр и выставить только ритм!»...

При этом режиссер находил для каждого разнообразнейшую канву движений, ракурсов».

Но ни о чем подобном, что оказывало влияние на развитие всего мирового оперного театра, Соллертинский не мог заговорить ни публично, в больших аудиториях, ни даже в среде актеров, музыкантов Ленинградской филармонии...

Его ранняя смерть в феврале 1944 года — Ивану Ивановичу исполнилось всего сорок лет — была следствием и глубоко трагического восприятия происходившего в нашей культуре. Так мне думается.

В 1959 году в разговоре с Шостаковичем об участии его в сбор-

* Малый Ленинградский государственный оперный театр.

нике воспоминаний о Мейерхольде все то, что узнавалось когда-то от самих Мейерхольдов, от Шебалина, Соллертинского, почти пунктирно от самого Дмитрия Дмитриевича, — вдруг стремительно приблизилось, так как стало предметом его волнения, сутью неожиданного монолога...

О самом сборнике воспоминаний, возможно, он уже слышал от Эренбурга, да и у нас был предварительный разговор по телефону. Теперь он отвечал на мое предложение сперва даже как-то обрывисто, с паузами, не справляясь с волнением.

«Как вместить? Мы все... так много брали у Мейерхольда...»

И добавил, что и представить не может, чтобы хоть малую долю, как выразился он, «воспринятого от Мейерхольда» передать в воспоминаниях. «Я даже не готов к оглавлению»...

Но разговор продолжался, ибо по какой-то внутренней необходимости он сам и вернулся к давнему, тем самым как бы отменяя самую эту давность. И отжался наново прикоснуться к тому, что и время, и трагический обрыв жизни Мейерхольда и Райх не уменьшили... (Через короткое время после ареста Мейерхольда, летом 1939 года, Зинаида Райх была убита, видимо, теми же руками карателей у себя дома.)

Даже то, что казалось мне частично известным, пока Шостакович говорил, обретало особую мету.

Даже детали того, как скрещивались их пути, сама атмосфера дома Мейерхольдов остались для него и тридцать лет спустя ощутимыми духовно...

«Видел, и не раз, спектакли мейерхольдовского театра в Ленинграде. Каждый — событие. Для меня и друзей. «Ревизор» Гоголя — потрясение. Пока шли вокруг спектаклей баталии, он влиял на многих. И на меня. Тогда. Ну и, конечно, потом. И новые постановки видел, и опять прежние. Еще и еще...

В 1927 году осенью Всеволод Эмильевич сам и позвонил. Пригласил в гостиницу «Европейская». Он и Зинаида Николаевна встретили дружески. Оказалось: слушали мою музыку. Знали про конкурс пианистов в Варшаве, в начале того же года. Первый международный. Ездили: Оборин, Гинзбург, Брюшков и я... Зинаида Николаевна смеясь сказала: все, мол, узнали в подробностях, ну, как играли, какие премии и какие страсти вскипали вокруг конкурса...

Ужинали, и так мне неловко было — внимание, тратили время. Так случилось, что вскоре я у них гостил в Москве, обычно останавливался у своих друзей, а тут настояли Мейерхольды — у них. И в самый разгар репетиций первой постановки «Горе уму!» Я бывал на них, смотрел и другие спектакли.

Мейерхольд почуствовал Грибоедова и как музыканта. Хотел, чтобы актер, как и он сам, «спускался в недра музыки». И как-то даже выдал при мне «тайну» Зинаиды Николаевны. Оказалось, незадолго до моего приезда она на репетиции настаивала, чтобы я подбирал музыку к «Горю». И он смеясь признался мне, что в ответ даже «пугал» ее: «Вдруг Шостакович даст ультрасовременную музыку и отвергнет Бетховена». Но, оказалось, тогда же усовестился и добавил:

«Я при Шостаковиче упрекнул что-то рахманиновское, а он заступился за него»...

Я знал — на подхвате у Мейерхольда был Асафьев: он подбирал музыку к «Горе уму» — Бетховена, Баха, Филда...

Вскоре мы опять встретились в Ленинграде, и вдруг Мейерхольд пригласил в театр, в Москву, чтобы я играл там на рояле. Работа нужна была разнообразная — показалось интересным, да и речь шла о месяцах двух... Зинаида Николаевна сказала про инструмент у них дома — я уже на нем играл. Она добавила, как удобно будет мне «сочинять свое»... И потом я замечал: она, шутливо говоря о серьезном, выручала робеющего собеседника.

В Москве я недолго оставался, самая «должность» не совсем подошла. Но по-прежнему увлекали репетиции, спектакли, общение с Мейерхольдом, Райх. Сразу, и на этот раз более длительно, поселили меня на Новинском бульваре, у себя. Позднее, приезжая в Москву, бывал у них и на Брюсовском, куда они вскоре переехали... Зинаида Николаевна заботилась, чтобы мне никто не мешал, когда я писал.

И Дмитрий Дмитриевич, справясь с волнением, улыбнулся.

«Надевал я даже фрак. Отваживался шагнуть на сцену — в «Ревизор» Гоголя. Теперь и себе не верю — я был, точно был среди гостей Сквозник-Дмухановского и Анны Андреевны. И играл на рояле. Да, невероятно, но я тогда в гости затесался, в гоголевские и, так сказать, по доброй воле, — Шостакович усмехнулся, — но на Зинаиду Николаевну, как Шебалин выражался — «заколдованную в городничиху», глаз поднять не мог и за кулисами. Робел. А когда вместе возвращались домой, трудно было и в толк взять, как происходили эдакие метаморфозы: от сцены — к дому. Устав от игры, Райх становилась домашней, притихшей».

Шостакович то ходил по комнате, то присаживался, и вначале мне казалось: было ему зябко, потом это прошло.

«Иногда в поздний час, — продолжал он, — Зинаида Николаевна поила нас чаем, Мейерхольд говорил о современной опере, о музыкальном современном спектакле. Но и грибоедовское «Горе уму» развернуто было в современность, а весь спектакль соркестрован был на отличной музыке... Мы строили планы. Разные. Увлекательные. Зинаида Николаевна так верила нам, слушала, не сводя глаз...»

Шостакович вдруг осекся, умолк. Когда он переставал говорить, я опасалась, что разговор вовсе угаснет. Но после долгой паузы он продолжал:

«Часто Всеволод Эмильевич и Райх просили меня играть мою музыку. Я тогда писал первую свою оперу — «Нос». Как слушали они, хорошо помню. А «Ревизор» воспринимал я, пожалуй, как музыкальное сочинение. Спектакль дал мне импульсы. Влиял. Смотрел его и со сцены, как бы изнутри, и из зрительного зала...»

Помолчав, Шостакович неожиданно признался:

«Случалось, Зинаида Николаевна ставила меня в тупик. Вдруг спрашивала: не допустила ли она сегодня какого-либо промаха в своей игре? Мне казалось: она порой жестоко относилась к себе. А ведь рядом еще был Михаил Чехов, он подробно говорил да и на-

писал ей — о примечательной игре ее и Эраста Гарина — Хлестакова. И Андрей Белый. И Борис Пастернак — Мейерхольд перечитывал его письмо о „Горе уму”...»

Шостакович говорил об особой атмосфере их дома. О репетициях в их комнатах. О гостеприимстве Райх:

«Я ж мальчишка был угловатый. Наверное, трудно ей было. Но со всем управлялась».

А «Горе уму» только-только выпустили. Очень интересно, — Шостакович вновь вернулся к этому спектаклю, — много хорошей музыки — она была и подсказкой, и глубиной... Неожиданные Чацкий и Софья — яркая*. Мейерхольд говорил: она Чацкому, пока он путешествовал, может, мнилась Джульеттой, а фамусовская «атмосфера» сокрушительно-вульгарна.

Прекрасная догадка: Чацкий — музыкант!

Гарин обаятелен — в какой-то серо-голубой косоворотке, за поясом.

Но спектакль травили. На двух-трех умных рецензентов — они-то понимали, какое это открытие, — свора облаивающих. Палата мер и весов мещанина — страшна!

Им трудно было, Мейерхольдам. Особенно ей, она ведь и Всеволода Эмильевича поддерживала, была образованна, умна, не только артистична. И потому становилась мишенью.

А еще дома — Ноев ковчег, забот уйма: подкармливала студентов, заезжих, заглянувших по делу.

Готовилась к спектаклям. Играла. И двое детей подрастало — не просто! Еще Мейерхольды умудрялись хлопотать, чтобы Лев Оборин** свою музыку сочинял, совсем юный поэт встретился с Маяковским, а молодые драматурги забыли про РАПП и писали пьесы для ГосТИМа***.

Дмитрий Дмитриевич сказал, что Мейерхольд и Райх, невзирая ни на какие ситуации, с дружеской заботливостью относились не только к нему, но и к Мясковскому, Прокофьеву, Шебалину. Вспоминал, как Мейерхольды приходили на концерты или он дома играл для них. И о диспутах — порой их мнения в чем-то расходились, но взаимный интерес не убывал.

«Травили Мейерхольда, театр, Райх, а Всеволод Эмильевич в ту же пору, и не однажды, защищал Прокофьева, когда самому было невтерпеж и над ним нависал дамоклов меч, мою музыку... Он делал это и публично, и упорно добивался постановок Прокофьева. Зинаида Николаевна его и в этом поддерживала. О том знаю я, но слышал и от Прокофьева, подробно от Шебалина. Он же был постоянно связан с театром, Мейерхольдами, ведь к девяти спектаклям и музыке написал. Очень хорошую...»

* См. Руднева Л. Эраст Гарин//Театр. — 1986. — № 8; ее же. Зинаида Райх//Театр. — 1989. — № 1.

** См. Руднева Л. Лев Оборин и Мейерхольд//Лев Оборин — педагог. — М., 1989.

*** РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей; ГосТИМ — Государственный театр им. Всеволода Мейерхольда.

О том, как последовательно Мейерхольд в самую непогоду отстаивал Шостаковича, помню и я.

В ту пору жестоких наскоков со стороны официальной прессы и многих иных радетелей я уже работала в мейерхольдовском театре, часто бывала у Мейерхольдова.

В 1936 году, после «директивной» ругани в «Правде», статьи «Сумбур вместо музыки» и другого подобного, Всеволод Эмильевич отважился вступить «в рукопашную». На встрече с театральными деятелями в Ленинграде в марте того года он страстно, но в то же время весьма искусно защищал музыку Шостаковича, самую его «творящую личность». И обращался он притом к мыслям Пушкина, его мерилам, характеризуя огромный творческий потенциал Дмитрия Шостаковича. Накануне сам Мейерхольд совершил пушкинское открытие, поставив «Пиковую даму» на сцене МалЕГОТа. Как и большинство зрителей, да и знатоков, Шостакович и Соллертинский восприняли спектакль потрясенно.

И хотя были «разномнения» по частностям, все понимали, что Мейерхольд гением своим послужил дальнейшему развитию мирового оперного искусства. Он, мечтавший об осуществлении пушкинской реформы театра*, ставил тогда и в своем театре «Бориса Годунова», настаивал на том, что пушкинское толкование помогает понять и суть совершаемого Шостаковичем.

Именно об этом в 1959-м, в нашем разговоре о Мейерхольде, упомянул и сам Дмитрий Дмитриевич, сказав, что не знал, куда деваться, когда Мейерхольд прилюдно ввел его в такой, как он выразился, «незаслуженно высокий контекст»...

А Мейерхольд в марте 36-го говорил: «Но мы приветствуем в нем, в Шостаковиче, то, что было ценного для Пушкина в Баратынском: «Он у нас оригинален — ибо мыслит». Я приветствую в Шостаковиче эту способность быть в музыке мыслителем. Шостакович обещает нам в будущем великолепные произведения...»**.

Ведь в то время как раз завершал он Четвертую симфонию. Впрочем, предуготована была ей судьба трагическая. И Мейерхольду, который осенью того же, 36-го года так ждал ее премьеры, не суждено было услышать ее оркестровое звучание. Все произошло лишь четверть века спустя. А тогда Шостакович, его друзья исполняли Четвертую на рояле, и вызывала она восхищение Мясковского и дирижера. Отто Клемперера.

Но о том, как нуждался в этой музыке Мейерхольд, я слышала от него и позднее. И когда в 37-м довелось мне вместе с ним слушать Пятую симфонию Шостаковича.

После долгих оваций вышли мы из зала, молча спустились в вестибюль. И, стоя в стороне от бурно обменивающихся впечатлениями слушателей, Мейерхольд продолжал молчать, закурился.

* См. об этом подробно: Руднева Л. Поиски и открытия//Творческое наследие Всеволода Мейерхольда. — М., 1978.

** ЦГАЛИ, ф. 998; публиковалась в: Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. — Ч. 2. — М., 1968. — С. 331.

Пожалуй, таким потрясенным я видела Всеволода Эмильевича впервые. И вдруг он завел речь будто и о пустяковом: о том, как удобно курильщику вернуть себе равновесие, хотя бы и наружное. И с только ему присущим, особым природным изяществом показал мне, как папироса в его руках становится как бы главным «действующим лицом», организующим некий центр равновесия. Но, вопреки этой показавшейся мне даже трогательно-наивной уловке, некоем укрытии, внезапно произнес вслух то, что думала, чувствовала и я, совсем еще молодой человек, другого опыта, тем более потенциала. Оказалось, для него Пятая, для всего, чем он жив, как бы а в т о б и о г р а ф и ч н а. И потом, после паузы, обронил: «Но есть еще Четвертая!»...

А поздней осенью 36-го я узнала от Всеволода Эмильевича, с какой болью писал Шостакович ему, Мейерхольду, тревожась о нем и в то же время отчаиваясь по поводу судьбы своей Четвертой. Мейерхольд же отвечал ему, поистине свято веря в одоление Шостаковичем всех напастей.

8 сентября 1936 года Шостакович писал из Одессы; тогда он не знал, что Мейерхольды еще не вернулись из Франций, где Всеволод Эмильевич не только лечился, но и в последний раз увиделся со своими друзьями, среди них — с Пикассо. И заручился он его согласием оформлять «Гамлета». Ведь Мейерхольд ожидал и нового перевода шекспировской трагедии от своего близкого друга — Бориса Пастернака.

Обо всем этом Шостакович услышал позднее, при встрече, от самих Мейерхольдов.

А в сентябре он писал, не скрывая своей тревоги:

«Дорогой Всеволод Эмильевич!

Мне мучительно грустно стало, когда в списке награжденных званиями народных артистов СССР не оказалось Вас.

Вот и все, что я пока хотел написать.

Живу я сейчас в Одессе. Пробуду здесь дней 15—20. 3 месяца назад у нас родилась дочка Галина. Сейчас ни над чем не работаю. Думаю немного отдохнуть, хотя какой уж тут отдых, если болит душа.

Собираю изо всех сил все свои запасы оптимизма и вот так и живу. Многое меня радует. Этого «многого» очень много, но чашу весов перетягивает один фунт моей печали. Хочу Вас повидать.

Привет Зинаиде Николаевне.

Ваш Д. Шостакович»*.

А Мейерхольд отвечал; было это 13 ноября того же 36-го. О сути ответа я слышала тогда же от Мейерхольдов — они так надеялись, что все еще состоится исполнение Четвертой...

И совсем не случайно в разговоре нашем, уже в 1959 году, Шостакович вдруг воскликнул: «Всеволод Эмильевич иногда и врачевал, и спасал». И тут, кстати, он вспомнил, как еще в 28-м году, когда совсем рядом — по соседству возник пожар и Мейерхольд

* ЦГАЛИ, ф. 998.

приветствовал покинуть дом, он в первую голову захватил партитуру «Носа».

«Меня тогда не было дома, но, узнав о случившемся, я твердо уверовал в надежность его дружбы и в то, что «Нос» ему вправду по сердцу», — заметил Дмитрий Дмитриевич.

А Мейерхольд, оставаясь верным и откровенным со своим младшим другом, в середине октября какого нелегкого для него ноября 1936 года, когда усиливалась травля его театра и все более сгущались тучи над его головой, писал Шостаковичу о Четвертой симфонии:

«Дорогой Дмитрий Дмитриевич!

Ваше нежное письмо, помеченное «8.IX.1936. Одесса», я получил лишь 5 ноября, в день возвращения моего из Франции. Большое спасибо и за то, что признаете меня достойным награды.

Мне было очень грустно читать строки Ваши о том, что Вы неважно себя чувствуете. Дорогой друг! Будьте мужественны! Будьте бодры! Не отдавайте себя во власть Вашей печали!

Штидри сообщил мне, что скоро в Ленинграде будет исполняться Ваша новая симфония (Четвертая. — Л.Р.). Все силы приложу к тому, чтобы быть в Ленинграде на этом концерте. Я уверен, что, прослушав свое новое сочинение, Вы снова броситесь в бой за новую монументальную музыку и в новой работе сплин Ваш испепелится.

Мне очень хочется видеть Вас, говорить с Вами.

Мне очень хочется взглянуть на дочку Вашу. Простите, что мы до сих пор не поздравили ни Вас, ни жену Вашу с великой семейной радостью. Поздравляем. Будьте счастливы. Целую Вас.

Зинаида Николаевна шлет привет»*.

...В 1959 году все оставалось животрепещущим, ранившим.

Ведь лишь два года спустя в п е р в ы е — 30 декабря 1961 года — в Большом зале Московской консерватории мы услышали исполнение Четвертой симфонии — только тогда состоялась премьера ее...

И если в ту встречу — в 59-м — я не осмелилась заговорить о ней, Четвертой, то потом, в 62-м, я услышала от самого Шостаковича, что в нем «так ощутимо отозвалось отсутствие тех, кто загодя отнесился к ее жизни как к событию, нужному и им».

Первым назвал он имя Мейерхольда.

И добавил: «Всеволод Эмильевич так тонко и глубоко понимал музыку, и так ощутимо, не только для меня, его п р и с у т с т в и е. И в том нет мистики, но продолжающееся его влияние еще не однажды скажется...»

1959.—1990 гг.

* ЦГАЛИ, ф. 998; публиковалось в: Мейерхольд Вс. Указ. соч. — С. 372.

Религия в наши дни

Статьей Константина Кедрова «Апрель» открывает рубрику «Религия в наши дни».

По моему глубочайшему убеждению, религиозный вопрос — один из важнейших, а может быть, самый важный вопрос, вставший ныне перед нашим несчастным Отечеством. Лишь поверхностный или — что, вероятно, одно и то же — необратимо секуляризованный ум отнесет его к разряду второстепенных, замкнутых исключительно церковной оградой и обособленных от социально-политической и хозяйственной жизни. Конечно, постыдная нищета богатейшей страны, нищета как итог первого в мире коммунистического эксперимента мучительно отзывается в сознании едва ли не большинства наших сограждан и мешает им различить главную, на мой взгляд, причину поразившего нас недуга. «Рече безумен в сердце своем: несть Бог. Раствлеша и омерзися в начинаниях: несть творяй благостыню». Так восклицал псалмопевец, и, вторя ему, произнес Ф. М. Достоевский: «Горе обществу, не имеющему религиозного умления».

Скорбным взором глядя окрест и находя повсюду зловещие приметы р а с п а д а, неужто мы не скажем себе всю правду о себе же: безумны были мы, и потому все у нас пошло в прах и кровь. Наши соседи по Европе (разумеется, не по Восточной, едва приходящей в себя после сорока лет строительства социализма) заслуженно гордятся перед нами экономическим благодеянием и политическими свободами. Но вряд ли кто-нибудь возьмется сейчас отрицать прочные религиозные основы европейского уклада. (Свою привязанность к ним минувшее столетие, по-видимому, осознало не до конца: но зато наш век в полной мере ощутил, *откуда* берет человечество возможность жить и расти.) Религия создает личность, личность — общество и государство. Я не говорю уже о том, что заповеданные нам заботы о природе и всей сущей в ней твари, о плодах земли и человеческом благе без духовной санкции — и мы вполне убедились в этом на примере нашего хозяйственного крушения — будут лишены надежного основания.

Вот почему так нужно сегодня, чтобы свет Х р и с т о в хотя бы в малой мере просветил всех нас, очистил бы от нагара лжи, безумия и скверны наши души; и вот почему так дорого нам ныне трезвое слово правды: об историческом пути русского православия, о прошлых и нынешних его отношениях с католичеством, о мученичестве, понесенном Церковью, ее служителями и верующим народом в страшные десятилетия господства лжерелигии, которой — по сути своей — является марксизм-ленинизм, и о ложных путях, подстерегающих сегодня б л у д н о г о с ы н а.

Он спешит ныне к отцу не только потому, что бездарно прожил свою «часть имения», вынужден пасти свиней и мечтает досыта наестся хотя бы «рожками», из которых варят для них пойло; не только нищета и голод гонят его, но и страх потерять образ человеческий, ужас перед духовной смертью и еще не убитое до конца отвращение перед ложью, мало-помалу выедающей из него душу. Не хватит ли у него сил для искреннего и глубокого покаяния? Хватит ли мужества последовать призыву Патриарха Тихона и признаться, что грех — на нем, что он сам, поддавшись соблазну, ушел от отца? И отвергнет ли льстецов, уже кидającychся наперебой внушить ему, что он, собственно, тут как бы и ни при чем, что ему не обязательно казнить себя раскаянием и что его, если вникнуть, у в е л и из отчего дома?

Не знаю, что может быть пагубней для нашего неокрепшего сознания, какой яд может быть обольстительней и страшней.

В первые четыре дня Великого Поста в храмах читают Великий покаянный канон святого Андрея Критского: «...Раздрах ныне одежду мою первую, юже ми истка Зикдитель из начала, и оттуда лежу наг...» Я очень желал бы, чтобы по осущению греха и стремлению к покаянию статьи новой рубрики «Апреля» уподоблялись этому дивному канону.

Александр Нежный

Христос и Фрейд

Более всего неполнота и вытекающая из нее неправота фрейдизма проявляется в его взгляде на психологию детей. Мальчики в психоанализе Фрейда — все маленькие карамазовы и раскольниковы, а между тем реальный ребенок не таков.

Детское ангельское начало знает каждый, кто дружил и общался с ребенком. «Если не будете, как дети, не войдете в царствие небесное», — сказал Христос. Либи́до, открытое Фрейдом, есть бесконечная любовь, изливаемая на все. «Любовь не завидует, не ищет своего, все прощает, всему радуется...»

Не выдумал апостол Павел такую любовь — она есть в душе у каждого человека, но более всего видна в ребенке, если психически он не искалечен с детства.

Судьба такой райской, божественной, христианской любви известна. Ребенок, взрослея, сталкивается все с теми же запретами. Как нельзя быть мужем сестры, матери, так нельзя любить друга больше, чем самого себя. Нельзя отдавать ему все свои игрушки, нельзя делиться с прохожим последней конфетой, нельзя, нельзя... Появляется и ревность. Оказывается, мать ревнует ребенка к отцу, а отец может обидеться, что его любят меньше, чем мать. Что же делать ребенку? Как, оставаясь самим собой, сохранить любовь? Он уходит в мир грез и сказок или сам создает свой сказочный мир, где все бесконечно любят друг друга.

Большинство детей отказывается от сказки, вытесняет ее в подсознание. Лишь некоторые остаются верны себе: становятся пророками, праведниками, святыми. Фрейд нашел в подсознании ад вытесненных желаний, но не заметил рая. А он есть.

Иван Карамазов и Алеша Карамазов — братья.

У одного Эдипов комплекс переходит в подсознательное убийство отца, у другого — в сыновью жертву.

Прав был Фрейд, когда почувствовал какую-то связь Эдипова комплекса с христианством, но дальше идеи самокастрации пациентов его мысль не пошла. Это и не удивительно. Фрейд — врач, он имел дело с детьми больными, даже душевнобольными. Сыновья жертва в их сознании такова.

Ребенок душевно здоровый стремится к подвигу и самопожертвованию, но мир людей всячески препятствует ему в осуществлении замысла. Всемирная любовь, вытесненная в подсознание, становится религиозным инстинктом.

«Заповедь новую даю вам — да любите друг друга». Имел ли этот

призыв Христа социальный выход? Вся история говорит — нет. Но человек впервые узнал о себе правду, скрытую в подсознании. В мире ненависти, насилия, в царстве дьявола он остается тем, кто он есть, — сосудом любви всемирной. Так же, как преступное желание убить отца, будучи вытесненным в подсознание, отнюдь не всегда завершается преступлением, так и всемирная любовь лишь изредка проявляет себя в людях, великих и праведных: Ганди, Швейцер, Мартин Лютер Кинг...

Фрейд рассказал всю правду о подсознании Каина.

Христос открыл Авелю тайну о нем самом.

В анаграмме имени Каина есть расКАИИНе (да простят мне сознательное отклонение от орфографии в современном написании порусские этого слова; пишу, как слышится).

В имени Авеля есть поВЕЛение. Авель — ЛЕВ в обратном написании, лев воли. В нем также есть ЕВА — жизнь и АВЕ — славы.

Разумеется, все мы Каины и Авели в подсознании. Фрейд рассказал правду о подсознании Каина.

Скажем правду о его убитом брате Авеле.

«Любовь не ревнует», — сказал апостол. Каин «взревновал» к Богу. Дым от костра Авеля ушел в небо, а от Каинова костра стлался по земле. Движимый высокой религиозной ненавистью, Каин убил брата Авеля.

На вопрос Бога: «Каин, где брат твой Авель?» — Каин отвечает: «Разве я сторож брату своему?» В том-то и дело, что сторож. Каждый человек — страж любви. Знаем житейское понятие «не уберечь любовь». Бережение — страж любви — что это такое?

Фрейд заметил, что дети любят оружие. Но он не заметил, что оружие (это чаще всего меч) нужно ребенку не для применения, а для стражи. Ребенок охраняет свою любовь. От кого? От злых колдунов, от злой силы, которая у ребенка никогда не связана с людьми. «Враг рода человеческого» не может быть человеком.

Некоторые дети вообще не подозревают о существовании зла. Тогда меч — скорее символ власти любви над миром, нежели оружие защиты. Чаще всего это так и есть в раннем детстве.

Я еще раз должен оговориться, что речь идет о ребенке здоровой душой и телом. В жизни отклонение чаще, чем эталон. Потому и дерутся дети, и ссорятся, но не все ссорятся, не все дерутся. Опыт моего детства до пяти лет вообще не знает вражды. В семь лет я стал христианином, сознательно пожелал креститься. Заповедь «ударят в правую щеку — подставь левую» я воспринял буквально. Мне трудно судить, большая ли это потеря, что я не учился драться. Рассуждая чисто житейски, это ослабило мне жизнь с третьего по десятый класс. Разумеется, в старших классах по закону чести я выходил на «почестен бой» и чисто символически размахивал кулаками в двух-трех рыцарских поединках в процессе выявления лидера. Однако идеалом моим был все-таки Христос, а не Брюс Ли.

Конечно, развращающие фильмы типа «Чапаева», где «наши» рубят «не наших» шашками, одурманивали ум, но душа оставалась незвизима.

Я понимаю, что с точки зрения классического психоанализа воспоминания эти ценности не имеют. Ведь это не подсознательный уровень.

Обратимся к подсознанию.

Кем я себя ощущал в повести Гоголя «Тарас Бульба»? Не положительным Остапом, а «отрицательным» Андрием. В «Евгении Онегине» не Онегиным мне хотелось быть, а Ленским. Вокруг царил культ оружия, насилия, в лучшем случае воинской доблести, а мне нравился штатский Пьер Безухов и вызывал активное неприятие военный Андрей Болконский.

Разумеется, меч, ружье, танк были для меня желанными игрушками послевоенного детства. Но «убивал» я из этого оружия не людей, а «врагов». Ведь нас учили, что враги не люди.

Все вокруг: родители, школа, общество — убеждали меня, что надо уметь «стоять за себя», учиться «давать сдачи» и еще что-то в этом роде. Одним словом, я на себе испытал, какому мощному давлению подвергается ребенок в нашем обществе, если инстинктивно он любит больше, чем ненавидит.

Итак, вот правда о мире, в котором я жил и живу.

Здесь все любят меня, и я люблю всех.

Позднее формула любви изменилась: все меня ненавидят, но я всех люблю.

Сегодня я обозначил бы это так: все любят всех.

Обратите внимание, что здесь исчез «я» и исчезли «другие». Преувеличенное представление о собственной личности, свойственное человеку до сорока лет, уступило место здоровому ощущению: все люди страдают, как я, все нуждаются в помощи, любви и прощении.

Состояние ненависти и вражды доминирует в нашем обществе. Им охвачены две трети мира. Но эта сознательная ненависть вовсе не исключает подсознательной, вытесненной, запретной любви. «Царство божие внутри вас есть», — сказал Христос. Фрейд открыл, что внутри нас есть также ад.

Алеша Карамазов — человек, но ведь Иван — тоже человек.

Князь Мышкин — человек, но ведь и Раскольников — личность.

Неисправимость Раскольникова в жизни для меня яснее ясного. Но и Мышкина Раскольниковым не сделаешь.

Вот только разные ли это люди?

Христос открыл, что в подсознании Раскольникова есть Мышкин. Всякий, кто прочтет романы Достоевского внимательно, поймет мою правоту.

Если же учесть, что в жизни все смешано и Мышкин и Раскольников — часто одно и то же лицо, станет ясно, насколько в сознании и подсознании человека перепутаны лабиринты ада ирая. Открытие Фрейда, его гениальность в том, что он научил нас схождению в ад. Психоанализ — это не только блуждание по лабиринтам ада, это еще и освобождение души от бесов. Напрасно исповедь сравнивают с психоанализом. В исповеди человек сознательно кается; в психоанализе он узнает о себе то, чего никогда не знал.

Ну, а какое открытие для людей в обретении подсознательного

рая? Психианализ Фрейда — это низвержение и сокрушение демонов в душе человека. Новый психианализ — это высвобождение ангелов из преисподней духа. Я знаю только один эффективный метод высвобождения: православное богослужение со всеми таинствами*.

«Изведи из темницы душу мою!» — этот возглас постоянно звучит в затменном храме во время богослужения.

Я далек от мысли, что все люди выходят из храма излеченными и просветленными. Вряд ли кто-нибудь будет утверждать, что из кабинета врача-психианалитика выходят толпами душевные здоровяки. И врач, и священник чаще облегчают боль, чем исцеляют болезнь.

Полные исцеления редки и относятся более к области чудес, нежели к сфере медицины.

К психианалитику люди приходят нездоровые. Вытесненные в подсознание сексуальные запреты разрушают душу и тело. Врач помогает больному найти путь к сублимации вытесненного запрета. Но что такое сублимация? Вытесненный запрет сублимируется в убийство; запрет сублимированный — созидательная деятельность личности.

Ну, а запрет на христианскую любовь? Вытеснение ее в бессознательное? Здесь нельзя говорить о болезни духа и тела. Любовь в подсознании так же целительна, как и во внешнем мире. Вся беда в том, что, будучи неосознанной, любовь делает человека несчастным, томящимся, мечущимся, взыскиющим истины.

Болен ли Раскольников?

Здоров ли князь Мышкин?

Внешне оба выглядят больными. Позднее Достоевский уточняет дилемму: Иван Карамазов сходит с ума; Алеша — кровь с молоком.

Личный опыт говорит о неиссякаемой силе любви, лечащей человека. «Больные выздоравливают, слепые прозревают, парализованные встают и движутся», — говорит Христос. И тем не менее, будучи заточенной в подсознание, сила любви становится не менее разрушительной для души и тела, чем четвертый реактор Чернобыля для Полесья...

Любовь — сила космическая, на всех уровнях требующая постоянного излияния в мир. Если же этого не происходит, критическая масса приводит к взрыву. Обломки людей, движущиеся навстречу нам по улице, — это жертвы той катастрофы. Любовь требует не сублимации, а сознания. Будучи осознанной, она делает человека счастливым в самых тяжелых испытаниях.

Человеку можно внушить, что он любит. Это с успехом применяется в медитациях, но так же неэффективно, как внушение в психианализе, от чего Фрейд решительно отказался.

Слово «покаяние» — изменение разума, раскаяние, преодоление Каина — не объясняет, как должен измениться разум. Должен произойти переворот — метаносис.

Покаяние — переворот праведника — известно из практики молитвенной жизни. Человек праведный осознает, что он грешен, из-

* Опыт других религий не ставится под сомнение, он просто здесь не рассматривается. Я обращаюсь лишь к лично пережитому.

влекая из подсознания бездну вины перед людьми и Богом. «Всякий, кто гневается на брата своего напрасно, повинен смерти». Кто же не гневался, кто же не повинен?

Покаяние грешной и злой души другого рода. Из подсознания человека извлекаются вытесненные запретные христианские чувства. Он вспоминает о своей любви к людям и к Богу, хотя до этого ему была открыта на уровне сознания только ненависть.

Никто не может сказать о себе, что он только праведен или только грешен, а потому сложен и мучителен процесс покаяния. И все же современному человеку, более чем когда-либо поработанному ненавистью, самое главное — вспомнить о любви в своем сердце.

Проповедь любви часто звучит в пустоту, потому что человек не властен приказать себе любить или ненавидеть. Не властен он и вспомнить о своей любви без помощи опытного врача-психолога. Таких врачей много: Ганди, Толстой, Швейцер, Достоевский, Диккенс, Шекспир, Гёте, Данте, Мартин Лютер Кинг...

Однако в каждую эпоху жизнь требует новых слов и новых методов исцеления.

Метод современного искусства прост, как все великое.

Раскачать подсознание, вырвать из его глубин несказанные слова, невозможные образы. Всколыхнуть болотную бездну и сокрушить повседневный ад.

На территории нашей страны была, по сути дела, доказана недостаточность психоанализа Фрейда.

Воспитанный в цивилизованном христианском мире, великий психоаналитик, вероятно, и представить себе не мог, что может возникнуть общество, где общечеловеческие ценности — любовь, милосердие, прощение, сострадание — окажутся вне закона, а проповедь христианской любви будет искореняться как государственное преступление.

Тем не менее такие общества возникли у нас в семнадцатом году и в Германии тридцатых годов.

Сидя в фашистском концлагере, Фрейд уже не мог успешно продолжать свою научную деятельность, иначе он неизменно пришел бы к выводу о возможности вытеснения в подсознание чувства всемирной любви.

Впервые после прихода Христа на землю любовь снова оказалась загнанной в катакомбы. До этого в течение почти двух тысячелетий любовь считалась высшей ценностью жизни. Правда, она подвергалась и подвергается инквизиторскому расчленению на «плотскую» и «духовную». «Дух животворит, плоть не пользует нимало», — сказал Христос, но имелась в виду плоть неодухотворенная. Неодухотворенной любви быть не может. Христианская любовь пронизывает все уровни бытия.

В материи — это закон всемирного тяготения, или притяжения.

В органической жизни — это закон оплодотворения.

На биологическом уровне — это инстинкт продолжения рода.

На уровне подсознания — это открытое Фрейдом либидо.

На сознательном уровне — это принятие заповедей Христа. «Лю-

бовь никогда не исчезнет, хотя пророчества умолкнут и жизнь на земле прекратится».

Ныне впервые после христианского переворота в душах и сердцах людей была предпринята попытка изгнать любовь из сознания. Опыт на территории нашей страны увенчался успехом. Явилась новая общность людей, которых объединяет не любовь, а классовая ненависть.

В Германии менее успешно прошла попытка объединения людей на основе расовой ненависти. Человек «нового типа» оказался намного опасней и агрессивней выявленного Фрейдом интеллигентного невращенника. Он хладнокровен, жесток, практичен, полностью аморален и в силу этих особенностей патологически глуп. Его бесстрастное бесполое лицо с плакатной улыбкой робота становится омерзительной харей, когда, спустившись с высокой трибуны, он удаляется в хорошо охраняемый бункер подписывать смертные приговоры или осущестлять их собственноручно. Расстреляв классовых врагов, он начинает такой же методичный отстрел изменников делу класса, пока самого его не пристрелит как изменника какой-нибудь суровый товарищ по партии.

Поскольку отлучки с трибуны в бункер становились все более частыми, постепенно бесстрастная плакатная улыбка слилась со свирепой харей. Лицо римлянина «эпохи упадка» спустя 2000 лет снова возникло на авансцене истории.

Предсказав массовые психозы с обожествлением вождей, Фрейд не предполагал, что может возникнуть устойчивое состояние, когда давным-давно никто не обожествляет вождя, а просто сотни миллионов людей целых полвека будут умело притворяться, что обожествляют и верят.

Атеизм сам по себе не имеет ценности в таком обществе, если он не сопровождается показной верой в вождя и в «светлые идеалы». По мере того, как иссыкает такая языческая вера, требуется все большее количество показных ритуалов, демонстрирующих ее живучесть. Ритуальные, канонически предопределенные шествия, митинги, собрания, юбилеи, пришедшие прямо из языческого Рима, даже сохранили название свое римское, языческое.

Любой «книжник» и «фарисей» из первого века выглядит живее и человечнее, нежели этот человек будущего:

Слышишь, как гудит земля,
Слышишь, как дрожит земля?..
Новый человек по земле пройдет.

К счастью, в реальности такого человека нет, не было и не может быть. Ритуальная плакатная личина, конечно же, не есть лицо. В подсознании каждого человека любовь так же реальна, как на уровне его сознания реальна показная классовая ненависть и классовая солидарность. Разница лишь в том, что «любовь никогда не исчезнет, хотя и пророчества умолкнут, и жизнь на земле прекратится». Ненависти же уготована мировая бездна. Ступай, зверь, туда, откуда пришел. Вот здесь и пришло время сказать о моем втором несогласии с Фрейдом. Где находится подсознание? Для Фрейда это подкорковая или какая-

то иная область мозга. Сейчас уточнено, что, скорее всего, в правом полушарии центр интуитивного знания. Утверждение, что мысль находится в мозге, равносильно наивному представлению детей, что изображение находится в телевизоре. Без телевизора изображение не выявляется, как без мозга не выявляется мысль. Но предмет изображения не в телевизоре, и мысль не в мозге.

Запретное, вытесненное устремляется туда, откуда пришло, — в мироздание. Агрессия устремляется к аду. Любовь восполняет рай. Вытеснение есть падение. Осознание — восхождение к небу. Лестница Иакова — любовь, вытесненная в подсознание, ниспадает к аду вместе с агрессивными помыслами и претерпевает там муки, которые человек неосознанно ощущает все время. Он слышит стенания своей души, низвергнутой в бездну, но он не в силах помочь ей, поскольку не понимает, что бездна эта внутри него.

Круг за кругом нисходит в ад Данте, дабы узреть Беатриче — свою любовь — на вершинах рая. Фрейд провёл нас по лабиринтам ада, но, не дойдя до чистилища, вернулся обратно с чистыми помыслами и добрыми намерениями.

Психоанализ Фрейда — возвращение из ада.

Христианский психоанализ — сокрушение ада и обретение рая. Не с агрессией в себе надо бороться (борьба эта бесплодна и всегда заканчивается вничью), а, минуя свирепых церберов, устремиться вслед за Орфеем сквозь глубины ада, дабы освободить любовь — Эвридику.

Есть золотой клубок, который катится впереди, ведя нас по лабиринтам, — это луна; разматываясь, прибывая и убывая, она проходит круг созвездий, каждое из которых — подсказка бессмертия. Вот катится она по кругу китайского Зодиака из 28 букв — созвездий.

А — Телец — первый день творения мира и души человека. Его цвет алый. Это Алеф и Альфа. Это Аз, то есть Я, конец и начало бытия, ибо Я есть Яз. Аз — Яз.

Когда Андрей Вознесенский восклицает: «рАЗвяжи мне ЯЗык», — он раскрывает божественный смысл А и Я. Звездный ЯЗык рАЗвязывается в Тельце. Телец — это тело, но, поскольку это ПЕРВЫЙ день творения, это еще и ВЕРА. В слове «первый» скрыт корень ВЕР.

Телец — это один — I, или Один — бог варягов, или Адонис у греков, или Адонай — бог евреев. Он единый. «Верую во единого Бога» — так начинается символ христианской веры, сохранивший и корень ВЕР, и корень ЕДИН — Один.

Б — голова Ориона — божественный треугольник звезд. Второй день творения. Его цвет белый. Алый и белый рядом в астральном спектре. Это Бетенаш древних евреев. Это «батя наш» в славянской транскрипции. Первые два слова молитвы, данной Христом: «Отче наш...» Его число два — 2.

Два — это Дева. Это женская сущность мира. Богородица — Дева. Слово ВТОРОЙ содержит корень «твор» — тварь. Это творческое начало мира, проистекающее от АЗ — Тельца — веры.

Сначала вера. Затем знание и творение. Аз — Буки — А — Б — Азбука Бога.



Треугольник замыкает буква В — Веди — 3. Цвет ее — ворвань, иссиня-черный. Ведание — полнота знания — это весь Орион. У индусов его имя Тритта. Третий день творения. Корень его ТРЕТ — труд и знание.

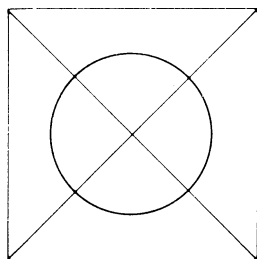
Вера — творчество — труд и знание.

Телец — голова Ориона — весь Орион.

Первый — Второй — Третий.

Таков треугольный чертеж души и мира до четвертого дня. В день четвертый треугольник, вращаясь вокруг вершины, заполняет собою все четыре стороны света.

Чет — вертый: чет вращаемый. Образуется световой конус мировых событий, открытый Эйнштейном спустя 19 миллиардов световых лет без трех дней от момента сотворения мира.



Это буква Г — Глаголь. В ней ЛОГОС — слово Божие и ГОЛОС его, ибо это крест, изображающий первую букву Христова имени — Господь Христос. Цвет его голубой, небесный. Это плечо Водолея.

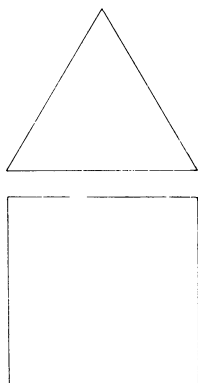
Пятый день творения — Водолей — Добро — Д. Его цвет дневной, светлый. В его числе единение Бога и человека в ДОБРОМ Деянии. ПЯТЫЙ день творения.

Я — ТЫ едино творение.

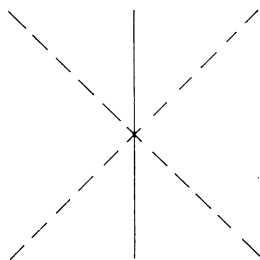
Е — Еже — шестой день творения — созвездие Близнецов. Близнечество Бога и человека. В слове ШЕСТЬ содержится ЕСТЬ, что и значит «еже».

Ж — Живот — седьмой, последний день творения — его значение ЖИЗНЬ. Это созвездие Гидры. Гидру можно разрезать на множество частей, вывернуть наизнанку, она опять возродится.

Божественный треугольник АБВ возведен на прочном четырехугольном основании. Дом завершен: СЕМЬ — ЕСМЬ.



Созвездия — это любовь, восходящая из глубины души в небо. Созерцание их заставляет душу пробудиться от адского сна и выйти из бездны подсознания к жизни вечной. Это очень ясно видно в начертании буквы Живот. В центре — горизонт мировых событий. Линия, разделяющая миры справа и слева. Два световых конуса, сходящихся к единой точке, — миры наш и потусторонний, образующие имя Христа.



Я ставлю рядом семь букв — АБВГДЕЖ — и выбираю свою. Это то свойство моей души, о котором я знаю. А теперь выбираю самую неприятную для меня по начертанию. Это то, что мне надо вспомнить. Что-то очень хорошее, давно забытое и подавленное — истинная природа моей души.

Это лишь начало душевной работы. Вспомнить надо все буквы, все созвездия, давшие им начертания, и тогда из глубин Вселенной на вас глянет ваше человеческое лицо.

Вот я беру букву Р. Что связано в моем сознании с нею?

Псалом «На реках Вавилонских». Он поется в Страстную неделю Великого поста.

«На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, вегда поминути нам Сиона. На вербиих посреде его обесихом органы наши. Яко

тамо вопросиша ны пленшии нас о словесех песней, и ведшии нас о пении: воспойте нам от песней Сионских. Какое воспоем песнь Господню на земли чуждей? Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буде десница моя; прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалимль глаголющая: истощайте, истощайте, до основания его! Дщи Вавилоня окаянная! блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Блажен, иже имет, и разбьет младенцы твоя о камень!»

Проповедь архиепископа Киприана в храме Всех скорбящих радости: «Неправду говорят, что чудотворный образ Богоматери утрачен. Взгляните на небо звездное — это ее лик, вечный чудотворный образ над нами».

«На реках Вавилонских» — это песнь древних евреев, угнанных в Вавилон. Спойте нам свои сионские песни — обращаются к пленникам вавилоняне. Нет, лучше присохнет язык мой к гортани, нежели я забуду Иерусалим и буду петь в чужой земле, услаждая слух своих тюремщиков. И далее немислимое для христианского сознания: дети, рожденные в плену вавилонском от вавилонян, блажен, кто разобьет ваши головы о камень.

«Вавилон — это плен земной жизни. Иерусалим — жизнь небесная, вечная. Младенцы, рожденные в плену, — наши тяжкие прегрешения. Блажен, кто разобьет их о камень веры».

Эту проповедь Киприан произнес в 1974 году. В его очках, обрамленных сединой, отражались все огни храма. Он весь сиял, как небо. Киприан умер не так давно, в алтаре, во время богослужения. Он не имел образования. Его академия — церковь Христова. Буква Р в середине его монашеского имени Киприан напоминает мне Рцы, то есть слушай, внимай всем сердцем: «Рцем вси!»

От всяя души,
от всего помышления
нашего
рцем! —

воскликает протодиакон в наиболее важный и торжественный момент Богослужения.

Такова первая ступень, первый слой воспоминания — восхождение по лестнице Иакова в небо.

Ступень вторая: рука — река. Это мое стихотворение 1979 года «Песнь Парфентия Уродивого».

Руконогорукорек рек:
— Я не руконогорек,
а я носогорлоух —
ух.

Ой, гора-гора-гора!
Ой, река-река-река!
Ой, нога-нога-нога!
Ой, рука-рука-рука!

Космический человек, слитый в единый клубок с горами и реками, — это двое в радости любви.

Слой третий: рокот, рыдание, рдение, руно. Да, руно. Золотое руно. Аргонавты. Оно найдено в Колхиде вблизи Пицунды, где я был в 1978 году на грани открытия звездного кода, анаграммного и метафорического стиха. Золотое руно звездного шифра было найдено мною там, а в руне — руны, тайные знаки.

Перун
рунопреемник
Ра — мира рань

(«Дополненное Евангелие»)

Слой четвертый — радуга. Символ завета человека с Богом. Когда ковчег Ноя метался средь вод, над ним возникла радуга. Бог вспомнил, взглянув на радугу, что обещал спасение Нюю.

Столкновение света и преграды
радугу рождает из воды,
где громов раскаты и разлады
выявляют новые лады.
Эхо красок, раздробясь на блики,
потому что мир бывает плосок,
выявляет солнечные нимбы
на суровой глади древних досок.
Я не знаю, здесь или везде,
я не знаю, громче или тише,
лики, словно блики по воде,
нимбами расходятся все выше.

Слой пятый — роза:

В окруженье умеренно вянущих роз
обмирает в рыданиях лето.
Гаснет радужный крест
стрекозы,
где Христос
пригвождается бликами света.

И еще:

Мы входим в розарий размеренным шагом,
в разгром красоты, где обломки прекрасны,
где розы, как радуги, скомканы Богом,
и красны, и красны, и красны, и красны...
Конечно, все это, быть может, случайно,
все создано в вихре, и в страсти, и в неге.
Парит изначально
над розою чайной
сияющий нимб Ориона и Веги.
Но белое... О, в непомерном зачатье
как выдумать белое в белом сиянье,

какою небесною белой печатью
впечатаны в зрение эти созданья?..

Слой шестой — риза. Золотое, серебряное облачение, стихарь, в котором я прислуживал в угличском алтаре.

На седьмой день Бог почил от трудов своих, и мой Разум, подражая его создателю, лишь утомленно говорит это таинственное слово — Разум.

Итак, вот скрижаль «Азбуки Радости» на букву Рцы:

Река — Телец
Рука — голова Ориона
Руно — Орион
Радуга — Близнецы
Роза — Плечо Водолея
Риза — Водолей
Разум — Гидра.

Это можно обозначить иероглифически.

Телец по волнам уплывает —
это Зевс похищает Европу.
Рука устремляется ввысь
к голове Ориона.
Руно Ориона златое
на небе распято,
и два Близнеца держат радугу
в звездных руках.
Рука Водолея излилась
на розу сияньем,
а сам Водолей облачается в ризу бессмертья.
Мозг Разума в Гидре горит.

Так что же это, как не воспоминание о рае, вытесненное из памяти? Разве река не есть река воды живой? Пьющий из нее не знает жажды. Разве Водолей — Креститель — не простирает свою длань — руку над Орионом? Он крестит его, поливает водой вечной жизни, и тело облачается в водяную звездную ризу нетления. Гидра — символ новой, бессмертной жизни в водах вечной жизни. Радуга над водой — это восстановление завета с Богом, как в дни потопа пришло избавление; роза — Богородица, вымолившая вечную жизнь недостойному существу. Руно — руны — тайные знаки небесного звездного языка, снова обретенные человеком.

И наконец, я вспомнил свой детский сон. Только однажды в жизни я видел во сне Христа. Мне было семь лет. Я видел, как Христос плыл по водам, а впереди, прижимаясь к его груди, спасалась овца. Христос плакал о ней и плыл к берегу. Спасаемую овцою был я, и плакал Христос обо мне. Сон этот я помнил всю жизнь и всю жизнь забывал. И вот сейчас вспомнил: овца — руно.



Наталья ИВАНОВА

Гомо советикус

Об этом времени сказал один зэка:
«Смерть стала роскошью,
смерть стала сверхудобством».
А чем же стала жизнь? Растленьем языка?
Иль похотью души? Или разума холопством?

С. Липкин

I

Во времена цветущего застоя сидела я у себя в Москве и все новости, тем более семейные, знала. А теперь — прилетаю из командировки и застаю дома новость: котенка. Какой-то ранее мне не известной, норвежской породы. По слухам, отличающейся необычайной живостью характера.

Котенку нужно многое, в том числе и свое спальное место. Поэтому, уезжая в Женеву на конференцию, организованную Институтом европейских исследований, я получила из дома задание: привезти коту специальную корзинку, каковых, как, впрочем, и многого другого, в родном отечестве не производят. У своей женевской приятельницы, тоже хозяйки кота, только уже вполне взрослого и самостоятельного, я спросила, где можно такую корзинку купить. Выяснилось, что покупать ничего не надо, так как женевский кот раз и навсегда от корзинки отказался, и что мне надо просто-напросто ее забрать. Где? А в подвале.

Подвал в женевском многоквартирном доме оказался при ближайшем рассмотрении и не подвалом вовсе, а бомбоубежищем, раз-

деленным на отсеки. Для каждой квартиры — свой. Семья, правда, хранит в бомбоубежище дрова для камина и хороший запас вина для гостей... Корзинку мы искали долго, но так и не обнаружили.

Но о визите в подвал я не жалею. Впечатление от свинцовых дверей сильное. Ни один дом в Швейцарии не принимается в эксплуатацию без бомбоубежища. Так мы своей «оборонной мощью» и разветвленной «безопасностью» запугали Европу.

Всю жизнь я живу в Москве, где у меня нет ни подвала, ни бомбоубежища, ни даже корзинки для кота. Но, сколько я себя помню, ведь пугали — и нас. В школе — занятиями по противовоздушной обороне. В университете — военной подготовкой. Мое военное звание после окончания филфака МГУ — рядовой, специальность — медсестра. Правда, нас пугали, но страшно нам не было. На занятиях, доводя майора медицинских войск до истерики, мы играли в мирный «морской бой».

Женевская конференция, на которую я поехала, была сначала назначена на осень 1989 года, потом перенесена на май. Ее предмет — изменения в европейских обществах. За время пролонгации почти все восточноевропейские общества изменились. Изменилось ли наше?..

Не сговариваясь заранее о теме, Анатолий Стреляный и я говорили о смертельной опасности эскалации шовинизма. Об этом же говорил прекрасно знающий и нашу внутреннюю проблематику, и раздражающие нас споры Адам Михник.

Какие бомбоубежища могут защитить узбека в Киргизии? Армянина в Азербайджане? Месхетинца в Узбекистане? Оказалось, что страна не в силах обеспечить самого насущного — защиты человеческой жизни. А, собственно, почему?

Давайте перестанем себя обманывать утверждением, что русский ультранационализм («далее везде» — вплоть до фашизма) есть ответ на национализм окраин. На самом деле он, латентно дремавший в нашем общественном организме после «прививки», произведенной в конце 40-х годов, дал вспышку в виде «Памяти» и родственных ей организаций гораздо раньше национальных движений по защите малых народов, отреагировавших на имперски-националистическое движение в центре, вызванное комплексом ущемленности — близящийся закат и одряхление последней из империй, проигравшей самую колоссальную войну в своей истории, войну против своих народов, длившуюся несколько десятилетий, стал очевиден.

Возник невероятный, казалось бы, альянс: шовинистов, тех, кто напроць не должен бы принимать коммунистической идеологии, — с ярыми защитниками тоталитарной системы. У нас в России — на почве объединяющей их подозрительности к «общему врагу»: «врагам нации», то есть инородцам и демократам.

Именно сейчас, когда центростремительные силы достигли невероятной энергии, от нас зависит выбор: продолжим ли мы упорствовать в изоляционизме и ксенофобии — или выберемся на дорогу общеевропейских ценностей. Сможем ли мы по-настоящему открыть для свободы нашу жизнь — или будем запираť замки. Замыкать от

«чужаков» свою жизнь. Блокировать и дестабилизировать жизнь чужую. Но я все-таки надеюсь на здравый смысл. По крайней мере, мой чрезвычайно умный кот норвежской породы не против ни русской ласки, ни швейцарской корзинки.

А пока... пока задумываюсь: ловко ли звучит сегодня название журнала, в котором я работала: «Дружба народов» (формула-клише из строчки сталинского гимна: «дружбы народов надежный оплот»). По крайней мере, давайте поставим в конце знак вопроса, предлагала я на редколлегии. Или вообще — выберем что-нибудь антилозунговое, нейтральное. Но сотрудники редакции задали мне резонный вопрос: а название «Новый мир» тебя не смущает? А «Знамя»? А «Октябрь»?

Что ж, похерим идею согласия народов вместе со сталинизмом? Или начнем искать, хотя и с большим опозданием, пути нормализации межнациональных отношений? Однако, приглашая писателей из республик, национальных экспертов на «круглый стол», редакция «ДН» отмечает: азербайджанцы не едут, если видят в списках армянскую фамилию. Так же как не едут и армяне, ежели видят фамилию азербайджанскую. (Я не говорю о тех редких представителях того и другого народов, все-таки осмелившихся нарушить эти «национальные правила вражды» и появившихся в редакции: с их выступлениями читатель смог познакомиться в № 6 и 7 «ДН» за 1990 год.)

Как в усугублении, так и в разрешении национального вопроса чрезвычайно многое зависит от интеллигенции. От ее слова. Раздувает, провоцирует она огонь или — гасит. От ее понимания, что без заботы о том, как чувствует себя меньшинство, большинство, становясь агрессивным в защите «национальных идеалов», ошетинивается злобой и просто-напросто теряет облик человеческий. Не скажу — приобретает звериный. Потому что звери бывают очень даже симпатичные. А различные ценности по породам лучше все-таки оставить для котов и кошек.

Так что ж, опять забеспокоятся наши современники и молодогвардейцы, вы — против национальности? Да ничего подобного. Я — не против национальности, я — лишь по поводу импер-(гипер-) национальности, яснее говоря — нацизма, то тут, то там обнаруживающего свое омерзительное мурло. Я — против тех, кто устраивает дискотеку на местах захоронений русских солдат. Пляшет, так сказать, на костях. Против тех, кто уничтожает древние армянские каменные кресты-хачкары. Против тех, кто исподтишка малюет свастику на еврейских надгробьях. И всегда буду против тех, кто унижает, оскорбляет святые национальные чувства людей. Но я хочу разобраться и в том, как мы дошли до жизни такой. Потому что истоки националистической агрессивности лежат и в политике денационализации. Вернее, в агрессивной реакции на эту политику, официально рекомендовавшую себя как «интернациональная» и донельзя скомпрометировавшую это слово.

«Советский народ». Небывалая порода людей — особой ценности. Как бы новая, сверхнациональная общность, о чьем рождении было торжественно объявлено несколько десятилетий тому назад. Превратились ли мы, населяющие это государство, его граждане, в такую общность?

В статье «Гуманизм и современность», написанной в 1922 году (год образования СССР), Осип Мандельштам, которого, по свидетельству Надежды Яковлевны Мандельштам, «величие государственных форм социализма... не ослепило, а скорее испугало», писал об эпохах, которые строят не для человека: «Они говорят, что им нет дела до человека, но что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него надо строить, а не для него». В качестве предостерегающего примера такой государственности он приводил Ассирию и Древний Египет: «...обращаются с человеческой массой как с материалом, которого должно хватить...»

А сегодня «угольный секретарь» (так образно определил А. Мельникова Юрий Черниченко) в выступлении на учредительном съезде РКП проговорился (чуть ли не по Фрейду) о том, что рабочее движение надо... «использовать».

Что определяет особенность «используемого» советского человека — в отличие от других? Прежде всего, в самом эпитете — советский — заключена идеологизированность. Советский человек — это не просто человек той или иной национальности, живущий при советской власти. Советский человек — это человек, не только лояльный по отношению к государству, но и активно «строящий» социализм и коммунизм, «винтик» государственной машины — в отличие от живущего здесь же человека заведомо подозрительного, человека второго сорта, объявленного не советским, хуже того — антисоветским. Свою советскость надо доказать делом: участием в партийно-государственных структурах, безусловной поддержкой всех партийно-государственных начинаний. Советский человек — это как бы метафора всего советского народа, а на самом деле — мутационное следствие миграции и манкуртизации, а также «национальной», то бишь «интернациональной», политики. Коммутант.

Сейчас много говорят о том, что межнациональные конфликты характерны для современного состояния мира, что они перманентно вспыхивают то в Европе, то в Азии, то в Африке; что в этом смысле процесс идет даже в некотором роде утешительный: мол, мы ничем не отличаемся от мировых стандартов... Я думаю, что, конечно, доля истины в этих утверждениях есть, но только — доля, и притом незначительная. На самом же деле мы только лишь начинаем расплачиваться за наши непомерные мессианские амбиции и иллюзии. Одна из таких живучих иллюзий, один из мифов, пропитавший, кстати, сознание многих людей, — это миф о едином советском народе и о советском человеке. Эти два понятия абсолютно взаимосвязаны и практически взаимозаменяемы. Но особенность — и очень коварная — этого мифа состоит в том, что он

одновременно и миф, и реальность. Воплотившийся миф, если хотите. Или мифологизированная действительность. Можно и так обозначить эту химеру.

Почему я употребляю здесь слово «химера»? Для объяснения этого термина (ничего оценочного я в это слово не вкладываю) процитирую известного этнолога Льва Николаевича Гумилева: «Химера — сосуществование двух и более чуждых этносов в одной экологической нише. Обычно химеры — последствия миграции и, как правило, неустойчивы» («Вопросы философии», 1989, № 5, с. 157). Слова «экологическая ниша» в нашем, советском случае читаются как некая насмешка; дабы не сообщать им иронии, следует заменить их так: «в одной социально-исторической системе». О том, что многие этносы, несмотря на общность условий, ощутили не только чуждость, но и враждебность друг другу, свидетельствуют события в Алма-Ате и Сумгаите, Фергане и Баку, Новом Узене и Оше (что дальше? в цепной реакции национальных конфликтов трудно предугадать пункты развития событий). Однако эта враждебность, на мой взгляд, вовсе не свидетельствует о роковом этническом противостоянии — в основе каждого этнического конфликта лежит социально-историческая проблема отечественного тоталитаризма, беспрекословной подчиненности «гордого» советского человека (который «проходит как хозяин...») власти (такая тотальная подчиненность, подтверждает А. Кива в статье «Кризис жанра», опубликованной в третьем номере «Нового мира» за 1991 год, существовала «разве только в рабовладельческом обществе»). Свидетельства политизированных пестрят упоминаниями о «литовских националистах», «украинских националистах», «эстонских националистах», крымско-татарских и т. п. Гордость за свою нацию распределялась отнюдь не поровну. Гордиться официально позволено было — с конца 30-х годов — только русским. А украинцам, например, — уже нельзя, о чем свидетельствуют судьбы Микола Руденко, Василя Стуса, десятков украинских «националистов».

Миграционные процессы в СССР были целенаправленной внутренней политикой системы, видевшей в каждом человеке, приверженном своей истории и культуре (кроме великой русской, из которой исключалось подлинное богатство культуры и которой, тем не менее, советский человек обязан был официально гордиться), кровного врага и антисоветчика.

Миграция в СССР шла не только этническая, хотя по числу механически переселенных народов, я полагаю, мы чуть ли не обогнали великое индоевропейское переселение, экспроприировав не только средства производства, но и сам Божий промысел. Миграция шла и классовая — на место уехавших в эмиграцию или высланных специалистов, на место уничтоженных — сначала дворянства и духовенства, а затем и интеллигенции — призывались все новые «наборы». Я уж не говорю о «раскулачивании», о переселении миллионов крестьянских семей, вырванных из толщи своей культуры и микро-социальной среды. Шел грандиозный процесс деструктуризации общества, превращения его в единую послушную пластилиновую

массу, люмпенизации гражданского населения страны. По подсчетам Е. Старикова («Знамя», 1989, № 10), за время существования советской власти десятки миллионов человек сменили место жительства. Прибавим к этой колоссальной цифре еще около семи десятков миллионов погибших от репрессий, затем — жертв Великой Отечественной войны — для того, чтобы масштабы демографических изменений стали еще более впечатляющими.

Нравственность? Нравственности был нанесен урон тяжелейший, и последствия этого урона — уродливо сформированный менталитет миллионов людей нескольких поколений. «Сомнительные с точки зрения нравственности, гуманности, социальной справедливости в ее общечеловеческом понимании многие революционные лозунги и призывы вроде «Кто был никем, тот станет всем», «Грабь награбленное!», «Бей буржуев», культивирование классовой ненависти, непримиримости к «врагам народа» глубоко внедрились в сознание общества» (А. Кива, «Новый мир», 1990, № 3, с. 208). Что же до рабочих, класса, именем которого клялся режим, то, по верному замечанию доктора философских наук Л. Ионина, «это были бывшие крестьяне, потерявшие связь с землей, с традицией, но не сформировавшие собственной культуры. Но именно эти люди, лишенные корней, нравственной базы, устойчивых жизненных навыков, в согласии с буквой марксистского учения были объявлены солью земли, носителями высшей культуры» («Аргументы и факты», 1990, № 24). Итак, рабочие — это в основной своей массе люмпенизированное крестьянство; в деревне, собственно говоря, практически произошло то же самое, только с еще большими потерями. Интеллигенция, до революции жертвовавшая собой ради «народных интересов», оказалась растоптанной сапогами — нет, не только Сталина, нет, не только партии (или «внутренней партии»)… Безвременно умерший философ и прозаик Владимир Кормер, с чьим романом «Наследие» нас познакомил «Октябрь», в работе 1969 года «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» совершенно справедливо писал: «...Советская идеология сама есть дело рук интеллигенции. ...Интеллигенция не смела выступить не только оттого, что ей не давали этого сделать, но и оттого в первую очередь, что ей не с чем было выступить. Коммунизм был ее собственным детищем» («Вопросы философии», 1989, № 9, с. 71). Интеллигенция постоянно поддавалась все новым искушениям («„Ты рядом, даль социализма!“ — это упоенное восклицание поэта...»), а затем покаянно „всю свою дальнейшую жизнь“ употребляла „на то, чтобы смыть с себя позор этих строк“ (там же, с. 77). Интеллектуальная элита и здесь, и на Западе вступала в союз с чернью, образованной из народа тоталитарным режимом. Искусство, культура? Они и насаждались под известным лозунгом «Искусство должно быть понятно народу».

Ответственности художника посвящена глава из замечательной книги немецкого философа Ханны Арендт «Происхождение тоталитаризма», книги, переведенной со времени ее создания — 1951 год — на множество языков мира, до последнего часа — кроме русского.

Теперь глава из этой книги напечатана в журнале «Иностранная литература» (1990, № 4). «Тоталитаризм у власти, — пишет Ханна Арендт, — непременно замещает все перворазрядные таланты, не зная на их симпатии и к нему, фанатиками и дураками, недостаток умственных и творческих способностей у которых остается лучшей гарантией их послушания» (разрядка моя. — Н. И.).

Стандартизация, усреднение жизни посредством перемешивания масс населения, в которое превращались народы, насильственное «омассовление» и дегуманизация культуры были и предпосылками, и сущностью тоталитаризма, чья победа в нашей стране была единственно реальной из планируемых побед всех возможных «измов».

3

В отличие от И. Шафаревича, популяризовавшего обновленную коричневой краской теорию о «малом народе», якобы планировавшем и осуществившем свой заговор насилия над «большим народом», я, анализируя все новые и новые документы, свидетельства, воспоминания очевидцев террора, не могу не задуматься не только над жертвами, но и над палачами, в которых превращались массы победившим тоталитаризмом. Ведь этот режим благословен отнюдь не только для «вождей»; этот режим осуществляет общественный договор между массой и вождем. И масса, подписывавшаяся под всеми призывами к расстрелам, масса, вовлеченная в кровавое колесо массового же убийства, масса, благословлявшая это убийство, на мой взгляд, также несет вину за происшедшую трагедию (а отнюдь не только Сталин, его ближайшее окружение или даже партия). Стремление сегодня свалить всю вину на часть общества, в то время как от лица народа («весь народ, как один человек») благословлялись убийства, являются не чем иным, как стремлением уйти от исторической ответственности и национального раскаяния, без которого невозможно и искупление, и поворот от «окаянных дней» к новой жизни. «Так не эти ли толпы, — справедливо спрашивает читатель Иван Щербаков из Ленинграда, — кричали Пилату, выведшему на суд народный Христа: «Распни Его, распни! Кровь Его на нас и детях наших!»? Не такие же ли массы шли сначала на штурм Бастилии, а потом топили женщин и детей в реках? Не они ли шествовали колоннами по Красной и другим площадям в 1937—39 годах, скандируя: «Смерть шпионам!», «Расстрелять троцкистско-бухаринских выродков!», не они ли сбрасывали колокола с храмов, глумились над иконами, взрывали церкви?» («Век XX и мир», 1990, № 4). Или — в очередной раз — будем себя утешать тем, что не мы, а они виноваты, опять искать козлов отпущения, хоть бы и в «малом народе», хоть бы и в Сталине?..

Нет, не в Сталине дело и не в Ленине — дело в нашей массовой психологии, сознании и подсознании, опоре как национал-социализ-

ма, так и нашего, назовем его хоть казарменным, хоть развитым, каким хотите.

Перенесемся на мгновение из 30-х годов в 70-е. Уже — в н а ш е время. Или, если угодно от времени отречься, — во время, текущее при нас, на наших глазах.

Елена Георгиевна Боннэр вспоминает, что после публикации в «Известиях» 3 июля 1980 года письма четырех академиков поднялась буря писем от советских людей, гневно осуждающих Сахарова. «Пошел поток писем — 20 в день, 50 в день, 70, 100, дошло до 132-х в один день... Сахарова ругали и клеймили всячески, письма были индивидуальные и коллективные. Когда мне друзья говорят, что они инспирированы, я могу противопоставить этому только свою абсолютную уверенность, что это пишет советский народ... Много священнослужителей, много пенсионеров, большинство — ветераны войны... Многие письма (после публикации в «Смене» клеветнической статьи Н. Яковлева. — *Н. И.*) стали антисемитскими» («Нева», 1990, № 5, с. 133).

Осенью того же года Е. Боннэр чуть не выкинули из поезда — и кто?

«В купе кроме меня были еще две женщины средних лет и один мужчина... «Вы жена Сахарова?» — «Да, я жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова». Тут вмешался мужчина: «Какой он академик. Его давно гнать надо было. А вас вообще...» Что «вообще» — он не сказал. Потом одна из женщин заявила, что она советская преподавательница и ехать со мной в одном купе не может. Другая и мужчина стали говорить что-то похожее. Кто-то вызвал проводницу. Уже все говорили громко, кричали. Проводница сказала, что раз у меня билет, то она меня выгнать не может. Крик усилился, стали подходить и включаться люди из других купе, они плотно забили коридор вагона, требовали остановки поезда и чтобы меня вышвырнуть. Кричали что-то про войну и про евреев... Гнев и любопытство, наверное, были одинаково сильны». А. Д. Сахаров в своем дневнике заключал по поводу этого эпизода: «Столкновение в поезде 4 сентября было, конечно, спровоцировано несколькими гебистами, но большинство пассажиров, кто по охотке, кто из страха, приняли участие в общем крике...» (там же).

А ведь задолго до такой остервенелой реакции, по свидетельству Н. Я. Мандельштам, отношение простых людей к жизни и судьбе репрессированных режимом было совершенно противоположным. Как могли милосердно поддерживали, помогали, добросердечно утешали, делились последним. Это была подлинно народная, святая реакция души народной, всегда с точки зрения высшей справедливости безошибочно отделявшей невинно страдающих. Как же надо было «потрудиться» режиму над народом, чтобы добиться от него оголтелой ненависти, чтобы деморализовать людей, привить им уголовную и блатную психологию — прогнав через лагеря и тюрьмы миллионы людей — с помощью тоже миллионов... «Вызывало восторг не мастерство Сталина или Гитлера в искусстве лжи, — замечает Х. Арндт, — а то, что они сумели организовать массы в единый

коллектив, способный поддерживать их ложь с внушительным великолепием». Тоталитаризм стал возможным там, где были разрушены нормальные общественные связи и институты, социальная микросреда.

Да, «толпа, погром, фашизм — как все сходится в нашем мире к одному» (Е. Боннэр). А ведь народ, у которого вырваны корни, народ, который разрушает свои храмы, народ, обработанный режимом, при таких условиях способен превратиться в толпу — недаром в словаре Даля эти слова не удалены одно от другого. В журнале «Вопросы философии» наконец была напечатана находившаяся недаром у нас ранее под запретом работа испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». В ней он исследует грозное явление современности, XX века: власть масс именно в тот момент, когда Европа переживала свой самый тяжкий кризис. «Толпа — понятие количественное и видимое, — пишет Ортега-и-Гассет. — ...Масса — это множество людей без особых достоинств. Это совсем не то же самое, что рабочие, пролетариат. Масса — это средний, заурядный человек. Таким образом, то, что раньше воспринималось как количество, теперь предстает перед нами как качество; оно становится общим социальным признаком человека без индивидуальности, ничем не отличающегося от других, безличного „общего типа“».

В нашем обществе основополагающей чертой характера такого «общего типа», или «советского человека», был прежде всего страх. Недаром А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» по отношению к нам (да-да, вы не ошиблись, именно к нам, то есть и ко мне, и к вам!) употребляет постоянно слово «кролики»: «чего не скажешь о кроликах, нас», «мы, кролики, опять промолчали» и т. п. О том же пишет и В. Кормер: «Человек ощущал себя червем, он заползал в щель, он вытраивлял из себя все человеческое, равняясь на последнего мерзавца. Страх был непереносим». Недаром и Ф. Искандер обозначил нас именно кроликами в своей философской сказке «Кролики и удавы». И недаром Г. Жженов, сам прошедший через отечественный концлагерь, с его-то опытом зэка, признался Е. Г. Боннэр (они случайно ехали в одном купе по все той же дороге Горький — Москва) в своем страхе... зайти к ней домой на чашку кофе: «Боюсь, и все». «Страх ни в чем убедить нельзя и ничем — ни словом, ни делом, — замечает по этому поводу Е. Г. Боннэр. — Преодолеть страх можно только самому».

А где ее взять, эту с а м о с т ь, это драгоценное качество с а м о с т о я н ь я, в котором Пушкин единственно и видел достоинство человека, если... опять-таки «мы все, советский народ, как один человек»?

Да, были (и есть) замечательные люди и среди рабочих, среди крестьян, были л и ч н о с т и, которые все понимали, на которых не действовали одурманивающие лозунги типа «Да здравствует великий советский народ», развешанные по всем райкомам и сельсоветам. Но эти люди немедленно объявлялись врагами и отщепенцами. «Кто выглядит не так, «как все», кто думает не так, «как все», тот подвергается риску стать изгоем. Конечно, эти «все» — еще далеко не

все. Все без кавычек — это сложное единство однородной массы и неоднородных меньшинств. Но сегодняшние «все» — это только масса. Вот страшный факт нашего времени, и я пишу о нем, не скрывая грубого зла, связанного с ним» (Ортега-и-Гассет, 1930 год).

4

Для таких стран, как Америка, испанский философ представлял характерным в эпоху «восстания масс» господство «вульгарной, мещанской души, прямо заявляющей свое право на посредственность». Надо сказать, что в данном случае он был прав лишь отчасти — в Америке возобладало не вульгарное, а прагматическое сознание, с известной прагматичностью впитавшее и утонченную европейскую культуру. В Европе же (включая и Россию, хотя мои европейские коллеги не вполне охотно ее туда допускают) последствия «восстания масс» были несравненно более разрушительными — как для культуры материальной, так и для нравственного здоровья. Постреволюционный век стал веком упадка человека в нашей стране. Упадка, особенно разительного в сравнении с «золотым» для русской культуры XIX веком, гордым наследником которой совершенно неправомерно себя объявил советский человек. И действительно, иногда посещает сознание совсем уж печальная идея, что мы и люди, жившие здесь сто — сто пятьдесят лет тому назад, наши пра- или прапрадеды, принадлежим к совершенно разным этносам. Мы, сегодняшние русские, и те русские — все равно что греки и древние греки...

Нет, вовсе не миф «советский человек». Вот, например, судьба поэта, чей голос ясно звучал в голодном осажденном Ленинграде, поднимая дух сограждан. А до войны, в конце 30-х, она же, Ольга Берггольц, была арестована, отсидела (хоть и не так долго, «всего-то» 171 день) в тюрьме; у нее случился там выкидыш; вот ей почти каждую ночь снится тюрьма, арест, допросы (дневник Ольги Берггольц, 4 сентября 1939 года). К очередной годовщине Сталина у нее, уже прозревающей («твоя вина!»), не взяли в газету «стишок о Сталине», который она сочинила, как выясняется, еще сидя в тюрьме. «И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя!»

И именно ей, красавице, умершей впоследствии от алкоголизма, были посвящены еще в начале 30-х знаменитые строки убитого в тюрьме ее первого мужа, Бориса Корнилова, строки, которые распевала как песню любимую «вся советская страна»: «Не спи, вставай, кудрявая...»

«Эпоха масс — эпоха массивного» — афоризм все того же Ортеги.

Надо было отказаться от личного, от индивидуального. Все «малое» и «личное» полагалось изначально порочным и мещанским; все «большое» и «грандиозное» — общественно полезным и, конечно же, прекрасным.

Смятенное народное сознание «избавляли» от фольклора, заменяя его псевдонародными развеселыми частушками и грубо стилизованными песнями. Русские народные танцы, плавные и степенные, подменялись потогонными плясками «народных ансамблей». Место разветвленной науки о русском национальном костюме (у каждой области — свой) занял обобщенный псевдорусский сарафан невероятного цвета и размера. Нить крестьянской культуры была оборвана. Нить культуры дворянской — тем более. Пролетарской культуры, как таковой, вовсе не существовало, ее следовало изобрести в противоположность некоей столь же загадочной «буржуазной». Так в столкновении и борьбе фантомов закладывались основы культуры советской, главными чертами которой были монументализм, военизированность, ориентация на «светлое будущее», культ юности. И уж, конечно же, — вненациональность (под эвфемистическим лозунгом о «национальном по форме, социалистическом по содержанию»). Все эти признаки должны были успешно сочетаться в тех произведениях, которые создавались методом социалистического реализма.

Я, кстати, отнюдь не разделяю модного нынче мнения, что соцреализма вовсе как бы и не было, что это фикция, «фу-фу», как говаривал Чичиков о мертвых душах. Нет, он, то бишь соцреализм, а не Чичиков, не только существовал, но и оставил более чем весомые и материальные свидетельства своего существования. Можно совершать многочасовые экскурсии по этим свидетельствам — как в нашей стране, так и за рубежом. Целый заповедник искусства соцреализма на ВДНХ: могучие девушки и мускулистые юноши, держащие в руках полновесные снопы из колосьев пшеницы; застывшие в тупом величии быки и коровы; высохший фонтан «Дружба народов» с примитивной национальной символикой. По нашим паркам и пионерлагерям доживают свой век девушки с веслами, мальчики-горнисты, девочки, отдающие пионерский салют, — этот набор гипсовых уродцев создан немалым отрядом отечественных соцреалистов. Я уж не говорю о покрашенных серебряной или бронзовой краской уродцах, украсивших заплеванные провинциальные площади.

Но ведь по инерции это все продолжается — несмотря на то, что сам народ теперь уже отвернулся от предложений соцреалистов по сооружению памятника Победы. Устрашающий памятник Ленину на Октябрьской площади водружен уже в наши дни. По «традиции» Ленин здесь стоит грудь колесом, настоящий богатырь! А памятником Ильичу в Дубултах (Юрмала), чудовищным по грубости, можно только пугать детей. На берегу Волги видали, говорят, и Ленина, у которого правая вытянутая рука в два раза длиннее левой... В Костроме монумент Ленину умудрились, по слухам, воздвигнуть на постаменте... бывшего памятника трехсотлетию дома Романовых. Здесь фигурка Ленина совершенно не соответствует раскидистой мощи постамента. В той же Костроме старинный памятник Сусанину сбросили в Волгу как царский, а поставили новый, советский, массивный и невыразительный: типичный соцреалистический Сусанин да еще и стоит-то неподалеку от обкома... Если, скажем, свезти всех их в одно место, расставить на площадках той же ВДНХ, то за такую

экспозицию искусства тоталитарной эпохи можно выручить много валюты у западных туристов, от которых отбою не будет, я вас уверяю. Как не было отбою от посетителей в Риге — на аналогичной выставке живописи, скульптуры и плаката. А Дворец советской науки и культуры в Варшаве? А пародия на высотный дом, до сих пор украшающая собой Софию? Нет, не дремали мастера соцреализма, энергии у них было много — и в кинематографе, и в литературе этот имперский метод сращения искусства с идеологией оставил неистребимые следы своего господства.

Советский человек с молодых ногтей вываривался в котле этого искусства. Он изучал в школе «Счастье» Павленко и «Поднятую целину» Шолохова, «Хорошо!» Маяковского и «Педагогическую поэму» Макаренко. Писал выпускное сочинение о положительных образах. В кино ему позволено было наслаждаться «Путевкой в жизнь» и «Светлым путем», в крайнем случае — «Весной» (названия-то все светлые, как на подбор). С плакатов на него доброжелательно и требовательно смотрели седоусые рабочие и женщины без возраста (чуть не сказала — без пола) в красных косынках. И ему, зрителю, читателю, простому советскому человеку, внушалось, во-первых, что все это хорошо, а во-вторых, что это и хорошо-то лишь потому, что ему, простому советскому человеку, все понятно. И самое главное — ему внушалось полное единство понятий государства и русской нации; имперская идея настойчиво объединялась в сознании миллионов людей с идеей русской:

Нет в мире подобных России раздольной,
Цветов наших ярче и крепче пород,
Бессмертен народ наш, великий и вольный,
Наш русский, наш вечный, наш гордый народ!

(А. Прокофьев)

Русский народ, живший в нищете и бесправии, отравленный «духовной пищей», подобной процитированным стихкам, должен был испытывать одно чувство: чувство полного удовлетворения.

Остальные народы, те, которых «сплотила навеки великая Русь», должны были испытывать еще одно чувство: чувство бесконечной признательности русскому народу. На этом строилась «вековечная и нерушимая» дружба, горькие плоды которой мы пожинаем сегодня.

5

В издательстве «Советский писатель» вышел из печати сборник «Избавление от миражей. Соцреализм сегодня», в котором опубликовано письмо-воспоминание И. Гронского, откровенно рассказывающего о том, как сам этот термин (соцреализм) был изобретен Сталиным и в каких целях: в целях «художественной политики партии». От основ этой «политики» мы, слава Богу, избавляемся сегодня; но и впадать в благодушное настроение рановато: началь-

ственно-партийное стремление «руководить» процессами в литературе, насильственно идеологизировать литературу в имперско-русифицированном направлении и по сей день откровенно читается в документах, исходящих из Секретариата Союза писателей РСФСР. Симулянтская литература официоза, пытавшаяся подменять настоящую, представляла собой громоздкую, тщательно разработанную иерархическую структуру, в которой присутствовали все уровни, все жанры: проза и поэзия, драматургия и документалистика, эссеистика и, конечно же, обслуживающая ее критика. Создавались многотомные исторические эпопеи и производственные романы, маленькие повести и короткие рассказы, поэмы и стихотворные циклы.

Нельзя сказать, что авторы их не трудились — нет, они работали в поте лица своего, а потом еще и давали всяческие интервью, и выступали перед читателями, и участвовали в «дискуссиях». На страницах «толстых» журналов, в литературных газетах постоянно организовывались псевдоспоры, споры-фантомы: о положительном герое, о взаимоотношении прозы и поэзии, о гражданственности и партийности, о народности и эпичности. Работал огромный механизм, производивший идеологическую мертвечину. А критика? О творчестве Г. Маркова было выпущено семь (!) монографий, несколько — об Ан. Иванове, П. Проскурине, А. Чаковском, В. Кочетове... Сейчас уже много написано гневных статей на тему о «тиражах и миражах», — нет, борьба нынче идет не за тиражи, а за существование. Симулянтская литература перед лицом воскресших вопреки ее воле (вспомните крики о «некрофилии») романов и повестей Платонова и Шаламова, Булгакова и Замятина, Пастернака и Домбровского, Пильняка и Гроссмана, перед лицом ахматовского «Реквиема», стихов и прозы Мандельштама и Цветаевой не просто съезжилась — она показала свою полную неконкурентоспособность, более того — мертвость. Маски спали, обнажилась суть. И ведь не только в одиозных и полностью бездарных фигурах здесь дело, а и в тех, кто был одарен и даже талантлив, но поставил свой талант на службу идеологии — пусть даже не в полном масштабе. Мне трудно представить, что я когда-нибудь возьму с полки и перечитаю (для души) какой-нибудь из романов даже К. Симонова, например, чей десяти томник стоит у меня рядом с десяти томником Л. Леонова, к которому уж тем более никогда не потянется рука.

«Советская литература» имела, конечно, огромный диапазон внутри себя самой — от откровенной халтуры до вещей, безусловно, созданных талантливыми людьми, но идеологизированных и оттого — ограниченных и не переживших момента своей публикации. Итак, «мертвые», казалось бы, произведения, забытые, затоптанные, уничтожаемые, похороненные, воскресли, а «живые» заостенели, омертвели на глазах читателя. Ситуация драматическая — особенно для тех, скажем так, «пятидесятилетних» ныне писателей, которые сформировались духовно еще в «той» атмосфере, — я имею в виду тех, кто не нашел в себе достаточно сил для внутреннего сопротивления (как все-таки нашли их В. Маканин и Р. Киреев, А. Курчаткин и А. Ким, хотя и им сегодня трудно), а принял «правила игры». Вещь

эта очень опасная и самообманная: принять правила игры. Ведь очень часто человек обманывает не власть, а прежде всего себя самого, ему кажется, что он верно выбрал тактику и, проникнув в лагерь псевдо-литературы, «взорвет» его изнутри. На самом деле, увы, все получается иначе: гигантская структура сначала обволакивает его почти незримой, такой легкой паутиной всяческих связей, казалось бы, не очень и важных, а потом получается, что она-то его, «тактика» великого, и подмяла под себя, и уже из этой липкой золотящейся паутины не вырваться, и кровь уже подменена, и коготок увяз, и... всей птичке пропасть.

К чему приводил этот самообман? Не только к конформизму, но — к вещи еще более саморазрушительной: к духовному коллаборационизму. Эта нравственная зараза поразила отнюдь не только худшую, бездарнейшую часть интеллигенции. Механизм духовного коллаборационизма был до цинизма прост: например, написать пропагандистское предисловие к изданию запрещенного поэта и тем самым — способствовать его приближению к читателю. Нравственные последствия при этом не учитывались.

Эту механику самообождения «тактикой» я изучила на себе самой: несколько лет я проработала в старом «Знамени» с идеей: я буду противостоять «плохому», а способствовать «хорошему». Так «плохое» все равно шло в набор, минуя меня, просто и грубо: «сверху», а на мое «хорошее» был отряд запретителей. И что же? Каков баланс? Отнюдь не в мою пользу.

А язык?

6

О, язык этой литературы тоже специфический, тоже советский, а не русский. Недаром талантливый прозаик из практически не печатавшихся в прошлом Геннадий Головин недавно заметил: «Ведь Чехов и Толстой писали в нашей стране, на нашем языке», а теперь у многих писателей «словарный запас две тысячи слов, не больше». Он полагает, что языковая бедность современной литературы оттого, что «авторы мало работают над словом» («Книжное обозрение», 1990, № 24). Я же думаю, что причина глубже, что она коренится именно в нашем советском менталитете, что нам и не нужна была богатейшая русская лексика — из самой жизни она исчезла. В фильме Киры Муратовой «Астенический синдром» героиня в конце ругается матерно; в фильме Ст. Говорухина «Так жить нельзя» разговаривают так, как говорить по-русски нельзя! И это все — мы, наше сознание, наш язык. И ленинградские «митьки» с их уже до абсурда доведенным языком, в котором и осталось-то только... «дык, елы-палы», прямо отражают языковую реальность, господствующее в стране косноязычие, заменившее немотствование общества в такой огромной стране.

Драгоценный язык первой волны эмиграции, возвращаемый нами сегодня благодаря публикациям прозы и стихов В. Набокова,

В. Ходасевича, Г. Иванова, З. Гиппиус и других, — это совсем другой язык, с богатейшей лексикой и изысканным синтаксисом. Утраченный нами, говорящими не на русском языке, а на каком-то сленге. Этот язык передавался не только с языком и культурой матери (в драматических, покаянных воспоминаниях великого русского актера Евгения Лебедева меня потрясла одна деталь: первое, что видел младенец, что он ощущал сосущими губами, был крест на груди матери), не только с кровью, но и с молоком кормилицы. Вспомним стихи Ходасевича, посвященные крестьянке Елене Кузиной, кормилице:

И вот Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Ходасевич чувствовал утрату поэзией языка, верил в его возрождение и пророчествовал: «Разрушенные члены русского языка и русской поэзии вновь срастутся». Но как долго будет идти этот мучительный процесс — Бог весть. В статье конца 20-х годов «Помпейский ужас» я нашла мысль, трагически соотносимую с судьбой нашего языка: «Страшно здесь не количество, а качество умираний». И еще, в «Записной книжке» запись от 25 июня 1921 года: «Боюсь, что и русский - то язык делается тогда мертвым, как латынь». Чудовищный урон языку русскому принесла «лагерность», не только то, что через лагеря и тюрьмы вместе с уголовниками были пропущены миллионы людей, но то, что людям, по верному замечанию Б. Хазанова, было привито «криминальное сознание».

Сегодня попыткой возвращения к настоящему русскому языку видится мне (из «текущей» словесности) проза Михаила Кураева. В последней вещи — «Маленькая домашняя тайна. Из семейной хроники» — автор настаивает на попытке «спасти от захирения и увядания старинный и почтенный жанр», а спасает — вместе с жанром — и его плоть, язык. История двух пожилых людей, вся жизнь которых старалась пройти по касательной к режиму, людей, которых этот режим, как Медный Всадник — бедного Евгения, пытался догнать и унижить, — новый отечественный вариант вечного, увы, русского сюжета о «бедных людях». И недаром, я думаю, М. Кураев в предыдущей своей маленькой повести, «Ночной дозор», транспонировал язык на два голоса: штатного гебиста (советский язык) и неведомого автора, восхищенного красой белых ночей своего города, лирика, говорящего на пластичнейшем русском языке. Этот контраст двух неслиянных языков лучше всех инвектив говорит нам об утраченной культуре (и мне искренне жаль, что критики, заметившие эту повесть, отнесли ее ко «второму голосу» в лучшем случае с оттенком

легкого недоумения — мол, зачем он здесь понадобился). Вернуть присущие русскому языку утраченное благородство, опрятность и сдержанность, воскресить его от паралича можно лишь с возвращением благородства сознания. Еще 20 мая 1921 года Ходасевич записал в дневнике: «Коммунизм — внутри нас». Так же, внутри нас, — и язык.

Родина, степь да степь,
Мат-перемат с детсада...

Я уж не говорю о языке наших государственных и политических деятелей, — этот особый сюжет оставляю для следующей статьи.

Замечу лишь вкратце, что, на мой взгляд, большинство нынешних государственных деятелей свободно по-русски не изъясняются, а продолжают говорить на партийно-советском «диалекте». И пока от этого «диалекта» они не избавятся, полного взаимопонимания с теми, кого они упорно продолжают называть «наши люди», не будет.

Да, слово начало пробуждаться, но от «дык, елы-палы» к русской речи путь долгий, да и дойдем ли мы когда-нибудь, сомневаюсь. Нет, соцреализм — не миф; и в прекрасном сборнике, выпущенном в 1990 году, мне не хватает последних свидетельств бытования идеологии соцреализма внутри писательского подразделения, то бишь российского Секретариата.

Если б только Секретариат!..

Это было бы большим утешением.

Нет, вовсе даже и «рядовые» могучего союза (как с маленькой буквы, так и с большой) демонстрируют свою приверженность идеологическим заветам (равно как и запретам) соцреализма. Они — истинные духовные наследники разврата душ, происходившего в течение десятилетий, — душ и языка. Язык ведь все выдаст, все обнажит.

В письме, присланном в поддержку «письма 74-х» писателями Новосибирска, читаю текст, достойный пера сатирика: «Многолетний опыт работы новосибирских писателей, внесших заметный вклад (именно так — о себе самих, родимых! — *Н. И.*) в развитие литератур народов Зауралья, укрепление межнациональных культурных связей, развитие русской литературы дает нам (и в третьем лице о себе, и в первом — хороши стилисты. — *Н. И.*) основание заявить, что в этот трудный час мы твердо будем стоять на позициях российского патриотизма и традиций великой русской культуры» («Литературная Россия», 1990, № 19). А вот и голос «жителей города Минска», как они себя рекомендуют: «В нем (в письме 74-х. — *Н. И.*) глубоко и правдиво вскрываются силы (так! — *Н. И.*), которые под видом «плюрализма» злобно клеветают на прошлое и настоящее России... Мы с гневом наблюдаем... Требуем прекратить... Требуем прекратить...» — узнаете лексику? Словарный состав группового «советского» мышления 30-х годов до наших дней практически не изменился. «Как мать говорю и как женщина — требую их к ответу», —

замечательно пародировал этот стиль «мышления» Александр Галич. Раньше они же «требовали заклеить» тех, кто «злбно клеветает» с Запада; теперь в родных палестинах нашли себе врагов. Раньше этот истерический псевдопафос был направлен против «отщепенцев от социализма», теперь — против «отщепенцев от России». Читаю дальше подборку писем: «От своего имени и от имени членов...», «всецело поддерживаем», «аргументированно противостоят разного рода вредоносным «мозгам» типа...» — перечисляются неугодные, мягко говоря, имена; «призываю честных людей возвысить свой голос...» Читают ли они то, что пишут? Думают ли при этом — хотя бы о судьбе русского языка, под их пером вырождающегося в монстра? «Краеведы единодушно высказались в поддержку... выразили удовлетворение по поводу участия...» Русские, владеющие великим русским языком, где вы?

Не на русском языке все это написано, а на советском. Впитанном не с молоком матери или кормилицы, не с хлебом духовным великой русской литературы, а впечатанном советскими газетами, травившими буквально в тех же выражениях великих русских писателей — Ахматову и Зощенко. Кстати: обдумывая эту статью, я впервые прояснила для себя самой, почему же столь несходные писатели были объединены ненавистью идеологической власти. Да потому, что Ахматова блестяще владела русским и развивала его, а Зощенко блестяще — и первым! — уничтожающе пародировал и объективизировал косноязычие языка советского. Из всех публицистических статей Л. К. Чуковской, в последнее время напечатанных в журнале «Горизонт», больше всего меня потрясла не выступления советских писателей, исключавших ее из своих «рядов», а кипящие неприязнью по отношению к Пастернаку, которого он, конечно же, не читал, слова обычного советского молодого шофера (статья «Гнев народа»).

Нет, не на могучем русском языке все эти слова произносились и писались (пишутся). Не обманывайте себя, дорогие новосибирские писатели, — вы пишете на советском языке, вернее, новоязе, и вы действительно «твердо стоите на позициях», только не великой русской культуры, а субкультуры советской, которая насильственно вытесняла или пыталась подменить собой как русский язык, так и русскую литературу в целом. Эта лексика берет начало в процессах 30-х годов, в лексике палачей типа Вышинского. Совершенно справедливо замечает в «Страницах одной жизни (штрихах к политическому портрету Вышинского)» А. Ваксберг, характеризуя кровоточащую «устную литературу» своего героя: «стремление придать тошнотворной, но, увы, обыденной уголовщине политическую окраску... промелькнут и „агенты“, и „лазутчики“, и „духовные диверсанты“, и „всевозможный буржуазный смрад“». Вот из каких ядовитых корней произрастает тот советский язык, которым до сих пор не брезгают пользоваться не только писатели, но, как показал Учредительный съезд РКП, и «простые советские люди».

Поразительное косноязычие новоизбранных депутатов — как российских, так и всего Союза — объясняется не отсутствием мысли

(она большей частью присутствует!), а воспитанием в языковой среде, как раз и созданной нашей советской литературой, в том числе теми, кто громче (и штампованней) всех кричит сегодня о великих русских традициях. И лексика наших государственных и партийных деятелей полностью отражает, увы, этот советский менталитет — самое отягчающее наследие тоталитарной системы.

Если румынские шахтеры смогли взять в руки железные прутья против студентов, разгромить штаб-квартиры оппозиционных партий, а отечественные средства массовой информации сначала с восторгом об этом позоре сообщили, а потом, словно слегка застыдившись, начали прикрываться, как фиговым листком, «реакцией западных средств массовой информации», то, спрашиваю, какой политический и культурный менталитет сохраняется (и — формируется) сегодня?..

Да, русский язык стоит перед опасностью полного вырождения. А посмотрите на лица, которые нас окружают, внимательно взгляните в лица офицеров высшего состава, весело аплодирующих словам А. Макашова о том, как славно порубали наши деды «этих дворян» в гражданскую! Сравните их язык (и их лица) с языком и лицами тех русских воинов, чьи портреты недавно были выставлены в Ленинграде, — разница просто дьявольская. И то, что произошло с нашими лицами, с нашей культурой, с нашим языком, — это историческое возмездие за «рубку дворян» и «раскулачивание» крестьян, за расстрелы священников, за насильственную русификацию республик, за Будапешт 56-го, за Прагу 68-го, за Вильнюс и Ригу января 91-го... перечислять можно долго. Это — расплата, о которой точно сказала Инна Кабыш:

А за окном — просторная дорога
и, как на демонстрации, народ,
но в венчике пред ним не видно Бога:
их разлучил случайный поворот.

А раз народ, великий и могучий,
идет заре навстречу не с Христом —
неважно как: шеренгой или кучей, —
тогда я не с народом. Я с листом.

Так что же, спросят меня прямо и строго: ты — против народа? Вообще нет. Ответу: я — против фантома, ибо понятие «советский народ», которым ловко манипулировал режим, многострадальный истинный народ наш столь «успешно» самоистребялся и одновременно наливался имперской спесью, — я считаю фантомным понятием. И недаром оно исчезло в мгновение ока — в армянском, азербайджанском, крымско-татарском варианте... И литовский, и латышский, и эстонский народы проявили могучий инстинкт самосохранения — в борьбе отнюдь не против русского народа как такового, тем более — не против русской культуры, а против люмпенизации народа собственного.

Что же может нас спасти от окончательной люмпенизации? Спасение народа — в его собственных руках. Только очнуться и задать

себе самим, например, такую загадку: а почему же и в XVIII, и в XIX веках не от нас стремились убежать, а у нас остаться (как нынче стремятся наши — в Америку, так тогда стремились к нам, в Россию)?

А пока... Пока у нас самих в доме худо, что же делать?

Вспомните юную Валентину из пьесы «Прошлым летом в Чулимске» нынче нами в спорах горячих зря позабытого замечательного, талантливейшего драматурга Александра Вампилова, Валентину, упорно восстанавливающую палисадник, который каждый мимо идущий равнодушно ломает и затапывает.

На таких, как она, — единственная моя надежда.

Марина КУДИМОВА

«Я в Союз писателей хочу!»

Однажды в кабинете главного редактора любимейшего издания интеллигенции я сидела в кресле. Минут десять. И, по всему, могла рассчитывать еще на столько же. Вы думаете, что я принесла ему рукопись, а редактор ее отверг, оказавшись ретроградом? Ан нет! Рукопись мою там отвергли раньше. А к редактору я пришла ходатаем. Со мной прозаик и критик — соходатаи (или я с ними — это как взглянуть). Для полноты жанровой картины не хватало драматурга. Не попался по дороге. (Сама-то я пишу стихи.)

Наша игра уже была проиграна. Мы принесли письмо, в котором пытались объяснить, почему нас и наших товарищей пора принять в Союз писателей. А нас все не принимают и не принимают, и об этом «уж сколько раз твердили миру».

Мы думали, что редактор — одно из двух: либо откажет, либо подпишет. Так бывало со всеми письмами, писанными прежде. Но редактор сделал парадоксальный ход, к которому мы оказались неготовыми. Он спросил:

— А зачем вам вообще нужен этот Союз? Я давно говорю, что он устарел и назначения своего не выполняет...

Я лично никогда не слышала, чтобы редактор или еще кто-то об этом говорил. И на меня сразу напала привычная вялость проигравшего. Пользуясь ею, я смолчала. А соходатаи залепетали что-то о зарубежных поездках и лечении зубов без очереди. Человека так легко застать врасплох! Потекли дополнительные десять минут.

В коридоре шлепали об пол проводами и лязгали аппаратурой труженики не то радио, не то телевидения.

Я встала и тем самым помешала прозаику и критику добраться до глубинной сущности намерения, растолковать редактору, что наше поколение стремится быть внутри, а не вовне литературного процесса, на равных говорить с коллегами, поскорее снять тесные и коротенькие штанишки, в которых нас умиленно и насильно водят на прогулки по обочинам. Или что-либо столь же непостижимое уму. Соходатаи вынуждены были двинуться за мной, отбрасывая тень отсутствующего драматурга.

Итак, письмо редактор не подписал, и мы, таким образом, угадали один из вариантов его поведения и вроде бы не остались в проигрыше. Отчего же чувствовали себя потерпевшими поражение? Оттого, что вопрос, при помощи которого редактор с таким блеском разбил нас наголову, должны были задать ему и всему секретариату СП мы! Сами задать и сами ответить в форме филиппики. Но это если бы с нами не играли в игру под названием «Сытый голодного не разумеет», где голодному отводится заведомо пассивная роль, так что его действия даже не подразумеваются. Письмо потом подписало много народу, уважаемого и мужественного. Когда адресат не ответил, один из подписавших публично возмутился. Остальные умылись всухую. Когда в результате в Союз приняли кого угодно, кроме перечисленных в письме, никто уже не возмущался, не умывался и не утирался. Забыли, как говорил Фирс. С голоду физически никто, слава Богу, не умер.

В каждой игре есть свой простак, который не усвоил правил. Истинные причины нашего — какого по счету? — унижения, конечно же, прекрасно известны обоим сторонам — и сытой, и голодной. Но, предположим, я действительно не понимаю, зачем нам вступать в Союз. И. Иртеньев сочинил как всегда удвающее дурака по ложному следу стихотворение:

Я в Союз писателей хочу!
Так хочу, что прямо мочи нету.

Маску дурака, говорящего с дураками, надели многие мои сверстники. Это сбило с толку и раздражало умных. Дескать, с нами-то могли бы себе позволить... Таким путем умные объяснили дуракам, что их дурачат. А раньше они, бывало, все принимали за чистую монету. Говорят: «хочу» — значит «хочу». А теперь включились в ловлю на слове, да как! Уж если написано «Манчестер» — они в ста случаях из ста читают «Ливерпуль». Уж если «хочу» — то это точно издевательство, как оно, впрочем, и есть.

— Что сделало ваше поколение? — кричал, перечислив добродетели поколения своего, герой шестидесятых летом на даче. Я тоже кричала в ответ — о нелеченных зубах. Многие из моих друзей не удосужились бы и на это. Герценовская формула: «Я не могу нагнуться для ответа» — впиталась в нас с юности, когда мы впервые поняли, что все притворяются непонимающими. Без маски ответить следовало: мое поколение не участвовало во

л ж и! Первым — как поколение, а не обреченные одиночки. Из-за этого мы остались не востребованными, незадействованными, в чем трагедия наша, но и трагедия тех, кто нас не востребовал — и попрекал за бездеятельность, «не пушал» — и сокрушался о нашем отсутствии на переднем крае. А мы сделали то, что могли сделать в муках своей не востребованности. Мало? Это как взглянуть. А взглянуть непредвзято не получается у наших учителей, и теперь — когда? Кажется, шлюзы открыты. Но волна, запертая задолго до нас, прилила с такой силой, что размыла нас по стенкам, хлынула и залила полагающееся нам пространство. И новые пилаты, вынужденные потворствовать Воскресению и бессмертию, умыли руки — н а м и.

Как мы жили и выжили — прочтут в наших книгах, когда им настанет черед. А пока уже то, что не н а с — мы ведем по ложному следу, говорит о многом. Да, ведем фарсово, кавээнно, «капустно». Таков реванш за трагедию. За школу, за вуз, полуобразовавший и почти полностью развративший тех, кто провозглашался созидателями и кому ничего нельзя было созидать без угрозы крушения души. «Просозидавшиеся», — каламбурили зазеркальные кавээнщики. Кто-то зауродствовался, зашутился до полного самоистребления. Но кто-то выбрался, вопреки всему, — к правде, красоте, покаянию. Их отвергли, им не поверили, брезгливо стряхивая с умытых рук. Сами виноваты? Это как взглянуть. Виноваты — бесспорно. В том, что, первыми не обманувшись в непонимающих, ухитрились поделиться в самих себе, располовиниться так, что не соединишь. Шутники и тут отшутились. Одни, мол, за «бей жидов», другие — за «спасай Россию».

В период, как говорится, истекший со дня неудавшегося ходатайства, я стала внимательнее изыскивать в бурлящей перестроечной прессе малейшие подтверждения мнению редактора о творческом союзе представителей совести народа — литературы. Действительно, косность этого института, его нежелание соответствовать новому состоянию общества становятся все более очевидными — особенно на фоне происходящего у кинематографистов и театралов. Действительно, в ряде статей и выступлений появились немыслимые еще год назад негативные оценочные характеристики деятельности СП. Скажем, поэт и критик Г. Дашевский в журнале «Театр» пишет: «Союз писателей относится к тем организациям, которые искусственно повышают свою значимость, затрудняя прием новых членов». Неприятно выражает точку зрения по этому вопросу и Вяч. Вс. Иванов в «Литературной газете»: «Наш рутинный Союз нуждается в скорейшей радикальной реформе».

Однако оба автора высказываются как частные лица. Первый — потому что застрахован от приема в Союз именно теми «затруднениями», о которых пишет. Второй — потому что хотя и является членом СП, но, будучи крупнейшим ученым, ни в коей мере не зависит от «министерского облика» этого «учреждения» (если пользоваться его же лексикой), не подотчетен ему. На сегодняшнем этапе перестройки сознание мысль о «радикальной реформе» организации, призванной объединять хранителей Слова, отнюдь не вытекает из

необходимости и возможности переустройства практически всех сфер духовной жизни. Неколебимость устоев Союза писателей, незаинтересованность абсолютного большинства в малейших изменениях структуры, формы — не говоря уж о содержании — сравнима с монолитным сопротивлением перестройке лишь одного аппарата государства: канцелярско-бюрократического. Нонсенс? Парадокс? Едва ли. Почему? Потому, что Союз советских писателей задуман и создан Сталиным и его режимом и запущен с таким ускорением, что, как и бюрократическая машина, не подлежит остановке с ходу. Жесткость варианта схемы, предельная «завинченность» всех шарниров определяют неподвижность и максимально осложняют попытки вмешательства извне в обе «несущие конструкции» режима.

Вяч. Вс. Иванов замечает в той же беседе с корреспондентом «ЛГ», что «Горький мыслил себе все-таки собрание оригинальных и независимых художников, которые своими личными особенностями обеспечили бы какое-то функционирование Союза писателей». Это замечание скорее можно отнести ко времени создания и деятельности Всероссийского союза (20-й год), когда, во-первых, основу составляли лучшие русские писатели, а не чиновные бездарности, во-вторых, страна не была сверху донизу бюрократизирована, в-третьих, сам Горький был еще достаточно независимым как художник и человек и мыслил иными категориями, нежели во время поездки на строительство Беломорско-Балтийского канала. Не следует забывать, что и функцию тот, Всероссийский, союз выполнял в условиях голода, разрухи скорее распределительную. Писатели нуждались в элементарных материальных знаках внимания молодого государства. Им пока грозила голодная смерть, а не политические репрессии, хотя первую жертву в лице Гумилева, затем — Блока, которому было отказано в спасительном выезде на лечение, и тот союз уже принес.

Год создания Союза писателей СССР — 1934-й — теперь не требует дополнительных комментариев. Первый съезд проходил в государстве иного типа, чем заседания многочисленных комиссий 20-х годов, над которыми подтрунивали, но в которых все же активно участвовали еще не покинувшие Родину, еще не умершие гиганты «серебряного века». Это было уже государство имперское, абсолютистское, совершенно компилятивное по отношению к любимым «конструкторам» Сталина — Иоанну IV и Петру Первому. Его каркас был содран с отжившей в прошлом веке чиновной диктатуры и перенесен на новую почву со всевозможными для поддержания арматуры ужесточениями, с кроличьим расположением «винтиков», эту арматуру укрепляющих. Оставляя названия и подменяя сущность зрелой партии и младенчеству советской власти, Сталин действовал в полном соответствии со своими кровавыми учителями.

Первым съездом писателей руководил уже другой Горький. Сталин, ненавидевший и боявшийся интеллигенции, не мог не учитывать авторство «Жизни Клим Самгина» — антиинтеллигентской эпопеи.

Т. Хренников, отбиваясь от В. Горностаевой в газете «Совет-

ская культура», справедливо указывает, что в Союзе композиторов не был репрессирован ни один человек. Как ни больно об этом говорить, как ни кощунствен «подсчет», когда речь идет о глобальном произволе и беззаконии, тем не менее по числу убиенных Союз писателей далеко позади оставил другие творческие союзы. Иначе и быть не могло, ибо именно ССП наиболее точно калькирован с чертежа бюрократически-полицейской сталинской машины. Этот Хронос в миниатюре пожирал детей пропорционально большому Хроносу. Когда-нибудь будет написана работа «Союз писателей как зеркало культа личности». Зеркало кривое, потому наиболее страшное. Разве можно почесть случайностью или «перегибом» практику насаждения имен и чинов в литературе, безудержное воспевание одних и замалчивание или оплевывание других? Разве здесь мы не довольствовались до последнего времени своим «Кратким курсом»? Разве не подпадал даже Пушкин под политику окумиривания и консервации?

Почему не срабатывает?! — вопиют публицисты вслед уходящим в песок идеям и попыткам нововведений. Платонов знал это полвека назад: «Чем дальше шла революция, тем все более устарелые машины и изделия оказывали ей сопротивление — они уже изработали все свои сроки и держались на одном подстегивающем мастерстве слесарей и машинистов». Мы уничтожили «слесарей и машинистов» и насильственной контрацепцией не давали нарождаться новым. Жить оставляли только тех, кто обслуживал станину машины и отлаживал ее матчасть, окончательно забросив целое, пока инерция этой части не обрела потенцию вечного двигателя. Вся энергия творчества ушла в станину, покинув свое извечное поместилще — душу человека.

За что пострадал несчастный Иванушка Бездомный? Не за невежество, даже не за хулу на Духа Святого, так как был атеистом. Он спятил от сверхъестественной тупости к сверхъестественному. Мистика, метафизика, чудесное происхождение дара перестали браться во внимание в силу того, что сталинский режим поставил творчество на индустриальную основу и объявил мобилизацию в литературу, превратив Союз писателей в отдел кадров, военкомат или призывной пункт. Общая вульгаризация культурного процесса не могла не коснуться первоосновы творчества. «Кадровые» писатели, носители дара, были противопоставлены кондотьерам и уничтожены ими совершенно аналогично кадрам партии, армии, промышленности и сельского хозяйства. Талант как непременная изначальная данность был поставлен под сомнение, сущность его подменилась, перевернулась. Слово приравнялось к материальному продукту, и любой трудоспособный член общества получил доступ к его производству. Более абстрактные искусства, такие как музыка, оказались менее подвержены материализации, потому их представители не так пострадали в индустриальной мясорубке. Смежные искусства стали на поток превращения в фарш квазикультуры.

Тотальный Дантес государства взял на «мушку» всякое «штучное» проявление личности. Завистник Рюхин, Сальери без алгебры и

гармонии, еще искренне «не понимал» Пушкина, еще не прикидывался хотя бы наедине с собой. Но он уже начинал понимать и собственную второсортность, ширпотребность по сравнению с гением и, соответственно, уже начинал злобствовать и оправдывать эту второсортность как неизбежный этап развития новой культуры. Феноменально быстрое уничтожение общенародной этики, геноцид духа, формирование «призывной» интеллигенции из «живого вещества» и ретортное ее размножение были все же не в состоянии искоренить д а р раз и навсегда. «Собственный» Платонов и «быстрый разумом»... допустим, Шолохов происходили не из графьев. Одного обозвали «сволочью» и оставили за воротами, чем сохранили жизнь и обеспечили бессмертие. Другого, якобы приняв «за своего», долго мытарили, судя по опубликованным воспоминаниям П. Лугового («Литературная Россия»), чудом не сожрали, при этом закармливая и прикармливая. «Тихий Дон» уже покатило воды по белу свету, но ломка не могла не произойти. Абсурдность появления Давыдова в Гремячем Логу стала понятна только сейчас.

Экологический баланс, где поколения безымянно трудились душой, чтобы дать развиться одному а в т о р у, был нарушен, нива дара «яровизировалась» (яро визировалась) лысенками РАППа, Пролеткульта и просто культа. Дисбаланс достиг такой стадии, при которой любая неординарность воспринимается как противостественность. Потому Союз писателей без зазрения совести отдавал на заклятие всех, кто мешал его «нормальной» бюрократической эволюции. Борьба видов за существование превратила талант в динозавра и обрела на вымирание.

«Шестидесятники» были крепки отцами — случайно вырвавшимися из колымского ада или оставленными «на потом», как Пастернак. «Дарвинисты» от культуры отлично понимали, что если талант находится на самообеспечении, то ущербность нуждается в дотациях. Поэтому Союз писателей, будучи зеркалом системы, изначально держался на тех же столпах, что и мутирующие органы власти, — на Льготе и Привилегии. «...Не щади себя и не пользуйся привилегиями» — это апостольское кредо немца Бёлля вынесено будто из самых недр русской духовности. Изголодавшиеся вчерашние ээки не удержались от своего реванша, поклонились, пожалуй, за исключением Шаламова, двум господам — Льготе и Привилегии. Кто отважится на упрек? Мир праху их и благодарение ящикам их столов... Воспитанные ими наши старшие братья, увы, пошли той же дорогой, ничем не заслужив права на нее, кроме голодного детства. И хотя поначалу сильно брыкались, состояли на учете как «неблагополучные», но мало-помалу сдались на милость Иностранной комиссии СП и избрали экспортный вариант исполнения. Заподозрить меня в умалении заслуг тех, кого я называю старшими братьями, может человек либо с нечистой, либо с беспокойной совестью. Я рассчитываю на вторых. Между тем подросшим нам осталось выбирать между фиктивным отцовством Рюхина и беспризорностью. За ничтожными исключениями, мы выбрали последнее.

Но сироты склонны к мифотворчеству. Мы придумали себе

отцов задолго до их легализации, и все наши деформации происходят от разрухи контекста отечественной истории литературы. Согласно западным теориям, культура вообще является «системой табу». Мы первыми испытали это на практике. Когда-нибудь феномен зияний будет исследован. Разумеется, мы не устроили конвейер Союза, не прошли его госприемку, так же как в свое время те, кого мы намечали себе в родители, кого нынче с ветхозаветным почтением пропускаем вперед, как и положено младшим. Но это не последнее наше достоинство, если вспомнить о неучастии во лжи. Я иной раз с гордостью думаю о том, что принадлежу к первому поколению, возобновляющему прерванную традицию бескорыстного, «без претензий и льгот» служения отечественной словесности. Пусть вынужденно — но бескорыстного. Наш лепет о зарубежных командировках сродни грезам ребенка об усах или туфлях на высоком каблуке. Даже если я или кто-то из моих товарищей случайно проскочит пограничные кордоны всех комиссий и ревизий, это отнюдь не улучшит положения остальной «несоюзной молодежи».

Уничтожая под маской «классовой борьбы» духовную элиту общества, в которую входили отнюдь не сплошь представители высшего сословия, сталинский режим объявил демократией доступность участия в культурном процессе (как и в процессе производственном) широчайших слоев населения, что низвело такое понятие, как «призвание», что подменило безотчетное стремление души абсолютom «долга». Не всегда и Союз писателей был учреждением закрытого типа, вербуя в свои члены чуть ли не по школьным сочинениям. Недаром число не п и ш у щ и х писателей сравнимо только с числом не р а б о т а ю щ и х чиновников. Я помню последний «оргнабор» в литераторы после принятия постановления «О работе с творческой молодежью», когда я сама была молода не по разнарядке, а по летам. Именно тогда окончательно утвердился «магнетизм», монополизм формы приема и было покончено с самонаименьшими признаками демократизма. Именно тогда окончательно расцвело кумовство, протекционизм при приеме, личная приязнь и неприязнь, групповые пристрастия и интересы окончательно победили реальные оценки творческих возможностей вступающих. Это породило безудержный подхалимаж и заискивание. Зеркало есть зеркало, и в Союз писателей стали принимать «по благу», как в торговлю и учебные заведения.

В результате последнего «призыва» был обеспечен окончательный перевод этого предприятия на режимную работу. Новые центурионы прочно заняли ведущие издательские посты, оказавшись при этом, как оно случается с детьми «начальства», в принципе неспособными к выбранной им родителями специальности. Это «зеркальце» отражало застойный период. Изнутри система поражалась коррупцией, внешне сияла рапортами, единодушием. Изнутри родное болото ревностно открестилось от залетных куликов, внешне «изучало жизнь» в щедрых командировках с лукулловыми застольями и фарисейскими отчетами. У бюрократии той формации, которая сейчас держит руку на тормозе, чиновники Союза учились уповательно-

изошренно тянуть волюнку и, как водится, превзошли учителей. Рассказы о книгах, изданных за год, о приеме по рукописи мы воспринимали, как какие-нибудь мемуары Казановы. Спасибо и на том, что эти наемники были уже так закормлены, что только отпихивались — с большей или меньшей агрессивностью. Еще совсем недавно их предшественники по методу хоря могли придушить и выплюнуть. Зеркало есть зеркало.

Итак, редактор любимого издания прав целиком и полностью. Вместо свободного творческого объединения братских литератур мы имеем проржавевшую от износа и крови станину, надзор за которой осуществляет легион дармоедов, все силы употребляющих на недопущение к охраняемому объекту мало-мальски способного инженера. И весь вопрос в том, почему же мы — я и мои разножанровые товарищи, которых не сумели провести на мякине «Краткого курса», как выразилась самозванная корреспондентка, «поступаемся принципами», то есть рано или поздно приходим к парадному подъезду «дома Ростовых»?

Мы, облюбовавшие кухню, обосновавшиеся в «людской», где никто не пинает и не оскорбляет, где так уютно, хотя и накурено, где мы одинаково несчастны и, видимо, беспечны, как и подобает художникам! Хорошо... Мы наивны, инфантильны, как любят нас изображать критики. Но придушенные-то и выплунутые, выкинутые с черной лестницы! Они-то почему, чуть увидав, что хозяйский палец скрючился в подзвье, бегут за талоном на похлебку? Бегут к тем, «кто поднял руку!» К их упитанным детям! Никто из подозреваемых в пересменке гнева на милость не вскипел, не вспомнул, что бывает с теми, кто забывчив на старое, не отверг гневно протянутый двумя пальцами билет, в свое время не возвращенный, как правило, по-карамазовски, а отнятый силой, не призвал нас близко не подходить туда, где нечисто! Почему???

Почему «смолкли честные», чудом не павшие доблестно, во всяком случае, устранившиеся от дел, засе́вшие по деревням и дачам с выездом разве в Париж и Гонконг, но уж никак не на заседания по секциям? Судя по отдельным, мимолетным высказываниям, они прекрасно осведомлены о происходящем за семью печатями подребрани под себя тиражей, гонораров и знаков отличий...

Для ответа не стоит беспокоить Шмелева и Андреева. Своим умом можно дойти. Потому что машина, пущенная Сталиным, сильна тем, что ставит человека в положение, когда он не может без нее обойтись! Сколько бы он ни избегал столкновения с ней, сколько бы ни утверждал себя в качестве частного лица, а без справки его не похоронят. И никуда он не рыпнется, минуя госканцелярию! «Входящие — исходящие» подколоты и подшиты. И «значимость» Союза писателей повышается сама собой, без затраты усилий его хозяевами, до тех пор, пока на их поясе висят ключи от кладовой — Литературного фонда. Пока средства облегчения неподъемного для творческого человека быта, как-то: продуктовые заказы, путевки в санатории и дома творчества, распределение квартир и т. д. и т. п. — происходят под бдительным присмотром чиновников и с их благословения, руко-

водству Союза можно жить спокойно — бунта на корабле не случится.

Через проходную СП, турникет которой щелкает все чаще, заклинивая и ту скважину, в которую не так давно все же был шанс протиснуться, рвутся одиночки с протекцией, возле нее толпятся группы без протекций, сбившиеся вместе, потому что поодиночке их уже не раз мордовали «тайным голосованием» (а теперь мают положением под сукно очередного ультиматума отчаяния). И так будет, доколе Союз писателей останется единственной организацией, юридически подтверждающей профессиональный статус литератора. Ситуация все неуклоннее приходит к тому, что писатель, будь он лауреатом всех международных премий, членом академии, переведенным на все языки мира, но не имея писательского билета, никогда не сможет объяснить своего социального положения работникам соответствующих органов, будет вечно находиться между молотом и наковальней, в унижении, затруднении и двусмысленности.

В стране действует трудовое законодательство. Каждый гражданин имеет конституционную обязанность трудиться на благо общества. С 9 до 18 часов большинство трудоспособного населения находится на рабочем месте. Чем оно там занимается — это вопрос другой.

Однако во все времена имелся род деятельности, нормативы которой не могли быть четко определены никаким законодательством ввиду ее совершенно особого характера. Это деятельность творческая и интеллектуальная. Рабочий день писателя — не чиновника от литературы — строится вне зависимости от наряда, тарифа или таксы. Если писатель имеет договор с издательством, он находится, так сказать, на подряде. А если нет? «Война и мир» написаны без договора. Поэт вообще может вскочить среди ночи, чтобы записать пришедшую во сне строку. Может в течение длительного времени не касаться пером бумаги, при этом интенсивно работая головой и душой. По какой статье оприходовать эту работу? Как и т. д.? Кому за нее отчитываться? Даже в гипербюрократическом Союзе пока не дошло до того, чтобы сочинитель заполнял рапортчку или выписывал накладную на каждое «выработанное» слово, мысль, строфу. Одни писатели вынуждены сочетать литературный труд с официальной службой. Другие, терпя хроническое безденежье, предпочитают держать руки развязанными.

С самых высоких трибун молодых литераторов сроду запугивали опасностью, чуть ли не гибельностью ранней профессионализации. Биография писателя, его трудовой стаж ставились неизмеримо выше его творческих достижений. «Цели художества» на убийственно долгий срок подменялись «целями социальными» (Толстой). Поводом для запугивания служит обычно собственный страх запугивающего. Рост числа соискателей места у кормушки давно стал угрожающим, несмотря на все ограничения и хитроумные препоны, изобретенные Союзом писателей. Ни к чему иному «разгул» доступности творчества на основании всеобщей грамотности привести не мог. Но причина страха чиновных отцов-командиров перед рядовыми про-

фессионалами заключается еще и в том, что, вступив всеми правдами и неправдами в Союз и закрепив-таки свой профессиональный статус, новоиспеченный писатель претендует на долю в льготах и привилегиях. С ним невольно придется делить дивиденды, как ни ничтожно пособие рядового в сравнении с генеральскими доходами. Я думаю, что именно этот комплекс Скупого Рыцаря преобладает в заботе о максимально длительном изучении жизни без отрыва от производства.

Снова хочется отвлечься и порассказать о себе. Прямо удержу нет. Я отношусь к тем, кто пренебрег опасностью ранней профессионализации. По ночам я вскакиваю не только от не вовремя посетившего вдохновения, но и от неизбежной тревоги: что будет с моим дитем, случись со мною непредвиденное? В купринском «Белом пуделе» страшная тайна дедушки Лодыжкина состоит в отсутствии «пачпорта» — вида на жительство. Мой «секрет полишинеля» — в отсутствии трудового стажа. Когда в школе-интернате мне предложили провести викторину с четвероклассниками по произведениям Л. И. Брежнева, когда вскоре в селе Озерки я убедилась, что восьмиклассники плохо понимают кириллицу при стопроцентной успеваемости, а кое-кого из них надо безотлагательно лечить от хронического алкоголизма, я, вместо того чтобы, преодолевая все на своем пути, добиваться кардинальных перемен, проводя коренные преобразования, удалилась в чахлую и скупую пустыню, чтобы там применить единственно органичный для меня способ жизни — писать о трагедии средствами трагедии. Кстати, как раз вещь, написанную по педагогическим впечатлениям, и отклонил любимый журнал, за что я ни в коем случае не обиделась — разве чуточку разочаровалась.

Совершила ли я ошибку? Проявила малодушие? Сработал ли инстинкт самосохранения? Кто поручится, что это так, а не иначе? Кто подвергнет экспертизе неминуемый голос призвания или вобранное в кровь из труднодоступного Озеркам Толстого: «Все то, что теперь, независимо от страха насилия и наказания, делает возможной совокупную жизнь людей... все это сделано искусством»? Что путь не был усыпан розами, доказывать нецелесообразно...

Через некоторое время мою «пустыню» посетил участковый. Исходящий из борьбы с тунеядством сотрудник милиции, конечно, не обязан во всяком гражданине, в протрации сидящем перед листом бумаги, прозревать будущего Булгакова или Ахматову. И уж, конечно, вряд ли его до глубины души пронзала идея «полной гибели всерьез», чтобы разделить ее с уклоняющимся от трудоустройства — не алкоголиком, не наркоманом, но нарушителем инструкции.

В Москве и Ленинграде для подобных случаев учреждены весьма сомнительные группкомы литераторов. Формально они ориентированы на тех, кто уже активно печатается, но на Союз еще не тянет. В действительности они пригревают великое множество графоманов и всамделишных тунеядцев. К тому же, чтобы вступить в группком, надо тоже еще пахать и пахать: гонорарный минимум для вступающих мало кому под силу, исключая песенников и титанов перевода. Без заведомой халтуры и поденки, которые значительно опаснее

для художника, чем «ранняя профессионализация», будь она неладна, и в эту лазейку не прошыгнешь. Большая часть моей жизни прошла в Тамбове. Там такой синекуры не завелось, и слава Богу. Что я пила и ела эти годы, как выкручивалась с участковым, меня никто не спрашивал. Но отчисления на содержание тех, кто держал и держит меня на расстоянии пушечного выстрела от приемной комиссии, платила исправно — с каждого гонорара. Малость грел душу прецедент нобелевского лауреата — вчерашнего «нетрудового элемента», но не для всякого участкового инспектора и это аргумент.

Любое общество с давних пор соглашалось терпеть и содержать группу членов, не участвующих в производительной сфере, но обеспечивающих духовный и интеллектуальный потенциал этого общества. Численность этой группы — вопрос тонкий. Она соответствует прежде всего качеству и целям общества. Вероятно, дикари просто не поняли бы, о чем речь. Но каста жрецов наличествовала уже на заре цивилизации. По мере исторического развития росло количество не занятых производством общественного продукта групп. Каждая из них с разной долей успеха исполняла свое предназначение, то убывая, то прибывая. Наша исторически уникальная формация, в силу разнообразных причин, в основном политического характера, не обеспечивая себя должным образом пропитанием, поставила непродизводительную сферу на промышленную ногу, но забыла изъять из сознания представление о чрезвычайно высоком уровне жизни творческих работников прошлых времен. «Писатели хорошо получают» — обыватель сохранил это убеждение незыблемым по сию пору. Десятки тысяч людей, абсолютно независимо от природных данных, соблазнившись легким, по их представлениям, хлебом, вывели себя из создателей материальных ценностей «во области заочны», нимало не вдаваясь в меру и степень ответственности перед обществом. При перепроизводстве «непроизводителей», явно наметившемся в нашем обществе, неизбежен кризис, как утверждали классики марксизма. Кризис этот, попросту говоря, выражается в том, что «на всех не хватает», и разжигает жестокую борьбу среди тех, кто не пустил побега или не присосался полипом к упоминаемому дереву.

Такова общая картина. В ее геологическом срезе, конечно же, даже и до сих пор встречаются реликтовые образования, снабженные «дарованием-поручением» из первых рук. «Как сочится вода сквозь прогнивший постав», так и через нашу плотину просачиваются отдельные капли таланта. Регенерация дара, этой неуловимейшей категории, будет происходить вопреки всем экспериментам, пока жив народ и его язык. Но, коли дамба не будет скрыта, дар, пересосредоточившись, приучится накапливаться в бочажках и промоинках, минуя официальное русло, как оно, собственно, давно и есть.

Самые благие нововведения, приходя сверху, оседают в утрамбованном песке местной власти — прочном тыле бюрократического авангарда. Чтобы выйти к линии литературного фронта, талант — вечный «один в поле воин» — должен сперва миновать эти тылы. Можно себе представить, как трудны — зачастую непосильны — эти рейды.

Тылы СП составляют местные писательские организации. Они неоднородны по составу. Мне сразу предъявят Распутина, Белова, Астафьева, Носова и других корифеев, творящих вдаль от столиц. Но не они делают погоду на местах. Они лишь относятся к тем исключениям, когда известность, слава оказались сильнее Союза писателей, поставленного перед необходимостью признания мастера, дабы не вызвать на свою голову гнева народного. Такие исключения — их единицы — имеют возможность выбирать себе место жительства соответственно независимости своего положения. Погоду делают сонмы безымянных именно что членов, находящихся за гранью литературного процесса и тем яростнее дерущихся за малые кресла и портфели. Несчастнее этих людей, прямых жертв устава и общей политики СП, вообразить уже ничего нельзя. Вот я наугад перечислю несколько имен моих бывших земляков — тамбовских писателей: Иван Кучин, Семен Милосердов, Виктор Герасин, Алексей Шилин... Достаточно! Знает ли кто-нибудь, кроме командированных, оказавшихся на книжном базаре, откуда, увы, и поныне не больно понесешь Белинского и Гоголя и где удельная совесть народа отработывает путевки Бюро пропаганды, слышал ли кто-нибудь эти имена? Читал ли хоть строку? Если читал, помнит ли? Ну, выписал из ряда вон выходящую «залепуху», чтобы друзей посмешить, так я не об этом. Я нарочно каждую неделю просматриваю вести из писательских организаций, публикуемые «Лит. Россией». Не знаю, не читала практически никого. Сами провинциалы склонны объяснять подобную безвестность отсутствием местных издательств и журналов. Я в глубине души полагаю, что это обстоятельство — одна из причин не вконец испорченного вкуса глубинного читателя. Зато в каждом номере еженедельника — отвратительно знакомые по невольному опыту общения зощенковские коммунальные коллизии, амбиции безграмотных анонимщиков, глухонемое или визжащее от злобы сопротивление всему молодому и одаренному. Это тоже — вести из организаций...

Зачем армия профнепригодных Союзу писателей? А затем же, зачем стране армия конторских служащих и ничего не изобретающих инженеров. Чтобы оправдать существование ведомств, управлений и главначпусов. На телевизионной встрече с руководителями СП ведущий — он же отец-командир — подробно знакомил зрителей с участниками, оповещал, кто заведует поэзией, кто прозой, кто чем. А некий зритель — из посаженных в студии, — тоже сильно «косящий» под непонимающего, возьми и спроси: а, мол, нуждается ли творчество в заведовании? Ему ответили благодушно и невразумительно: надо же, дескать, кому-то решать оргвопросы. Конечно, надо. Но почему этим должны заниматься и — более того — соглашаются заниматься пишущие писатели, а не прирожденные администраторы и менеджеры, я — без всякого «прикида» — хоть убей, не понимаю! К слову сказать, большинство «заведующих» были выпестованы местными организациями и восхождение к вершине власти совершили от самых подножий.

Стало быть, для меня и ряда моих сверстников, искусственно

отсаженных в садок из водоема и содержащихся на минимальном из возможных прожиточных минимумов, несомненно, что Союз писателей является на сегодняшний день одним из последних оплотов сталинского режима, его административным монументом. Однако после упорной внутренней борьбы с моральной неприемлемостью этого шага, группой или поодиночке, мы все же делаем его: шагаем в направлении консервативного, конформистского, замаравшего свое лицо множеством публичных и закулисных скверн и, главное, давно отжившего век инерционного учреждения. Да, к несчастью, шагаем. Как правило. Вернее, из последних сил раскорячиваем ноги, чтобы хоть одной из них удержаться на отвоеванной столькими жертвами и лишениями суверенной территории. Стоять — тем более двигаться — в таком положении невозможно. И оставшаяся нога мало-помалу подтягивается за шагнувшей. Так было с «шестидесятниками». Так — и никак иначе — будет с нами.

Я думаю, что позорное мордование, которому подвергают нас раз от разу, как только мы заносим конечность для пресловутого шага, имеет не только идеологическую подоплеку (а в ее присутствии легко убедит всякая критическая статья о поколении 80-х). Нет! Щелбаны, получаемые нами, я воспринимаю еще и как метафизическое, промыслительное предостережение. Предостережение от шага, который представляется мне роковым — при всей безвыходности положения. Никто и никуда не впишет мне 20-летний трудовой стаж — без отпусков и праздников, без разумного чередования дня и ночи, — пока я не получу писательского билета. Никто не излечит меня и поколение, к которому я принадлежу, от тяжелого комплекса социальной неполноценности, исподволь развивающегося, мешающего жить, дышать, в конечном счете, писать. Не получив билета, я (совсем уж меркантильные соображения!) так и буду стоять под дверями Центрального Дома литераторов в надежде, что кто-нибудь из знакомых проведет на выступление любимого писателя, на диспут, участвовать в котором почитаю своим гражданским долгом. Ну, до продуктовых заказов и скидки на путевку в Малеевку докатываться, пожалуй, не стоит. Само собой, и такая мелочевка без билета не пройдет. Мелочевка, отсутствие которой забирает силы, нервы, пожираемые борьбой за существование. Но ужас-то в том, что, как только я этот билет получу, я незримой стеной отсеку себя от «людской», где провела лучшие годы, где оставлю свободу свою. Конечно, меня в ЦДЛ пустят по доброте — посидеть, покурить, вспомнить прошлое. Да постепенно все стыднее будет там появляться. Вот такой диапазон — от «мелочевки» до отроческого максимализма. Диапазон человеческого достоинства...

1987 г.

Примечание редакции. По инициативе независимой ассоциации «Апрель» Секретариат СП СССР принял в Союз писателей молодых литераторов.

Фрагменты группового портрета ИМЛИ 30—70-х годов

Вся моя жизнь литературоведа прошла в стенах Института мировой литературы АН СССР, начиная с 1938 года до 70-х. За это время менялись название института, его директора, менялись мои должности и звания — от работника библиотеки до доктора наук и старшего научного сотрудника отдела зарубежных литератур. Здесь я пережила разные эпохи нашей политической истории: годы сталинского террора 30-х годов, войну и эвакуацию, идеологические погромы послевоенного времени, смерть Сталина, хрущевскую «оттепель» и новое ужесточение брежневских лет. Все эти «эпохи» самым непосредственным образом сказались на жизни этого видного академического учреждения. Одновременно происходила и моя духовная эволюция. Я пришла в институт молодой и правоверной коммунисткой, а покинула его в старости, полностью переоценив пережитый опыт. Испытывая потребность объяснить эту эволюцию себе самой и людям, я еще в 70-е годы начала писать книгу воспоминаний; писать «в стол», разумеется, так как, закончив ее задолго до перестройки и гласности, не могла и мечтать о ее опубликовании.

Сейчас я предлагаю вашему вниманию отдельные зарисовки нравов и событий, которые можно было бы назвать фрагментами группового портрета ИМЛИ 30—70-х годов.

* * *

Создателем и первым директором Института имени Горького, как он тогда назывался, был Лев Борисович Каменев. Но я пришла работать в библиотеку института в феврале 1938 года, когда его возглавлял уже Иван Капитонович Луппол — блестящий и одаренный человек, философ и литературовед, ставший в свои 43 года самым молодым советским академиком-гуманитарием. Луппол работал увлеченно и умел увлечь людей; он сам подбирал экспозиции создаваемого при институте музея Горького, привлекая к этому делу крупнейших специалистов, и разрабатывал программы научной деятельности института. К достоинствам его надо отнести и то, что он прекрасно умел строить отношения с сотрудниками и, когда хотел, легко завоевывал сердца. Говорили, правда, что Луппол был честолюбцем и делал карьеру крайне осмотрительно и осторожно. Но я

думаю, что осмотрительность Луппола диктовалась главным образом тем, что он прекрасно понимал, в каких сложных условиях он должен был руководить институтом.

Зайдя однажды в директорский кабинет, я застала там совещание по крайне «деликатному» вопросу: на столе перед Лупполом лежала фотография обложки горьковской поэмы «Девушка и Смерть», на которой Сталин поставил свою надпись «Любовь побеждает смерть». Конечно, такая обложка с надписью «самого» была тогда для музея бесценным экспонатом. Но на беду Сталин не дописал мягкого знака в конце слова «любовь», и теперь вопрос стоял о том, как же выставлять на всеобщее обозрение экспонат с орфографической ошибкой вождя? Ученый секретарь института М. П. Венгров и несколько сотрудников, ведавших экспозицией музея, стояли вокруг директора с озабоченными лицами, не зная, как выйти из положения.

— А если послать к нему подлинник с записочкой, чтобы он добавил мягкий знак? — пискнула я со своим тогдашним простоушием.

— Да вы что? С ума сошли? Вы хотите меня загубить, что ли? — прямо-таки взревел Луппол.

Через несколько секунд он «отошел» и весело, даже мило посмеялся над моей наивностью. Как порешили с этой «штукой», я уже не помню, но опубликована она с мягким знаком.

Когда летом 1940 года Луппол, уезжая в отпуск, зашел проститься с сотрудниками, я крикнула ему на прощанье: «Отдыхайте как следует, Иван Капитонович, и приезжайте назад молодым и красивым!» — «Красивым уже не получается, никак не получается», — кокетничал он, прекрасно сознавая, что очень хорош собою. «Нет, нет, получится, обязательно получится!» — шутили мои подружки.

Бедный Луппол! Он уезжал на курорт, счастливый и победоносный, со своей тогдашней любовью — горьковской снохой Надеждой Алексеевной Пешковой, «Тимошей», которая была тоже очень хороша и привлекала немало видных людей (начиная с мрачного Ягоды, долгое время бывшего ее поклонником).

Но через несколько дней коммунистов нашего института срочно собрал секретарь парторганизации Марк Серебрянский, взволнованно сообщивший нам об аресте директора.

Луппол был не единственным репрессированным из нашего института. Еще раньше такая же участь постигла Франца Петровича Шиллера, автора трехтомной истории западноевропейской и американской литературы, заведовавшего у нас сектором зарубежной литературы. Мы были взволнованы и озадачены, но еще не решались рассуждать.

Среди ученых, привлеченных Лупполом в институт, особой популярностью пользовался у нас Алексей Карпович Дживелегов, историк и знаток искусств. На его доклады-импровизации, всегда необыкновенно интересные, сбегался обычно весь институт. Я знала его еще со времен учебы в Институте красной профессуры (отделение литературы), где он был моим куратором в изучении итальянско-

го Ренессанса. Алексей Карпович отличался открытым и искренним доброжелательством, особенно по отношению к молодежи, которая всегда вокруг него толпилась. «Карпыч» появлялся обычно с шутками и веселыми рассказами, внося в наш деловой и обуреваемый политическими страстями мир свободную, раскованную и жизнерадостную стихию своей излюбленной эпохи Возрождения. И вот однажды (это было, кажется, во время бухаринского процесса в марте 1938 года) он заглянул в библиотеку в тот момент, когда мы с одной из сотрудниц, развернув «Правду», читали материалы процесса и я начала громко возмущаться в духе наивных представлений того времени: «И чего им надо было? И чего им не хватало? Что они, не могли честно сказать, с чем они не согласны? Надо ж было вставить на путь вредительства, а еще старые революционеры, большевики» и т. п. И вдруг я оторопело остановилась посреди фразы, почти физически ощутив тяжелое молчание «Карпыча». Он не прерывал меня и не спорил. Он молчал... И это тяжелое и отчужденное молчание обычно приветливого, веселого и дружественного «Карпыча» страшно смутило и озадачило меня. Уходя в тот день с работы, я унесла с собой это молчаливое неодобрение как что-то непонятное и тревожное, глубоко запавшее в душу.

После исчезновения Луппола бразды правления институтом принял директор музея Пушкина, бывший профессор Казанского университета Леонид Ипполитович Пономарев. Это был старый честный «солдат» или «Дон-Кихот революции», как он сам горько называл себя однажды. Он так же, как и все, был потрясен арестом Луппола и во время войны не раз рассказывал, что видел во сне, как возвращается Иван Капитонович и он, Пономарев, поднимается из-за стола ему навстречу и с радостью передает обратно институт, отчитываясь, как он старался не испортить ничего в заведенных старым директором порядках и как он его долго ждал. Однако ждал он напрасно. Луппол не вернулся. Молодой академик, избалованный успехом и, конечно, совершенно не подготовленный к физическому труду и унижению, скоро погиб в нечеловеческих условиях сталинских лагерей. Институт «входил» в войну уже без него.

Первые месяцы войны были ужасны. Немцы рвались к Москве. По ночам сотрудники института дежурили на крыше музея Горького, сбрасывая «зажигалки». А в известный день московской паники, 16 октября 1941 года, когда немцы стояли под самой Москвой, наш институт получил приказ от Президиума Академии наук выйти из города пешком, так как никакого транспорта не было и дожидаться его было безнадежно. Колонна ИМЛИ или, вернее, то, что от него осталось, представляла собой довольно жалкое зрелище. Большинство мужчин были призваны в армию или ушли в ополчение, а некоторые из них, как руководитель сектора советской литературы и секретарь парторганизации Марк Серебрянский и молодой литературовед Миша Заблудовский, — уже и убиты. Кое-кто из старых ученых (в том числе Дживелегов) не пожелал оставить Москву, некоторым — членам СП — удалось накануне выехать с эшелонам Союза писателей. Колонна наша состояла главным образом из женщин с

престарелыми родителями или детьми, которых не успели эвакуировать раньше. Запомнилась мне фигура пожилого и больного сотрудника горьковского сектора Евгения Эмильевича Лейтнекера, несущего на спине гажелейший рюкзак, заполненный рукописью его многолетнего и еще не законченного труда «Летопись жизни и творчества Горького», и еще, как с трудом шел в колонне вверенного ему института старей «Ипполитыч». Очень скоро люди начали терять силы, и мы, более молодые и здоровые, по мере возможности стали подсаживать сначала самых старых и слабых, а затем и всех остальных на обгонявшие нас военные машины.

Так постепенно была пристроена вся колонна, в том числе и директор Пономарев, который был совсем без сил, но ни за что не соглашался сесть в машину, пока не пристроили всех. «Ипполитыча» мы жалели и любили, хотя, в противоположность своему блестящему предшественнику Лупполу, он был тугодум, часто взрывался и напрасно обижал людей, бывал очень несправедлив в своих внезапно возникающих симпатиях и антипатиях. Но мы знали, что он щепетильно честен, бескорыстен, совершенно беспомощен в отношениях с начальством и очень нуждается в помощи молодых энергичных людей, и старались помочь ему во всем.

После многих мытарств мы очутились в Ташкенте, где нас поместили в здание балетной школы имени Тамары Ханум и где институт провел годы военных бедствий. Там со временем удалось собрать почти всех освобожденных от мобилизации литературоведов, даже прикомандированных к ИМЛИ ленинградских ученых, вырвавшихся из блокадного Ленинграда...

* * *

В мае 1943 года академические институты, и наш в том числе, возвратили в Москву. Мы ехали с радостью, вдохновленные приближающейся победой. Казалось, только бы кончилась война, перестала литься кровь, справились бы с фашизмом, а там уж как-нибудь разберемся в своем социалистическом доме. Однако все оказалось совсем не так.

Под аккомпанемент бурного славословия «любимого», «гениального» и «мудрейшего» вождя вторая половина 40-х годов ознаменовалась жестокими погромами на идеологическом фронте.

Полутора месяцами раньше известного постановления от 14 августа 1946 года «О журналах „Звезда” и „Ленинград”» была основана газета «Культура и жизнь» — орган Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), которая бойко восхваляла общие успехи советской культуры, но при этом беспощадно избивала ее конкретных представителей. Люди искусства и науки раскрывали эту газету с ужасом. Приговор, вынесенный на страницах «Культуры и жизни», обжалованию не подлежал.

Осенью 1946 года на ученом совете ИМЛИ защищал диссертацию один из самых крупных ученых-гуманитариев нашего времени

Михаил Михайлович Бахтин, тогда уже немолодой человек трудной и мужественной судьбы. Еще в 1929 году появилась его замечательная книга «Проблемы творчества Достоевского», но больше его не издавали, так как он был сослан в Казахстан за какие-то «враждебные» убеждения; затем он провел долгие годы в Мордовии, где преподавал литературу в Саранском пединституте. Человек энциклопедической образованности, он читал свои лекции с блеском и щедростью огромного таланта. Михаил Михайлович был человеком необычайно великодушного сердца, говорили, что он передавал друзьям свои труды и мысли, лишь бы эти труды хоть под чужими именами, но увидели свет.

В 1946 году я и мои товарищи по ИМЛИ знали только, что он приехал из Саранска защищать в качестве кандидатской диссертации свою работу «Рабле в истории реализма», а его оппоненты — старые и уважаемые профессора Александр Александрович Смирнов из Ленинграда и москвичи Алексей Карпович Дживелегов и Исаак Маркович Нусинов — сочли возможным просить ученый совет института о присуждении ему сразу докторской степени. И хотя на защите разгорелась дискуссия, совет института согласился с ними и присудил М. М. Бахтину степень доктора филологических наук.

Однако в ноябре 1947 года, когда диссертация находилась еще на утверждении в ВАКе, в «Культуре и жизни» под громоподобной шапкой «Преодолеть отставание в разработке актуальных проблем литературоведения» появилась статья инструктора ЦК Виктора Николаева, в которой был обруган ИМЛИ, «оторванный от жизни», и говорилось: «Ученый совет института нередко проявляет безответственное, антигосударственное отношение к присуждению ученых степеней». В качестве иллюстрации приводилась диссертация Бахтина, названная «фрейдистским» и «антинаучным» трудом. После такой зубодробительной критики имя Бахтина снова стало одиозным, ВАК сначала надолго задержал рассмотрение его диссертации, а через несколько лет окончательно отклонил ходатайство института о присуждении ему докторской степени.

«Наши потомки некогда с изумлением узнают от историка нашей культуры, что М. М. Бахтин, крупнейший русский литературовед XX века, с немалым трудом был утвержден ВАКом за близкую к гениальности диссертацию о Рабле в низшей степени кандидата филологических наук. Ибо в научной работе о Рабле наивный автор рекомендовал ученым заняться, ни много ни мало, изучением народных неприличных ругательств — по мнению диссертанта, темой весьма поучительной и плодотворной!.. «Защищаясь», домогаясь «степени», почтенный Михаил Михайлович явно не обнаружил достаточной степени, солидности. Махнув рукой, М. М. Бахтин так и не стал домогаться, «со-искать» (вместе с другими) следующей степени — доктора наук. Так и остался жалким «кандидатом» в ученые. И, вероятно, только поэтому дожил, несмотря на серьезные физические недуги, до 80 лет!» — писал об истории с Бахтиным много лет спустя другой выдающийся литературовед нашего времени — Леонид Ефимович Пинский.

Возвращаясь к статье Николаева в «Культуре и жизни», надо сказать, что разгромом Бахтина она отнюдь не ограничивалась. Здесь в грубой форме оскорблялись научные сотрудники ИМЛИ определенной национальности — М. П. Венгров, Е. Б. Тагер, А. А. Аникст и другие. Так в стенах института начиналась недоброй памяти «космополитическая» кампания, в которой мы далеко не сразу распознали элементарный еврейский погром, развернутый по высочайшему указанию ЦК и «лично товарища Сталина». Результатом статьи Николаева явилась полная смена руководства института. Директором был назначен работник Отдела культуры ЦК Александр Михайлович Еголин — человек не злой, но абсолютно безликий, зато его заместителем сделали хитрого и умного Сергея Митрофановича Петрова (тоже из аппарата ЦК), очень скоро создавшего в институте свой штаб из ловких молодых людей, готовых на любые «подвиги», кроме научных (мы называли их «мальчиками при дирекции»). Это были Игорь Успенский, Александр Овчаренко и молодой Слава Козьмин. Все трое — в особенности первый — сыграли чрезвычайно мрачную роль в истории института.

Новая дирекция начала с основательного перетряхивания штатов и научных программ института. Кое-кого из сотрудников, названных в статье Николаева, уволили, многих, занимавшихся историей литературы, «пересадили на современность», дабы ликвидировать «оторванность от жизни».

Затем в институте началась серия громких «дел».

Первым объектом погрома оказалась «История американской литературы». Беда этого труда заключалась в том, что он был начат еще во время войны, когда мы с США выступали единым фронтом против гитлеризма. Но из-за черепаших издательских темпов книга вышла в свет в 1947 году — в момент обострения советско-американских отношений. И тогда спокойный, доброжелательный тон авторов тома по отношению к исследуемой ими американской литературе показался «руководящим товарищам» недопустимым. Книгу обвинили в том, что она содержит извращения и политические ошибки, что в ней «слышен звон долларов» и т. п. Сотрудники зарубежного сектора, имевшие к ней даже косвенное отношение, были жесточайшим образом обруганы и либо тотчас же, либо спустя некоторое время уволены и даже посажены, как главный редактор Абель Исаакович Старцев.

Как-то в 1949 году во время демонстрации — то ли октябрьской, то ли майской — ко мне подошел сияющий Игорь Успенский: «Поздравь меня, Лена, Старцева посадили. Видишь, меня не слушали и не верили, а я давно говорил, что он враг».

Поздравить с арестом? Я содрогнулась от этой сатанинской радости, а потом поняла, что именно Успенский сам организовал этот арест, потому и считал его своей «победой» и требовал поздравлений.

Разгромленное издание — первый опыт «Истории американской литературы» на русском языке — было задумано автором в двух томах и писалось с подлинным знанием дела и с большой любовью. К моменту разгрома первого тома недалек был от своего завершения

и второй. Но после скандала материалы второго тома были отвергнуты и уничтожены без всяких разговоров. («Я жалею лишь о том, что нам не дали дописать второго тома, — говорил много лет спустя Старцев. — Пусть бы потом изругали и избили, но хоть осталась бы книга!»)

Вслед за расправой над американистами последовали партийные бюро с обвинениями в «космополитизме» ряда коммунистов-евреев. Это были (Борис Яковлев, В. Я. Кирпотин, И. С. Нович, Б. А. Бялик, Т. Л. Мотылева) не только специалисты в своей области, но и «правовверные» коммунисты. Последнее тоже ничего не значило. Все они были ошельмованы и как ученые, и как члены партии. После проработки на партбюро следовали партийные собрания, которые, как правило, единогласно принимали резолюцию, предложенную бюро: «исключить из партии и снять с работы». Уцелел только Бялик, получивший строгий выговор за неправильное толкование соцреализма (он находил в соцреализме то ли сочетание реализма с романтизмом, то ли еще что-то в этом роде).

Сегодня, по прошествии стольких лет, стоит задуматься над тем, каким образом достигалось подобное единогласие.

Сошлюсь на свой собственный позорный опыт.

Конечно, в то время я была уже бесконечно далека от лучезарного мировосприятия моей комсомольской юности, когда осуществление наших высоких идеалов казалось таким близким и несомненным. Давным-давно испарилось и счастливое «хозяйское» чувство, будто я хожу по «своей» советской земле и от меня еще что-то зависит в нашем общем деле. Что же оставалось в таком случае от моего коммунистического мировосприятия? Оставалась привычка мыслить заодно с обществом, с партией, со своей организацией, воспитанная многими годами веры и активного действия, ведь я вступила в партию в фабзавуче, в 19 лет. Нас так долго воспитывали в уважении к коллективу, к массе, к мнению большинства и к отрицанию индивидуализма, ставшего у нас просто бранным словом, что в конце концов мы совсем потеряли свое индивидуальное лицо. Нам просто не пришло бы в голову отстаивать свое мнение против большинства: раз большинство так считает, значит, надо подчиниться, значит, я чего-то не поняла, значит, я не права и т. п. С этим отсутствием индивидуального лица тесно связаны и те массовые психозы, которые, подобно «космополитической» кампании, были организованы и «спущены» сверху, но расходились внизу широкими кругами в однородно-безликой массе.

Теперьшнее молодое или, вернее, уже среднее поколение — поколение моих детей — объясняет все очень просто: вы все струсили, перепугались и предали своих однокашников как в 37-м году, так и во времена «космополитизма». Увы, хотя элементы страха и малодушия нельзя отрицать в этом деле, ведь мы жили в атмосфере всепроникающего государственного террора, но все в целом было гораздо сложнее, потому что здесь еще включался механизм податливости массовому психозу, которому не умели противостоять разум и души, не привыкшие к самостоятельной мысли.

К «космополитическому» периоду, а конкретно — к персональному делу Тамары Лазаревны Мотылевой, относится один из самых недостойных поступков в моей жизни. Как много раз до и после этого, я избиралась в состав партийного бюро института. Когда начались заседания бюро с исключениями «космополитов», я как раз собиралась в отпуск, но первые два исключения происходили еще до моего отъезда. Так как труды обвиняемых были мне недостаточно хорошо известны, я не слишком принимала к сердцу их «дело», попросту поверив всему, что говорилось на бюро, а говорилось главным образом, что они «увиливали», «юлили», были «неискренни перед партией», не хотели признать своей вины и т. д. Я бездумно проголосовала за решение бюро и уехала в отпуск. Вернувшись в Москву, я узнала, что на последнем заседании бюро разбиралось дело Мотылевой. Да и сама она позвонила мне в первый же вечер и спросила, не могу ли я заехать к ней домой поговорить.

Я знала Мотылеву довольно близко. Мы работали вместе в зарубежном секторе, и я уже не могу оправдываться тем, что не читала и не знала ее работ. Мы не были с ней близкими друзьями, но и относиться к ней плохо у меня не было никаких оснований.

Когда я пришла к ней домой и она рассказала мне, что ее исключают из партии за ее докторскую диссертацию, я чрезвычайно удивилась, потому что привыкла считать ее сильным научным работником и «правильным» коммунистом. При нашем с ней разговоре присутствовала ее мать — пожилая женщина, врач по специальности, которая с запальчивостью доказывала, что виной всему вовсе не ошибки Тамары, а ее национальность. Мы обе — и я, и Тамара — морщились. В этот начальный период «космополитизма» еще не говорилось открыто о том, что «космополиты» — это евреи. Мы обе были интернационалистками и не опускались до такого низменного понимания «космополитической» кампании. Тамара несколько раз резко обрывала мать и возвращалась к главной теме нашего разговора. «Мне бы хоть выговора добиться вместо исключения», — говорила она. «Почему выговора? — горячилась я. — Я не вижу и для выговора никаких оснований!»

Мы расстались на том, что на собрании я буду отстаивать эту точку зрения.

Но на другой день утром меня вызвал наш партийный секретарь Мартынов. Он начал с того, что за время моего отсутствия бюро провело «большую и очень важную работу» и он хочет ввести меня в курс дела, тем более что сейчас вопрос стоит о работнике моего зарубежного сектора — Мотылевой. Он разъяснял мне все долго, обстоятельно, убежденно, настаивал на страшном вреде для партии, который приносят эти ученые-космополиты, намеренно или ненамеренно захваливающие явления буржуазной литературы и искусства в ущерб нашей молодой советской культуре; приводил примеры, почерпнутые им из инструктажа, на котором он присутствовал в ЦК партии, потрясал несколькими криминальными, с его точки зрения, положениями и цитатами из работы Мотылевой. Речь шла о том, что она «принижает» нашего величайшего русского писателя Льва

Толстого, отдавая его на суд западных «пигмеев». И по мере того, как Мартынов говорил, я чувствовала, что сознание мое прямо-таки заволакивается чем-то чужим, въедливым и прилипчивым, и я уже не могла и не умела ничего ему возразить. Не помню точно его доводов, но помню, что он меня уговорил — уговорил! Я прибежала домой совершенно обескураженная и позвонила Тамаре, что дело оказывается, гораздо сложнее, чем я думала, и я ничего не смогу для нее сделать... Помню столь же обескураженный, как мой, голос Тамары на другом конце провода: «Погодите, Леночка, не опускайте трубку, объясните мне...» Но вряд ли я могла что-либо ей объяснить: такая каша образовалась у меня в голове.

А через несколько дней, на партсобрании, перед нами был разыгран целый спектакль, причем достаточно впечатляющий. Докладчиком по делу Мотылевой был докторант зарубежного сектора А. Ф. Иващенко, человек далеко не бездарный, но чем-то всегда ущемленный, маниакально подозрительный и истеричный, считавший, что его «затирают» те же евреи — Старцев, Аникст, Мотылева и другие. Театральным жестом он откидывал прядь волос со своего высокого и красивого лба и громко зачитывал какую-нибудь «недопустимую», с его точки зрения, фразу из диссертации Мотылевой, каждый раз сопровождая ее одним и тем же рефреном: «И это говорит советский ученый, коммунист?!?» — «Позор», — низким голосом вторил ему с другого конца стола партсекретарь Мартынов. Затем шла новая фраза из Мотылевой, и снова рефрен: «И это говорит коммунист?!?» И снова мартыновский бас: «Невероятно!», «Позор» и т. д.

Все собрание было оглушено и потрясено до основания. Никто не возражал и ни о чем не спрашивал. Выступающие вякали что-то, поддерживая тезисы докладчика. И я встала по приглашению Мартынова и вместо обещанной Тамаре защиты выговорила, как попка, какие-то пустые, дурацкие слова о «недопустимых» ошибках и затем проголосовала за исключение — как все...

Несколько месяцев спустя, когда Тамара Мотылева была уже восстановлена в партии благодаря заступничеству Фадеева (хотя так и не возвращена в институт), я встретила ее с мамой в театре. Тамара все давно приняла и простила (она ведь была такой же коммунисткой, как и я, и тоже голосовала за исключение тех «космополитов», которые обсуждались на нашем партбюро до нее), поэтому она совершенно спокойно поздоровалась со мной. Но когда я протянула руку ее маме, моя рука повисла в воздухе. Старая женщина не простила моего предательства и не подала мне руки. Я удалась пристыженная, ясно сознавая, что она права. Это чувство вины не ушло до сих пор. Каждый раз, когда я встречаю на писательских собраниях Тамару Лазаревну, я со стыдом думаю об этом.

После доклада Хрущева на XX съезде в жизни нашего института, как и по всей стране, началась эра страшных «открытий». Дело было не только в том, как страшно раскрылся образ обожаемого «отца народов» Сталина, но и в том, как раскрылись люди, сотрудиники, в частности наш ученый мир, воспитанный сталинщиной.

В зимний сезон 57-го или, может быть, 58-го года мы поехали с мужем в подмосковный Дом творчества писателей — Малеевку, где за нашим четырехместным столиком в столовой сидела еще одна супружеская пара: профессор истории Московского университета Евгений Львович Штейнберг, недавно вышедший из заключения, и его жена Татьяна Акимовна. Когда я сказала, что работаю в ИМЛИ, Евгений Львович спросил: «Это там, где работает Эльсберг?»

Яков Ефимович Эльсберг был весьма уважаемым профессором, доктором наук, сталинским лауреатом за книгу о Герцене, возглавлявшим у нас отдел теории литературы.

— Да, — ответила я. — А вы тоже его знаете?

Супруги переглянулись.

— Знаем ли мы Эльсберга? О да, и даже слишком хорошо, — сказал Штейнберг.

Через некоторое время, подружившись с нами, Штейнберги поведали нам драматическую историю своей семьи.

Штейнберг и Эльсберг, оба ученые, беспартийные профессора, были давними друзьями. Так как один (Эльсберг) был холост, а у другого была дружная семья, первый постоянно приходил в уютный дом своего женатого друга и, казалось, обожал его жену и маленькую дочку, которая называла его «дядя Яша» и выросла чуть ли не у него на руках. Так было на протяжении 10—15 лет. Однажды, когда Эльсберг пришел, как обычно, на чашку чая к своим дорогим друзьям, Татьяна Акимовна вышла к нему в полном смятении. «Женю утром взяли», — сказала она. Эльсберг постоял перед портретом Евгения Львовича и заплакал. Он продолжал приходить к Татьяне Акимовне ежевечерне, и они вместе горевали и обсуждали, что же ему, Штейнбергу, могли предьявить в КГБ?

Так как у Татьяны Акимовны были родственники за границей, она решила, что ее заберут тоже, и написала «завещание» для своей 14-летней дочери Оли. Но кому же дать на сохранение это завещание, пока она еще на свободе? Сомнений не было — «дядя Яше».

Через несколько дней ее вызвали на Лубянку для допроса, и во время допроса следователь неожиданно спросил: «Что, испугались, что и вас посадят, и написали завещание дочери?» — «Да, — ответила она, — действительно написала, я не хочу, чтобы девочка хоть на минуту усомнилась в честности своих родителей». Больше разговора о завещании не было, и в этот момент Татьяна Акимовна не задалась вопросом, откуда следователь узнал о нем. Но ночью, очевидно, какие-то подспудные впечатления дали о себе знать и ей

приснился страшный сон. «Оленька, — сказала она утром дочери, — ты знаешь, что мне приснилось? Будто в том, что папу арестовали, повинен дядя Яша». — «Что ты говоришь, мама?! — закричала на нее дочь. — Да он же нас любит больше всех на свете! Он нам как родной!»

Татьяна Акимовна смолкла, пристыженная. Однако через некоторое время с пересыльного пункта до нее чудом дошла открытка от мужа, который писал, что жив-здоров и чувствует себя прилично. А в конце открытки стояла многозначительная приписка: «Якову можешь не кланяться». В тот же вечер она попросила Эльсберга покинуть их дом, он повернулся и ушел без единого слова.

Дальше рассказывал сам Штейнберг. На одном из первых допросов следователь спросил его, действительно ли он, советский историк, утверждал в частной беседе, что в нашей стране невозможна объективная история, так как люди бесследно исчезают и советская печать либо не сообщает о них вовсе, либо сообщает сведения, которые невозможно проверить? Штейнберг подумал: нечто подобное он высказывал когда-то, только — кому? Ах, да, конечно же, другу Якову. Затем во время следующих допросов начали фигурировать новые цитаты из его давних размышлений, высказанных на протяжении последних десяти или пятнадцати лет. Кому? Опять же другу Якову. Евгений Львович был так огулен своей догадкой, что вначале не осмеливался ей поверить (даже когда один из его следователей недвусмысленно намекнул ему, что он «пригрел на своей груди змею»).

Но вот по окончании следствия он попал в пересыльное отделение Бутырской тюрьмы, где его соседом по камере оказался другой университетский профессор — Леонид Ефимович Пинский. Они разговорились, и Евгений Львович высказал ему свои подозрения насчет Эльсберга. «Вот так открытие! — рассмеялся Пинский. — Да он и меня посадил, и такого-то, и такого-то, и такого-то. Он — постоянный осведомитель ОГПУ и, по-видимому, занимается этим делом уже много лет». Сомнений больше не оставалось.

Мы ушли от Штейнбергов далеко за полночь глубоко потрясенные. Пятнадцать лет теснейшей дружбы, ежевечерних свиданий и задушевных бесед, после которых ваш друг садится писать на вас донесение, и вот эти донесения копятыся, копятыся до времени, и... бац! в один прекрасный день берутся на вооружение, и вы погибли, а ваш друг проливает слезу перед вашим портретом. Куда уж тут Иудино предательство, ведь Иудин поцелуй был единичным актом, а здесь оно длилось 10 или 15 лет ежедневно.

Я мысленно представила себе зловещую внешность Эльсберга: удлинённый и совершенно голый череп, черные, острые, как буравчики, глаза, которые впиваются в вас так, что вы вздрагиваете и чувствуете его взгляд, даже когда он устремлен в ваш затылок...

— Как же вы выбираете себе друзей? — спросила я Татьяну Акимовну. — За что вы его любили и так доверчиво впустили в свою жизнь?

— О, вы не представляете себе, какой это был обаятельный друг, — живо откликнулась она. — Он почти никогда не приходил

без цветов или конфет, постоянно приносил театральные билеты и новые книги, он действительно нянчил и баловал нашу Оленьку. Он, наконец, сам делился с нами всеми своими неприятностями и опасениями. Однажды, в самом начале «космополитической» кампании, он прибежал к нам страшно расстроенный, с газетой, где его фамилия упоминалась в числе театральных критиков, которых обвиняли в «преклонении перед Западом». Он был вне себя от страха и говорил, что «погиб», и мы его утешали, как могли. Однако больше его имя в этой обойме не упоминалось: очевидно, кем-то был дан соответствующий сигнал его не трогать... Но могли ли мы знать?

Я вспомнила репутацию Эльсберга в институте. Он был превосходным куратором молодых. Заблаговременно подбирая самых способных из студентов университета, он затем заботливо растил и пестовал их в аспирантуре института. Даже меня как члена партбюро он просил однажды заступиться за его питомцев перед грозным партсекретарем Успенским, обличавшим их в каких-то криминальных высказываниях. «Они, конечно, могут брякнуть какую-нибудь ересь, но они, знаете, очень способные мальчишки», — говорил Эльсберг. Любимыми учениками Эльсберга, действительно очень способными «теоретическими мальчишками», как я их тогда называла, были Вадим Кожинов и Петя Палиевский. В последние годы он проявлял заботу не только о своей молодежи, но и о других сотрудниках. Может быть, его мучила совесть и он хотел хоть как-то замолить свои грехи? Но что же заставило этого пожилого ученого, не лишённого добрых эмоций, пойти на такое страшное дело, как предательство людей, в том числе и самых ему близких?

От того же Штейнберга я узнала, что Эльсберг был посажен и выслан в Соловки за какие-то валютные операции еще в начале 20-х годов, то есть совсем молодым человеком (он был 1901 года рождения). Может, уже там он был завербован органами ОГПУ? Затем, став журналистом, он играл какую-то важную роль в РАППе (в журнале «На литпосту») при Авербахе. Потом был ученым секретарем в издательстве «Academia», которое возглавлял Л. Б. Каменев. Значит, когда Каменев и все его окружение были в 30-х годах стерты с лица земли, перед Эльсбергом уж наверняка был поставлен жестокий выбор: или голову долой, или «помогайте» нам. Человек слаб. Видимо, избрав второе, Эльсберг уже не мог выбраться из этого страшного круга.

Через некоторое время после окончания малеевской путевки я навестила Штейнбергов в Москве. За столом сидели гости, и один из них был мне чрезвычайно интересен. Это был тот Леонид Ефимович Пинский, с которым Штейнберг подружился в Бутырской тюрьме. Разговор шел об Эльсберге, причем хозяин дома кипятился, нервничал, называя последнего клеветником и провокатором, а Пинский спокойно возражал, что Эльсберг не клеветник, а нормальный осведомитель: «Зачем ругать грязный ручеек, вытекающий из унитаза, когда дело в самом унитазе? Стоит ли винить осведомителя, когда надо говорить о системе, которая этих осведомителей порождает и их услугами пользуется?»

Леонид Ефимович предполагал, что Эльсбергу было поручено наблюдение за определенным кругом людей, о разговорах и настроениях которых он должен был регулярно информировать органы. Кроме самого себя и Штейнберга он назвал литераторов Макашина и Левидова (Левидов погиб в лагерях, Макашин же вернулся и рассказал, что встретил Левидова на этапе и тот просил передать всем, что его посадил Эльсберг).

Год или полтора спустя я встретила Евгения Львовича в московском троллейбусе. Он рассказал, что на днях его вызвал к себе секретарь партийной организации Союза писателей И. И. Чичеров, который сообщил, что ряд людей, в частности дети погибших по вине Эльсберга, настаивает на его исключении из Союза писателей, и просил Штейнберга написать все, что он по этому поводу знает. Штейнберг писал свое объяснение четыре дня, запершись от всех и оставив свои повседневные дела. Затем отнес написанное в московскую партийную организацию Союза писателей, а когда вернулся домой, ему стало нехорошо. От вновь пережитых воспоминаний у него произошел инфаркт. Через полчаса его не стало.

А Эльсберг?

Он продолжал здравствовать в Институте мировой литературы и писать актуальные труды вроде «Моральных основ ленинской философии». Для приличия его сняли с заведования отделом, но он оставался профессором, старшим научным сотрудником и членом ученого совета ИМЛИ. Провести исключение Эльсберга из Союза писателей не допустили его покровители из правления Союза писателей РСФСР.

Впрочем, позавидовать Эльсбергу было трудно. Всем ведь стало все известно. Как-то во время обеда в писательском ресторане кто-то из писателей, изрядно выпив, вдруг воззрился на Эльсберга и с криком: «Ах ты, провокатор, убийца!» — выплеснул ему в лицо тарелку супа. Эльсберг быстро поднялся и ушел из ресторана. С тех пор он не показывался в здании Союза и нигде вообще, кроме ИМЛИ. Он все время чего-то опасался — и не напрасно. Уже через много лет, в начале 70-х годов, когда он вышел с заседания ученого совета ИМЛИ, возле троллейбусной остановки какой-то молодой человек сильно ударил его в бок, так, что он упал и уже не смог встать. Пролежав долгое время в больнице, он не мог больше ходить без костылей. В скором времени он умер.

Был ли удар, полученный Эльсбергом, просто случайным хулиганским актом или же это было возмездие со стороны кого-то из сыновей погибших по его вине людей? Этот секрет Эльсберг, если и знал, унес с собой в могилу...

* * *

После смерти директора ИМЛИ И. И. Анисимова весной 1966 года одним из претендентов на его место стал сотрудник сектора Горького А. И. Овчаренко. Это был тот самый Овчаренко, с помощью

которого вырвали позднее из рук Твардовского «Новый мир». На собрании в Союзе писателей он назвал поэму Твардовского «По праву памяти» «кулацкой», а через несколько дней того же Овчаренко назначили членом редколлегии «Нового мира». Это был намеренный плевок в Твардовского, и такого оскорбления Александр Трифонович уже не снес. Как от него давно домогались, он подал заявление об уходе.

Все это было значительно позднее. К тому времени, о котором я сейчас говорю, наглый и самоуверенный Овчаренко успел обзавестись учеными степенями и званиями доктора наук и профессора, а самое главное, захватить ключевые позиции в ВАКе, так что от него зависело прохождение кандидатских и докторских диссертаций; в литературоведении он играл ту же роль, что и Софронов, Кочетов и Грибачев среди писателей. И если Анисимов еще мог как-то сдерживать его неумеренные аппетиты и приглашать склоки, которые Овчаренко постоянно затевал в институте, то теперь никто уже не мог остановить его буйного стремления вверх.

Приближались выборы в Академию наук, и стало известно, что одно место члена-корреспондента дается литературоведам. Тут же от разных литературных учреждений страны стали поступать предложения.

От нашего института были выдвинуты заведующий отделом зарубежных литератур Р. М. Самарин и замдиректора В. Р. Щербина. Неожиданно для всех ленинградские литературоведы, к которым присоединился академик В. В. Виноградов, выдвинули кандидатуру Овчаренко. Эти ленинградцы были людьми его же плана, не столько учеными, сколько администраторами от литературоведения. Виноградову же, очевидно, кто-то подсказал поддержать эту кандидатуру, а он был откровенный циник, к тому же презиравший ИМЛИ и его деятелей, и, наверное, решил: хотите Овчаренко? Пожалуйста, получайте Овчаренко!

Всем было ясно, что вновь избранный членкор займет пост директора ИМЛИ. В институте началось великое волнение. Ничего не могло быть хуже, чем получить в директора Овчаренко. «Давайте писать письмо в отделение языка и литературы от коллектива института», — решили мои партийные товарищи. И с кем бы мы ни говорили о нашей затее — все нас дружно поддерживали, считая, что необходимо спасти институт от Овчаренко. Когда же такое письмо было составлено и в нем сказано, что ни по своему научному уровню, ни по моральным данным А. И. Овчаренко совершенно не соответствует званию члена-корреспондента и тем более директора Института мировой литературы АН, тут-то и выяснилось, что подписывать его почти никто не рвется. Все боялись Овчаренко и его таинственных связей, которые он, очень может быть, сам и придумывал.

Бялик, возглавлявший сектор Горького, сказал, что его подпись наведет на мысль о разногласиях между горькововедами, а это снизит подлинное значение письма. Другие, у которых диссертации находились в ВАКе, боялись, что Овчаренко немедленно «зарежет» их.

Третьи, уже пенсионного возраста, опасались, что, пройди Овчаренко в директора, он сейчас же отправит их на пенсию, и т. д.

Тогда мы решили: пусть письмо пойдет в собрание академиков хотя бы с маленькой горсткой подписей. Нас набралось — от членкора Л. И. Тимофеева до скромного работника архива Горького Ани Погосовой — двенадцать «бесстрашных».

Накануне выборов стало известно, что академик-секретарь отделения литературы и языка Б. М. Храпченко предложил от имени партгруппы отделения кандидатуру Овчаренко. Все, казалось, было предрешено, даже команда будущего директора негласно сформирована и уже собиралась в директорском кабинете.

Когда Храпченко от имени партгруппы назвал кандидатуру Овчаренко, членкор Д. Д. Благой встал и попросил зачитать письмо от коллектива научных сотрудников ИМЛИ. Собрание заволновалось: какое письмо, почему мы об этом ничего не знаем? Храпченко тут же заявил, что это письмо «прямого отношения к выборам не имеет», но старики-академики были любопытны и заставили все-таки письмо зачитать.

— Что ж, — сказал член-корреспондент В. М. Жирмунский, прослушав его. — Я не имею счастья знать научных трудов товарища Овчаренко, но то, что говорят о нем ученые Института мировой литературы — а тут среди подписей уважаемые мной имена, например Леонид Иванович Тимофеев, Анна Аркадьевна Елистратова, Вера Дмитриевна Кузьмина и другие, — заставляет меня прислушаться к ним. Я лично за кандидатуру Овчаренко голосовать не буду.

— Так ведь дело, мне кажется, не столько в научных, сколько в моральных данных Александра Ивановича Овчаренко, а в этом отношении и вторая кандидатура из Института мировой литературы — Роман Михайлович Самарин — тоже не на высоте, — ехидно сказал академик Виноградов и окончательно убил этой репликой всех имлийских претендентов.

После этого ни Овчаренко, ни Самарин уже не смогли собрать даже и трети голосов, хотя и были приняты все меры. Снова собралась партгруппа, срочно (самолетом) были посланы урны на Дон и Украину — к Шолохову и Корнейчуку (они имели звания академиков). Оба проголосовали «как надо», но это уже не помогло. Большинство ученых отдали свои голоса скромному специалисту по болгарской литературе из Института славяноведения — Дмитрию Федоровичу Маркову.

Входя на следующий день в институт, я нос к носу столкнулась с Овчаренко. Он был в бешенстве и шип пустил по-змеиному: «Хорошо пишешь, Е. М., очень хорошо пишешь!» — и с ненавистью — хлоп! — дверью.

А в институте царило ликование. По случаю «спасения от Овчаренки» люди целовались, бросались обнимать и благодарить авторов письма.

Но подписавшие знали, что у каждого из них появился злобный и упорный враг, который, говорят, по пьяной лавочке заверял своих приятелей: «Буду мстить хоть двадцать лет, но не успею».

коюсь до тех пор, пока не выкину из института всех до единого этих писак и их друзей!»

Примерно так оно в конце концов и получилось. Но получилось и другое: каждый раз при выборах в АН СССР выдвигалась кандидатура Овчаренко и неизменно проваливалась.

* * *

Когда начиная с 1954 года из дальних краев стали возвращаться уцелевшие люди, одним из первых появился Борис Леонтьевич Сучков, умный, талантливый литературовед-зарубежник, сделавший незадолго до ареста стремительную и блестящую карьеру. После окончания аспирантуры он был назначен заведующим иностранным отделом Гослитиздата. Затем его поставили во главе только что созданного издательства «Иностранная литература», а через некоторое время пригласили и на работу в ЦК, где он встретился с Виктором Николаевым. Эта встреча стала роковой в его жизни. Ущемленный тем, что коллега по ЦК, более молодой, но значительно более удачливый и образованный, явно обскакивал его, Николаев произвел Сучкова в «английские шпионы» и написал об этом «куда следует». В 1947 году Сучков был арестован и после зубодробительного следствия приговорен к расстрелу, замененному 25 годами лагерей. Дело Сучкова было настолько громким, что после его ареста из аппарата ЦК полетело несколько его бывших начальников и покровителей. Всех, кто с ним когда-либо работал, еще долгое время вызывали в высшие инстанции и выражали удивление, каким образом прозевали такого крупного шпиона.

После реабилитации Сучков лет десять выдерживался на скромном ампула заместителя главного редактора журнала «Знамя». Был он еще относительно молод, с блеском защитил докторскую диссертацию и изо всех сил старался наверстать упущенное время. Когда директорство Овчаренко было «завалено», руководить ИМЛИ назначили Сучкова. Стать директором института означало открытый путь в членкоры, а затем и в академики: это была бы изумительная карьера для бывшего зэка! Членкора Сучков действительно вскорости получил, а вот до академика не дожил. Слишком старался. На его примере я поняла, что из лагерей люди выходили разными. Сучков принадлежал к тем, кто твердо решил выдвинуться и вознаградить себя за перенесенное. Однако после пережитого был нервным, маниакально подозрительным, истеричным, ни с того ни с сего мог взорваться и бешено накричать на сотрудников. «Сучков — это ведь персонаж из Достоевского, — говорили о нем, — ему ломали судьбу, и он ломает судьбы».

Ничего этого себе не представляя, мы встретили назначение Сучкова с радостью: человек знающий, образованный, способный да еще незаслуженно пострадавший!

Политически это были между тем времена довольно неопределенные. То ли еще «оттепель», то ли уже ее конец. Еще продолжа-

лась по инерции реабилитация несправедливо замордованных литературных имен и целых течений, и Сучков вначале сделал ставку на все передовое в литературе. Но вместе с тем тучи на политическом горизонте страны снова начали сгущаться: появилось движение «подписантов», вызвавшее новые свирепые расправы властей.

В журнале «Вопросы литературы», где было всего несколько коммунистов, прикрепленных к нашей парторганизации, оказался один такой «подписант» — талантливый критик и литературовед Валя Непомнящий. И вот мы должны были разбирать «дело» Непомнящего на бюро. Это были уже не «космополитические» годы, когда люди прямо натравливались друг на друга. Теперь большинству из нас — членов партийного бюро совсем не хотелось портить жизнь этому молодому человеку. Все понимали, что исключение из партии будет означать увольнение с работы да еще с «волчьим билетом». На заседании сидела злющая инструкторша райкома и вела допрос «обвиняемого»: что заставило его, молодого коммуниста, поставить свою подпись под таким антисоветским документом? Даже если он адресован советскому правительству, неужели он не понимал, что его сейчас же перепечатают и используют для антисоветской агитации наши зарубежные враги? Непомнящий признавал, что да, он этого недопонимал, недоучитывал и т. п. Следовал новый вопрос: кто именно принес Непомнящему это письмо на подпись? На это он ответить отказался, чем вызвал прилив ярости и криков, что он-де даже в такой момент неискренен перед своими товарищами, перед партией и т. д. Но на отказе он держался стойко.

— Так ведь мы, собственно, ничего антисоветского в виду не имели, мы хотели только указать на полную неопределенность дела в нашей печати, мы хотели, чтобы наши враги не имели повода говорить о незаконности действий советского суда, — сказал в какой-то момент обвиняемый.

И тут вдруг неожиданно взорвался Сучков.

— Да как же вы только могли допустить мысль, что советское правосудие может действовать незаконно!?

— Но ведь был же 37-й год! — робко ответил Непомнящий. — И потом... (он, наверное, имел в виду прошлое самого Сучкова, но не решился сказать вслух об этом).

Сучков побагровел.

— Ну да! — закричал он, глядя на всех почти с ненавистью. — Я тоже был арестован и сослан, но все было оформлено законным судебным порядком, слышите? С той разницей, что я — честный человек, а эти Гинзбурги и Галансковы, которых защищает Непомнящий, — антисоветчики и подонки!

— Что вы говорите, Борис Леонтьевич! — не выдержала я. — Каким же «законным порядком», когда вы — честный человек — были приговорены к 25 годам лагерей? Где же тут закон?

— А вы вечно вмешиваетесь со своими эмоциями и замечаниями совершенно не к месту и не ко времени! — крикнул Сучков с такой силой, что все мы растерялись и смолкли.

Я подумала, что этому человеку нестерпимо было даже слышать

про свои прошлые беды, которые он хотел вычеркнуть из жизни. Или, возможно, он не желал показаться инструктору райкома либералом. Он же знал, что такие биографии, как его, никогда полностью не прощаются...

В конце концов бюро все же решило «ограничиться выговором». К этому решению присоединился и Сучков. Но когда в райкоме Непомнящему снова был задан тот же вопрос: кто дал ему на подпись письмо, и он опять отказался на него ответить, — его исключили из партии вопреки всем нашим стараниям.

Сучков умер в 1974 году. Ему еще не было шестидесяти, и он совсем немного не дождался выборов, которые должны были произвести его в академики.

Человек он был сложный. Отнюдь не просто карьерист, он сочувствовал в себе яркую силу ума и таланта с отчетливой душевной неустойчивостью, которая в страшных условиях сталинского застенка привела его к преступлению по отношению к ряду людей: он дал показания, будто они были членами созданной им диверсионной группы, которая готовила «покушение на товарища Сталина». Группа была «оформлена» в стенах Лубянки, среди названных им «террористов» были и друзья. Все получили большие сроки, как и он сам. Вернувшись из лагеря, Сучков искал встречи с ними, плакал, просил прощения, говорил, что его сильно били (ему, красавчику, вышибли все зубы); в конце концов он понял, что сопротивляться бесполезно, и сделал все, что от него требовали.

Позднее, когда он начал делать блистательную карьеру, встречи друзей прекратились. Сучков, наверное, уже не хотел вспоминать прошлое.

В «пражскую весну» он с нетерпением ждал сводок чешской прессы, которые регулярно делала для него специалист по Чехословакии Инна Абрамовна Бернштейн, возбужденно делился с ней впечатлениями, а потом, когда там все было кончено и весна была растоптана нашими танками, долго не мог простить Инне, что она была свидетелем его «незаконных» чувств, смотрел на нее зло и раздраженно.

Было, однако, и еще нечто, чего нельзя игнорировать при подведении итогов его жизни. Попав на пост директора ИМЛИ и обретя тем самым широкие возможности творить литературную политику, он постарался использовать их не только в целях укрепления своего положения, но и на пользу литературы, которую действительно глубоко понимал и, должно быть, любил. У него было много замыслов и благих намерений. И работал он совершенно бешено, увлеченно, гораздо больше, чем требовалось, чтобы строить карьеру. При утомительной административной деятельности он очень много писал на самые разные темы зарубежной литературы, читал ее в подлинниках на тех языках, которые знал, а порой, как в случае с Чапком, специально изучал для этого язык. И был он куда масштабнее и деятельнее своего предшественника на посту директора ИМЛИ. Достаточно вспомнить, что оба любили Марселя Пруста, долгое время считавшегося у нас «модернистом». Но Анисимов тщательно скрывал

эту свою запретную любовь, а Сучков дерзнул вернуть Пруста советскому читателю, добился его переиздания, окрестив его для этого «критическим реалистом». Ему мы обязаны выходом в свет «Избранного» Гамсуна; давным-давно не переводившегося на русский язык Кафки; романа «Иосиф и его братья» Томаса Манна, перевод которого много лет лежал в издательстве без движения; затем он собирался издать Джойса и работал над Чапеком, стремясь показать его более глубоко, чем тот был у нас известен.

Однако при этом, занимая пост директора важного идеологического учреждения, бывший «шпион» Сучков старался во что бы то ни стало на этом посту удержаться и «получить академика», а следовательно, должен был приспособливаться и выполнять все директивы, как бы ни противоречили они его собственным убеждениям. Это было нелегко, и жил он, вероятно, как на вулкане. Тем более что, мнительный и истеричный, он постоянно ждал каких-нибудь подвохов. Да и не в одной мнительности было дело. Не знаю, верно ли, но был такой слух, что незадолго до его смерти Овчаренко и еще кто-то из «бдительных» написали на него донос в ЦК, адресованный персонально Суслову, о том, что Сучков ведет неправильную литературную политику, будучи слишком пристрастен к модернистской литературе. Прослышав про этот донос, Сучков бросился оправдываться, но Суслов его не принял, что было для директора ИМЛИ большим ударом. Он сильно нервничал и в угнетенном состоянии поехал в Венгрию, где происходила какая-то важная конференция и где его настиг второй инфаркт. Там он и скончался.

* * *

Рассказав эти несколько эпизодов из жизни ИМЛИ и оглядываясь на всю его многострадальную историю, я не без грусти думаю о том, сколько мог бы сделать такой — крупнейший в стране — коллектив разносторонне образованных филологов, если бы... если бы жизнь и творческая мысль людей, как и во всем нашем обществе, не находились под постоянным давлением, не были изморожены и искалечены грубым вмешательством властей.

В институте никогда не было недостатка в знающих и талантливых людях. Но — от Каменева и Луппола до Старцева и Синявского — сколько их было оклеветано, репрессировано, иногда даже физически уничтожено вместе с их замыслами и трудами! И сколько других, тоже не бездарных и знающих, с юности было приучено к тому, чтобы «служить» не науке, а начальству, чтобы «выдавать» какие приказано характеристики и оценки, чтобы предавать и уничтожать своих ученых собратьев! И сколько при этом было введено в нашу науку ничтожных и вредных людей, которые, ничего в литературе не понимая, проводили в ней погромные директивы и расправлялись с негодными сотрудниками, искренне преданными науке!

Сейчас, когда старшее поколение литературоведов уже сошло со сцены, в институте работает немало одаренных молодых да уже и не совсем молодых людей. Если бы могли послужить им уроком судьбы предшественников... Но главное: да не повторится с ними наша история!

Апрель

Марк БЕРКОЛАЙКО

Гон

Гречанин ехал медленно, преувеличенно внимательно следя за дорогой, хотя она вовсе того не требовала, привычная дорога по Ленинскому, потом по Вернадского. Но он обращал внимание на все мелочи, старался занять себя этими мелочами, старался не думать о том, что цвет мокрого асфальта в эти осенние сумерки похож на цвет легендарного вечернего платья, сшитого матерью специально для приема у Мессершмидта...

Это после того приема у Мессершмидта мать пообещала отцу, что в их квартире свет будет сиять так же ярко, как в тяжеловесно мебелированной гостиной огромного особняка, что она всегда будет встречать его такая же красивая... только не в этом вечернем платье... глупый, не могу же я каждый вечер его надевать... она пообещала это в салоне мессершмидтовского «роллс-ройса», отвозившего их в гостиницу.

«Что?! — возмутился Мессершмидт. — Такси?! Самая прелестная женщина, которую я когда-либо встречал, поедет от меня на такси?! Вы поедете в моей машине, и я долго еще потом буду вдыхать ваш аромат... Я схожу с ума, фрау Гречанина, я схожу с ума!» И действительно сходил с ума. Выпил много шампанского. Произнес много тостов, и все об одном: рациональная немецкая техника и иррациональная русская красота будут владеть миром.

Сережа Гречанин, их десятилетний сын, мирно спал в это время в далекой Москве, а они, забыв обо всем на свете, на одиннадцатом году брака целовались в роскошном салоне мессершмидтовского «роллс-ройса», его руки нетерпеливо мяли скользкую ткань вечернего платья, и был он похож на шального кавалергарда, выкравшего на

одну — но какую! — ночь ослепительно прекрасную и баснословно дорогую куртизанку.

...Когда Гречанин выходил из машины, с ним поздоровались два молодых сотрудника. Почти наверняка, отойдя, кто-нибудь из них сказал другому: «Похоже, Иезуит сегодня не в духе» — Сергей Николаевич не слышал этой фразы, но готов был поклоняться, что нечто подобное, включающее его кличку «Иезуит», произнесено было. Он знал, что эта кличка пристала к нему с незапамятных времен, и не просто смирился, а радовался ей.

А семь лет назад ему донесли, что наслышавшаяся о нем студентка, причем не мехмата, а филфака — воистину, всенародная слава! — так вот, эта самая студентка, проходившая тогда корректорскую практику в редакции журнала, главным редактором которого он был, увидев его впервые, прошептала заведующей: «Ваш Гречанин не просто иезуит, он — сам Игнатий Лойола!» Узнав об этом, Сергей Николаевич почувствовал даже что-то вроде благодарности к провинциальной девочке, в каком-то смысле повысившей его в чине.

Когда практика уже подходила к концу, он попросил ее держаться в редакции после работы. Провинциалка, вырвавшаяся на пять лет в столичную жизнь и со страхом думающая о предстоящем через год распределении, послушно осталась в опустевшей редакции. И он без обиняков предложил ей руку и московскую прописку, суховаато предупредив, что из всех обязанностей жены и хозяйки неукоснительно соблюдаться должна одна: ухаживать за полубезумной 78-летней матерью, то не встающей неделями с постели, то днями и ночами бродящей по огромной квартире в поисках чего-то, ведомого лишь ей одной.

И вот бывшая провинциалка, а теперь пообтершаяся и неопределенно молодая москвичка, семь лет уже как его жена. Она не уйдет от него (хотя могла бы уйти, оттяпав попутно комнату) — в этом он уверен. Сама она, конечно, думает, что уйти ей мешает верность семилетней давности договору — пусть так, пусть кажется самой себе жертвой собственной порядочности. Но он-то прекрасно знает истинную причину: те, кого гонят, никогда не уйдут далеко от тех, кто их гонит...

Иезуит... Игнатий Лойола... Глупости! Самому себе он виделся волком. Пусть вытянутое лицо его похоже не на волчью морду, а на полуразрушенный готический собор, пусть взгляд исподлобья, который он у себя с молодых лет вырабатывал, так до сих пор и не получается — все равно, он ощущал себя волком, и даже собственная отрывистая речь, другому, может быть, напоминавшая воронье карканье, его внутренним слухом воспринималась как сухой волчий лай...

Они поженились в начале июля 80-го. Гречанин еще раз нанял сиделку, за большие деньги согласившуюся присмотреть за матерью, и повез молодую жену в Крым. Роскошный номер в интуристской гостинице — его устроил бывший аспирант Гречанина, ставший проректором Симферопольского университета; несколько насмешливое, но постоянное внимание, которое Сергей Николаевич оказывал своей «будущей вдове» — а именно так отрекомендовал ее встречав-

шему их в аэропорту проректору, — и неизбалованная студентка, истерзавшая себя упреками за этот странный брак, думала теперь с облегчением, что просто почувствовала тогда, как он несчастен и ужасающе одинок, что просто пожалела его в ту минуту, когда он, после своего цинического предложения, попытался саркастически улыбнуться, но не сумел совладать с судорогой, сделавшей его лицо еще более похожим на полуразрушенный готический собор... Так было несколько первых дней их пребывания в Крыму, когда непрестанно шел дождь. В эти дни Сергею Николаевичу было почти спокойно. Но в первый же ясный день, когда Гречанин увидел на пляже, какая жизненная сила переполняет тело жены, когда это же солнце безжалостно осветило его собственное тело, неплохо — благодаря бегу и теннису — сохранившееся, но ради сохранения которого требовались постоянные гигантские усилия, он разом вернулся в привычное свое состояние тихой ненависти к миру.

Вскоре они услышали, что умер Высоцкий. Жена плакала, а Гречанин угрюмо думал о том, кто посмел хрипеть от имени волков, посмел написать о них, как о беспомощных и гонимых. О них, самой природой созданных для неутомимого гона! И когда она, шмыгая обгоревшим, шелушащимся носом, сказала: «Не осталось правды на земле, совсем не осталось...», — он ответил ей пушкинским: «Все говорят: нет правды на земле, но правды нет и выше!» Жена взглянула на его лицо, сведенное улыбкой-судорогой, и все поняла... «Вы отпустите меня когда-нибудь, Сергей Николаевич?..» — она и раньше, даже в те дождливые, хорошие для него дни, даже в постели, звала его на «вы» и по имени-отчеству... «Нет!»...

Семь лет она содержит мать в сытости и опрятности и часто, кормя и обмывая, приговаривает глухой старухе те ласковые слова, которые у каждой женщины припасены для будущего ребенка. Она хорошо ведет хозяйство; два раза в неделю исчезает куда-то по вечерам, а в остальные — читает, забравшись с ногами в старое отцовское кресло... Иногда по ночам плачет, уткнувшись в костлявое плечо мужа, а он делает вид, что не замечает, и старательно посапывает...

Уже идя по коридору института, Гречанин опять увидел асфальт цвета легендарного вечернего платья... потом черную равнину... волка... но довольно! Достаточно на сегодня и воспоминаний, и анималистских ассоциаций... Если не на сегодня, то на ближайшие три часа — достаточно!

Член-корреспондент АН СССР, главный научный сотрудник Института вычислительной математики, профессор Сергей Николаевич Гречанин неторопливо шел в конференц-зал на предзащиту Тапиева А. М.

И ничего более.

Но и ничего менее.

Центральным результатом докторской диссертации Тапиева было решение задачи, поставленной Гречаниным в середине 70-х.

Тапиев увлеченно размахивал короткими ручонками, он называл эту задачу «проблемой Гречанина» и преданно заглядывал тому в глаза. Перебор, мой дорогой, перебор. Не проблема, а просто задача. Трудная, не давшаяся когда-то его молодняку. Ау, молодые! Он явственно слышал их сердитое сопение. Обидно, мальчишки, да? Обидно, когда такой лакомый кусочек оказывается во рту у какого-то там Тапиева?

Но все же не проблема, а задача. Его знакомый, кинорежиссер, с которым он иногда встречается, бегая по вечерам, сказал ему как-то: «Все наши проблемы — суть проблемы нашего восприятия». А потом еще долго не отпускал Гречанина и говорил, и говорил, и что-то было в нем раздражающее. Ах, да, непомерно длинные руки, которыми он энергично размахивал.

Нет. Нет гармонии... Слишком длинные или чересчур короткие руки. Ущербные особи, которые в любом стаде выбраковывались бы мудрой природой. Но в этом, которое он обязан именовать «мои современники» или, что того гаже, «мои соотечественники», — в этом стаде они путаются под ногами, суетятся, решают поставленные им задачи, убеждают его в чем-то...

Ага! Любопытный нюанс! Забавно, что именно это место из давней топорной работы Маршо дало ключ к решению его задачи. Он переглянулся с Быковским...

— Вопросы к диссертанту? — спросил завотделом академик Шубин.

— Наверное, стоило бы упомянуть о работе Маршо, из которой вы взяли эту оценку? — расслабленно произнес Быковский.

Хорошо, Быковский понял взгляд вожака!

Тапиев вновь замахал ручонками.

— Я понимаю, что рассуждения Маршо относились к другой ситуации. — Быковский все так же расслаблен. — Но даже Добчинский с Бобчинским долго спорили, кто первый произнес «Э!». А при решении таких, давно поставленных задач вопросы приоритета стоят гораздо острее.

— Инstrukция ВАК гласит, что докторская диссертация должна либо открыть новое направление, либо решить актуальную научную проблему. Под какую категорию подпадает ваша диссертация? — Это Капошин.

Хороший вопрос, молодец Капошин!

— Нет, нет, бога ради! — Сергей Николаевич улыбнулся Тапиеву.

— Не стоит, я думаю, задачу, поставленную, так сказать, «в годы начала эпохи застоя» (смех в зале), классифицировать как актуальную проблему. Может, все же новое направление?

— О новом направлении речи быть не может. — Гречанин оценил этот выплеск научной принципиальности со стороны любимого ученика, Кускова. Вот и дискуссия! — Я бы вообще, Сергей

Николаевич, назвал эту тематику, уж извините, несколько заскорузлой.

— Ну, это вы, Константин Иванович, переборщили! Хотя... Сам я от этого круга задач ушел уже лет десять назад. Так что не мне судить, насколько результаты диссертации интересны.

Тапиев, похоже, перестал что-либо понимать. Он затравленно посмотрел на Шубина, у которого стажировался во время работы над диссертацией, на великого Шубина, на Шубина — живого классика, по книгам которого учился, наверное, еще в университете.

— Это уже не вопросы, а обсуждение. Поэтому вам, Александр Мусаевич, стоит выйти, — едва сдерживая ярость, сказал Шубин. В походке Тапиева чувствовалась обреченность.

— Теперь, может быть, вы зададите мне хотя бы один математический вопрос по этой диссертации? Подчеркиваю, математический, а не спекулятивный, — буквально зарычал Шубин.

6—4. Шесть человек, включая Гречанина, «гречанинцы». Четверо, включая Шубина, «шубинцы». Когда-то Андрей Михайлович Шубин, утратив чувство опасности, позволил пятерым молодым и, будем объективны, хорошим математикам закрепиться в своем отделе. Кто ж тогда знал, что они станут «гречанинцами»? Да, среди «шубинцев» академик и два членкора, но... 6—4. И потому в рыке Шубина чувствовалось бессилие одряхлевшего льва. Тем не менее почти час «шубинцы» так и эдак растолковывали, почему диссертация Тапиева хороша. А «гречанинцы», поощряемые полуулыбкой готического лица, доказывали, что диссертация Тапиева — вообще не диссертация.

Но результат был предопределен: 6—4.

Потом в конференц-зал вызвали Тапиева, и Шубин, приподняв диссертацию над столом, сказал:

— Ни одного замечания... Ни одного — ни к одной строчке. Но на основе соображений, которые лично мне представляются совершенно надуманными, шестеро сотрудников отдела голосовали против того, чтобы рекомендовать вашу диссертацию к защите в нашем совете. Поверьте, мне лично очень жаль. Ищите другой совет.

— Минуточку, Андрей Михайлович, — откликнулся Гречанин. — Мне бы не хотелось, чтобы диссертант счел себя жертвой каких-то интриг. Соображение, которое Андрею Михайловичу представилось надуманным, таково: мы не понимаем, зачем все, что вы доказали, нужно было доказывать. Кому, кроме вас, все это нужно? Я знаю, что вы хотите сказать, — упредил он Тапиева, поскольку тот явно собрался замахать ручонками, — вы хотите сказать, что одолели поставленную мной в 1974 году задачу. Но давайте посчитаем, сколько работ по ней появилось за 12 лет? Я знаю только три, и все три откровенно плохие. То есть ни один классный математик все эти 12 лет не атаковал. Я сам относился к ней как к любопытному, но в конечном итоге неинтересному вопросу. Ну хорошо, ну решили вы ее. Ждете награды? Я гарантирую вам опубликование статьи в моем журнале. Готов даже отдать вам три свои ежемесячные членкоровские надбавки (смеяться в зале). Но профессорскую зарплату по гроб жизни — это многовато...

...Шубин вышел из конференц-зала первым и, подождав Гречанина, отвел его в пустующий конец коридора.

— Я иду к Ивану Мокиевичу и говорю ему, что не в силах оставаться завотделом. Не хочу, чтобы несправедливости, подобные сегодняшней, прикрывались в конечном счете моим именем.

— На вашем месте я не стал бы этого делать, — спокойно ответил Гречанин. Ответил, как отвечал в подобных ситуациях и пять лет назад, и три года, и год...

— Сергей Николаевич! — это Тапиев. — Я благодарен вам за конструктивную критику... (Дурак!) Я поступил неправильно... Работу нужно было показать сначала вам, а не Андрею Михайловичу...

— Я вот что, дорогой, вам скажу, — Сергей Николаевич произнес «дорогой» как «дара-гой», и Тапиев искательно улынулся этому намеку Гречанина на его, Тапиева, кавказское происхождение. В гордо посаженной голове замелькали небось варианты: пригласить на лето в горы, в гости к отцовской родне (пирушки, шашлыки, все для важного гостя), а до того — ящиками — фрукты, коньяк, быть может, он, Гречанин, охотник — тогда ружье с серебряной насечкой... но подожди, «дара-гой», не спеши возноситься, не спеши, потомок горного орла, взмахивающий короткими ручонками, как недоразвитыми крылышками; стой крепче на ногах, держи удар — оп!

— Андрей Михайлович посоветовал вам искать другой совет. А я не советую. Не пропустит ВАК вашу диссертацию.

— Вы думаете, что Павел Ильич... — почти вскрикнул Тапиев. Много тоски было в этом вскрике.

Павел Ильич — председатель экспертного совета ВАК по вычислительной математике. Ходят слухи, что они с Гречаниным большие друзья, — на самом деле они всего лишь внимательно прислушиваются к мнению друг друга... Но пусть ходят... Такие слухи зачастую полезнее, чем действительный факт.

— Что с вами, Сергей Николаевич? — испуганно зашептал Тапиев. — Вам плохо?

— Кому?! Мне?! — прокаркал Гречанин (а внутреннее ухо услышало сухой волчий лай). — Мне?! — прокаркал он, пытаясь унять судорогу-улыбку. — Мне хорошо.

У гардероба толпился молодняк, и бока их еще вздымались после разогретого кровь удачного гона. Гречанин молча оделся и молча пошел к выходу, а они ведь ждали похвалы за труды! За ревностное исполнение команды: «Гон!» За сноровистое преследование.

За тот точный расчет, с которым они подвели гонимого под ставящий точку прыжок вожака.

* * *

Вечером Гречанин вышел из кабинета в длинный, темный коридор. Конец коридора был чуть-чуть освещен мерцанием экрана и сла-

бым светом ночника в бывшей детской, теперь — комнате матери. И Сергей Николаевич, не зажигая света, пошел в эту комнату...

...А когда-то свет горел по всей огромной четырехкомнатной квартире, и это было не легкомысленное отношение к экономии электроэнергии, а утверждение радости бытия. «Долой неосвященные углы! Мы ничего не скрываем! Света! Больше света!»

Чисто убранный, залитая светом — дневным или электрическим — квартира, красавица-жена, ухоженный, угловато растущий, но кругло отличный сын — все ждало появления отца, блестящего инженера, любимца и ближайшего помощника знаменитого авиаконструктора. Он появлялся поздно или не появлялся сутками, когда гонка выполнения срочного (а они почему-то всегда были срочными) правительственного заказа, виражируя, мчалась, выжимая все силы, к финишу, но все, в любую минуту, ждали его появления — не появления, а явления. Творца. Вседержителя. Бога.

Грозы грохотали над Москвой, много могучих деревьев было повалено, но творец и вседержитель был несокрушим, ибо большевики, мечтавшие преодолеть «пространство и простор», нуждались в дерзких идеях Николая Гречанина, творца с анкетой, режущей глаз особистов: происхождение — из дворян; за границей — да, и неоднократно; иностранными языками — да, тремя. В выражениях — вражина! — не стесняется, издевательски играя на сдвоенных согласных в зовущем на битву слове «оппозиция», борьбу со сворой оппозиционеров именуя сварой, а призывы к бдительности — приступом паранойи.

Досье пухло, но перевешивали — до поры! — дерзкие идеи. До той поры, пока не зашипело, как струйка пара из прохудившего котла: «шпион... шпионаж...»

...Легендарное вечернее платье, сшитое в Германии перед приемом у Мессершмидта, а теперь неловко задрапированное на похудевшей груди и совсем неуместное в те десять утра, на которые повесткой было назначено явиться к следователю Тапиеву...

Допрос длился больше пяти часов. «Вырядилась, шлюха?!..» — так Тапиев, один из ближайших помощников Самого, встретил свидетельницу по делу о шпионской клике, пробравшейся в святая святых... Сначала он орал на мать, обвинив ее в том, что она пугалась с немецкими промышленниками — и только ли п... расплатилась за это платье?! — грозил упечь, как проститутку, в колонию, потом пять часов задавал одни и те же три вопроса, в одной и той же механической последовательности, а она давала на них одни и те же ответы, давно уже занесенные в протокол. Окаменев на жестком канцелярском стуле, она отвечала так же тихо и невыразительно, как задавались вопросы, невольно строя фразы в том же маятниковом ритме: «Знала ли ты, что твой муж был завербован немецкой разведкой?» — «Не знала я, что мой муж был завербован...» И сгинул куда-то великий язык, сгинула великая литература — только пятичасовое тупое перебрасывание набитых опилками мячей: «Знала ли ты?..»

— Не знала я...

А потом в кабинет вошел Сам, и солнечный луч заиграл на стеклышках пенсне, но немигающие глаза горного орла не зажмурились — они втянули вместе с солнечными лучами женщину в блестящем вечернем платье, окаменевшую на жестком канцелярском стуле, — и губы, затвердевшие губы недремлющего стража вдруг раздвинулись в улыбке: «Совсем женщину замучил, Тапиев!» — «Упорствует, товарищ нарком». — «Домой отпусти, пусть дома хорошенько подумает, пусть позвонит, если что-нибудь надумает. Должна надумать, должна понять, как считаешь, Тапиев?» — «Так точно, товарищ нарком!»...

Дело о шпионаже через два года было прекращено по личному указанию Сталина, но до самой смерти отец старался казаться меньше ростом и ходил, осторожно ступая. Дерзких идей больше не было...

И тогда Сергей Гречанин подумал, что никогда не позволит гнать себя, что будет гнать сам, ибо нет в мире ничего, кроме простого и ясного: «Либо гонишь ты, либо гонят тебя...»

* * *

Мать еще долго была красива утомленной аристократической красотой и отставку получила только тогда, когда ей исполнилось сорок пять. Раз в две-три недели нарком, видимо, чувствовал потребность отдохнуть на груди пусть увядающей, зато классических линий.

Надевалось очередное вечернее платье, а под него — специально доставляемое французское белье (косметика и духи тоже французские), а потом хлопала входная дверь, потом слышался рев мотора отъезжающего черного «ЗИСа» — чуткое ухо отца всякий раз улавливало разницу между этим голодным ревом и тихим гудением «роллс-ройсовского» движка... потом тишина. Мать возвращалась под утро. Хлопала дверь, шуршало платье, и на две-три недели возвращалась обычная жизнь. В этой жизни мать никогда не пользовалась косметикой и духами (хотя шкафчик трюмо был заставлен флаконами; хорошие духи дарились Самим к революционным праздникам и к 8-му марта — хорошие духи, но все же хуже, чем те, для страстных свиданий) и никогда не носила шелковое белье (хотя полка шифоньера была забита шелковым бельем, оно дарилось Самим к Новому году; хорошим бельем, но немного хуже, чем то...).

...Сергей Гречанин в 49-м закончил мехмат МГУ, в 51-м защитил, минуя кандидатскую, докторскую, а в 52-м стал членкором, самым молодым в стране. И когда он ловил в сияющих от гордости за него глазах матери тайный стыд, когда его мучило сомнение — а так ли он талантлив на самом деле? — единственным спасением было — ощутить себя волком, гонящим, гонящим, гонящим... Но сомнение возвращалось, особенно часто после того дня, когда сообщили о разоблачении и уничтожении английского шпиона, когда вдруг стремительный взлет Сергея Гречанина замедлился, словно стартовые

двигатели стали вырабатываться, а маршевых не предусмотрели. В академики он, во всяком случае, так и не прошел, хотя баллотировался чаще, чем любой из ныне живущих математиков: девять раз...

В тот день, когда сообщили о бесславном конце английского шпiona, мать выбросила в мусоропровод все нераспечатанные флаконы и все шелковое белье, крутым кипятком с каустической содой вымыла полки в шкафчике и шифоньере, сожгла в ванной вечернее платье — запах гари долго гулял по просторной квартире, потом прошла в кабинет отца, молча встала перед ним на колени, а вслед за тем и вовсе пала навзничь.

Инсульт. («Кондратий навестил», — как сказала бы нынешняя молодежь. Однажды Гречанин случайно услышал, как одна его студентка рассказывала другой о своих мытарствах во время сдачи экзамена. «А он, Иезуит, возьми да и спроси: «Как записать эту оценку в интегральной форме?» Представляешь, меня чуть Кондратий не навестил».)

Часа два Николай Гречанин, сидя в кресле, угрюмо смотрел на хрипящую на полу жену. Ослепительная красавица, которую он умыкнул у Мессершмидта в его же «роллс-ройсе», умерла давно. А та, что сейчас умирала у его ног, — кто она ему? Он аккуратно уложил в некогда щегольской чемодан самые необходимые вещи, вызвал «скорую» и ушел, оставив входную дверь открытой нараспашку. И больше порог своей квартиры не переступал. Вскоре уехал в Воронеж ведущим конструктором на авиазавод, там женился вторично, как-то жил, как-то работал, как-то умер.

...Сергей Николаевич на его похороны не поехал...

Первая жена Сергея Николаевича ушла через двадцать лет, честно сказав, что устала возиться с полупарализованной, потерявшей слух и память старухой и устала надеяться на ее скорую смерть. Лет пять Гречанин обходился капризными и очень дорогими сиделками, а потом однажды попросил задержаться после работы студентку четвертого курса филфака, проходившую корректорскую практику в редакции его журнала...

* * *

Гречанин остановился в дверях комнаты, слабо освещенной светом ночника и мерцанием экрана. Звук телевизора был выключен, поскольку мать все равно ничего не слышала. В комнате совсем не пахло болезнью, напротив, запах дорогой туалетной воды и — неужели? — да-да, французских духов исходил от удобной постели, на которой невыносимо медленно умирала полупарализованная с 53-го старуха.

А может, не умирала, а, наоборот, издевалась над всеми постулатами медицины, законсервировавшись — жила. Жила уже 33 года. А в последний год обрела подвижность рук. И кто знает, может быть, даже готовилась пройти однажды вечером длинным, темным коридором, войти в его кабинет и спросить: «Что это, Сережень-

ка? Почему в нашей квартире так тихо? Почему никогда не слышны голоса твоих детей, внуков? И вообще, как ты живешь? Наверное, уже давно академик?»

— Нет, мама, — каркая (а внутреннее ухо слышало сухой волчий лай), заговорил Гречанин, — у меня нет детей, и я не стал академиком. Побудь Сам в силе еще пяток лет, стал бы. А так вот не стал... Помнишь допрос у Тапиева, мама?.. Повезло тебе, что ты потеряла память... А я не потерял. Я загнал сегодня его сына. У него неплохая докторская, лучше, чем многие, много лучше моей давнишней... Может, это был не сын. Может, родня... или однофамилец. Но я загнал его. Это было нетрудно, я научился хорошо гнать.

Мать уже не смотрела на экран. Она смотрела на Сергея Николаевича, и глаза ее сияли гордостью за него. А он не захотел смотреть ей в глаза. Он взглянул на экран, где, беззвучно раскрывая вопящие рты, извивались люди из какого-то ансамбля, и корчи их напоминали пир во время чумы, но только когда и чума затянулась, и пир выдохся. Когда перемешались и гонимые, и гонящие, когда невозможно уже понять, кто кого и, главное, зачем гонит, когда над всеми плывет звук охотничьего рога, а кто тот Охотник и что то за рог — лучше не думать.

И Гречанин стал смотреть в глаза матери. Мне страшно, мама! Как плохо, что столько лет не обнимали меня твои руки! Как плохо, что я не могу попросить тебя еще раз почитать то место из Пушкина, что ты не сможешь произнести его, полузакрыв глаза, — ты ведь когда-то, давно, была актрисой — так произнести, чтобы ужас объял меня, как тогда, двенадцатилетнего. Я хочу вернуть тот ужас, мама, странно, да, что я хочу его вернуть? Но он изгнал бы из меня нынешний, непонятно откуда взявшийся. Мне страшно, мама... Как жаль, что я не могу услышать твой голос, произносящий: «Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» Как жаль, что я не могу услышать, что не обнимут меня вслед за тем твои руки, успокаивая, изгоняя непонятно откуда взявшийся ужас... Как жаль... Тебе ведь хорошо в твоем безумии, мама?.. Это хорошо, что тебе хорошо. Но мне бесконечно жаль... Мне бесконечно жаль, что не сифилис и не проказа поразили тебя, старая сука!

...Гречанин не спал, дожидаясь жены, но когда она, осторожно ступая, вошла в спальню, сделал вид, что спит. Она тихонько легла, повернулась на правый бок, и вскоре ее дыхание стало совсем неслышным. Он тоже начал дремать и в дреме представлял, распаяя воображение, как его угасающее тело подминает ее тело, еще полное жизни, как питается его соками, наливается силой, и сила эта останавливает неуклонное сползание в могилу. Неглубокая дрема сменялась глубокой, в которой казалось ему, что сила уже переполняет сосуды, что сердце, обрадованное притоком неожиданной горячей крови, начинает пульсировать мощно и ровно, рождая готовность к стремительному и легкому движению. Но не уснувшей еще частью сознания знал, что когда она, эта часть, тоже скользнет в забытие, он увидит все тот же неотвязный сон: черную равнину, седого

волка, задравшего морду к поразительно точному кругу луны и на-прягающего горло, чтобы разбудить мертвую тишину жалобным злоб-ным воем. Воем, которым проклянет опустевший мир, черную равни-ну и сияющую луну; проклянет за то, что они вечно холодные — веч-но, а он, единственный комочек живого тепла, — нет. Но перехва-ченное ненавистью горло не может, как ни старается, породить вой, из него вырывается только короткий, сухой лай, совсем не слышный ни опустевшему миру, ни черной равнине, ни сияющей луне...

И еще он знал, что этой ночью она опять будет плакать, уткнув-шись в его костлявое плечо...

Воронеж

*Литературно-художественное
издание*

АЛЬМАНАХ «АПРЕЛЬ»

Выпуск пятый

Редактор *Е. В. Архипова*

Оформление художника *А. Ю. Литвиненко*

Художественный редактор *С. С. Водниц*

Технический редактор *И. И. Джигоева*

Корректор *А. В. Федина*

ИБ № 6

Сдано в набор 25.06.91. Подписано в печать 28.11.91. Формат 60×90¹/₁₆.

Бумага офсетная № 2. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 19,0. Усл. кр.-отт. 19,25. Уч.-изд. л. 21,81.

Тираж 25 000 экз. Заказ № 321. Цена 4 р. 50 к. Изд. № 11-ю/91.

Издательство «Международные отношения»
107078, Москва, Садовая-Спасская, 20

Государственная ассоциация предприятий, объединений
и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛ».
Ярославский полиграфкомбинат, 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

~~4 p. 50 н.~~ 5-63